Вячеслав КЕВОРКОВ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПРЕЗИДЕНТЫ?

СЕКРЕТЫ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Тайны переговоров первых лиц государств

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Проблема утечки тайной информации существовала всегда, еще до сенсационных разоблачений сайта «Викиликс». Советский Союз активно вел переговоры с ближайшими союзниками США по НАТО, но те требовали полного засекречивания канала связи, потому что не хотели, чтобы о содержании переговоров узнали в Вашингтоне. Сначала таким образом осуществлялись контакты между советским руководством с французским президентом де Голлем. Они оказались настолько успешными в смысле сближения позиций Франции и СССР, что привели к ликвидации штаб-квартиры НАТО в Париже и выходу Франции из военной организации Альянса в 1966 году. В 1969 году «тайный канал» начал действовать между руководством ФРГ и СССР. Переговоры тоже весьма успешно завершились с точки зрения советских внешнеполитических интересов: ФРГ признала социалистическое немецкое государство — ГДР и границы со странами Варшавского договора по Одеру и Нейсе, сложившиеся по итогам Второй мировой войны.

О тайном канале связи между руководством СССР и ФРГ рассказывает в книге «О чем говорят президенты? Секреты первых лиц» ключевая фигура в поддержании канала с советской стороны Вячеслав Ервандович Кеворков. Читателям впервые становятся доступны подробности тайных советско-западногерманских саммитов, о которых умолчали в своих воспоминаниях их участники — канцлеры ФРГ Вилли Брандт и Гельмут Шмидт и советские дипломаты Валентин Фалин и Юлий Квицинский.

- Вячеслав Кеворков
  - Предисловие
  - Адольф
  - Потерянный вечер с продолжением
  - Прелюдия
  - Санта-Клаус-69
  - Европа третья
  - Нет повести печальнее на свете
  - Что скажут вдовы
  - Пять нашествий Бара в Москву
  - В лабиринтах власти
  - Посол, которому не доверяет министр
  - Миллионер на сутки
  - Андропов против Андропова
  - Герберт фон Караян вместо железного креста

- Кто застрелил Эрика?
- Виктория
- Перед грозой
- Из ада в рай, минуя чистилище
- «Cherchez la femm» у канцлера
- Король умер, да здравствует король!
- Ракетный джинн
- Лестница вверх и вниз
- Не надо заготавливать ракеты впрок, как сено на зиму
- Преимущество сумасшедших
- Дешевые невесты
- Любви все должности покорны
- У опасной черты
- Время наступает
- Дед Мороз в черном
- Закат
- Размышления после написанного
- 30 лет спустя
- Послесловие

Вячеслав Кеворков
О чем говорят президенты? Секреты первых лиц

Предисловие

Эта книга позволяет познакомиться с частью ненаписанной до сих пор истории, неотъемлемой от развития отношений между Федеративной Республикой и Советским Союзом, начиная с конца 1969 года. Она заполняет, во всяком случае с российской стороны, пробел, все еще остающийся в мемуарной литературе, представленной немецкими и советскими участниками событий. Вилли Брандт и Гельмут Шмидт, Валентин Фалин и Юлий Квицинский — если назвать лишь наиболее значимые фигуры — вынесли за скобки тайные контакты, в лучшем случае лишь упомянув о них, отчасти руководствуясь чувством такта и отчасти просто по незнанию. Чувство такта касалось прежде всего причастных к событиям лиц в Москве, большинства которых ныне уже нет в живых.

Вячеслав Кеворков с советской стороны был ключевой фигурой в поддержании некоего «скрытого канала», как его назвали американцы, вполне официального, но скрытого от посторонних глаз канала связи между высшими государственными деятелями. Этот канал должен был быть надежным и не допускающим утечек информации; ибо лишь в этом случае можно было добиться, чтобы высокие руководители обеих держав испытывали друг к другу доверие и могли говорить откровенно, не ставя под угрозу свой престиж.

Писать о таких вещах — значит в какой-то мере раскрывать неизвестное. Кто к этому не готов, тому следует продолжать хранить молчание. Но каждый, кто пишет мемуары, столкнется с дилеммой — по необходимости проявить «бестактность» и по отношению к тому, что уже известно, и к коллегам, но не потерять при этом той меры тактичности, на которую вправе рассчитывать и усопшие. Авансцена освещается заново, и юпитеры при этом не высвечивают нестерпимо ярким светом самые потаенные уголки. Я нахожу, что Кеворкову удалось сохранить этот нелегкий баланс, не растеряв при этом своего филигранного и щедро сдобренного юмором стиля литературного рассказа. Он в исключительно занимательной форме вводит нас в захватывающие исторические события.

С немецкой стороны я был его «партнером» в этих играх, о многих деталях которых я узнал только после того, как мною была прочитана рукопись. Читатель должен получить настоящее наслаждение. Необходимый для этого и возможный с позиций немецкой стороны комментарий прилагается в качестве послесловия.

Эгон Бар

Адольф

Немецкому и русскому журналистам ХайнцуЛатте и Валерию Ледневу с любовью посвящается

For, when the one great
Scorer comes to write against your name,
He puts not if you won or lost,
but how you played the game.
Walt Whitman

У каждого в жизни есть рубеж, достигнув которого, он либо умирает, либо принимается за написание мемуаров. Я выбрал второй вариант.

Судьбе было угодно с самого начала связать мою жизнь с немцами. Родился я в самом центре Москвы, в доме номер 9 по Гагаринскому переулку. Одна стена этого старого московского дома выходила во двор особняка немецкого представительства, скорее всего, военного или торгового, другая — во двор школы, где учились дети австрийских и немецких политических эмигрантов.

Такое соседство определило и мои детские дружеские привязанности, среди которых особое место занял сын дворника немецкого представительства. Мой ровесник, голубоглазый и веснушчатый ариец, он представился мне и другим русским мальчишкам под именем Адик. Эта домашняя аббревиатура никак не ассоциировалась в нашем сознании с уже знакомым тогда из газет и радиопередач именем Адольф.

Адик очень скоро научился говорить по-русски, сохранив привлекательные манеры хорошо воспитанного немецкого подростка.

Моя мама, простая русская женщина, наделенная необычайным даром доброты, разглядела в Адике все черты, которые мечтала воспитать и во мне. А потому всячески поощряла нашу дружбу.

Войдя в дом, Адик мгновенно срывал с затылка головной убор, громко щелкая при этом каблуками. Мама тут же таяла от такой изысканной галантности и усаживала юного немца за стол. Теперь наступал апофеоз маминого упоения: Адик безупречно владел искусством манипуляции ножом и вилкой, а главное, переливал суповую жидкость из ложки в рот совершенно

беззвучно.

Любовь к матери побуждала меня имитировать поведение друга, отчего ценность его визитов к нам в глазах моих родителей неуклонно росла.

Улица, однако, диктует иной закон, утверждая верховенство физической силы над хорошими манерами, и вот тут-то я с лихвой компенсировал проигрыш Адику, пережитый мною в родных стенах. Однако и физическое превосходство играло не самую решающую роль. Несмотря на очевидную бедность, московское детство довоенной поры было насыщено ощущениями романтики и подражания книжным героям.

В этом и заключалось мое второе превосходство: родители, неизвестно каким чудом, сумели собрать небольшую популярную библиотеку для нас, детей. А книги в то время представляли невероятную ценность, выносить их за пределы занимаемых нами комнат в коммунальной квартире не позволялось. Оставалось одно: прочитанное днем дома после школы пересказывать по вечерам собравшимся в нетерпеливом ожидании приятелям под лестницей, где было уютно и тепло по сравнению с вьюжным ветреным переулком, несшим холод с Москвы-реки.

Как правило, среди собравшихся неизменно присутствовал Адик. Видимо мой, весьма отличный от текста, пересказ прочитанных книг привел бы в изумление их авторов, так далек он был от оригинала. Но можно понять и рассказчика, ведь ему нужно было держать в напряжении в течение всего вечера достаточно обширную мальчишечью аудиторию, о чем авторы, судя по бесчисленным историко-лирическим отступлениям, не всегда заботились.

Пришел черед и «Фауста» Гете. Без труда освоив хитросплетения показавшегося мне мало привлекательным сюжета, я постарался на очередном литературном чтении под лестницей несколько совершенствовать его, придав приключенческо-детективную окраску всему повествованию. Понятно, что менее всего внимания при этом было уделено трагедии внебрачной связи бедной Гретхен и прожженного Фауста. Тем не менее, именно после «фаустовских чтений» последовало приглашение в мой адрес посетить подвальную часть особняка немецкого представительства, отведенную семье дворника.

Нас встретила мать Адика, женщина, как мне тогда показалось, внешне сдержанная, но добрая и приветливая сердцем. Она осталась в моем детском сознании воплощением истинно немецкой фрау. Русским языком она владела в достаточной степени, чтобы принять такого гостя, как я.

— Ты молодец, что прочел и пересказал Адику немецкую книжку о Фаусте! И вообще, правильно делаешь, если читаешь немецкие книжки, в них очень много полезного. Адик вот ленится их читать, а ему ведь это тоже необходимо, — и она ласково провела рукой по моим волосам.

Так я впервые узнал, что доктор Фауст, а значит, и его автор имеют отношение к Германии.

Одним словом, едва успев прочесть несколько книг по-русски, я прослыл знатоком немецкой литературы. Главным же для меня было то, что отныне мы оказались равны: я в доме Адика стал не менее уважаем, чем он в моем.

В отличие от матери, отец Адика остался в моей памяти фигурой мрачноватой и загадочной, если не таинственной. От привычных московских дворников он решительно отличался: рано утром появлялся в синем комбинезоне вместо традиционного белого дворничьего фартука. Улицу мел не метлой, а щеткой. Дружбы со своими московскими коллегами не водил, а главное, был всегда трезв, чем окончательно ломал целостность сложившегося стереотипа столичного дворника. Кульминационным моментом в развитии его отношений с нашей улицей стал тот день, когда, готовясь к приему по случаю национального праздника Германии, он вымыл тротуар перед зданием представительства с мылом. Этот факт произвел на всю округу неизгладимое впечатление, ибо в ту пору далеко не у всех москвичей мыла хватало даже для ухода за собственным лицом.

Собравшаяся вокруг толпа с интересом наблюдала за стекавшей в водосток мыльной пеной. Интерес этот был сродни тому, с которым американские безработные в те же времена экономического кризиса глядели на молочные потоки, сливаемые в реку фермерами, не желавшими продавать его дешевле. Советские газеты и выпуски киноновостей были полны подобного рода снимками и кинокадрами, иллюстрировавшими уродливость капиталистического способа ведения хозяйства.

Различия в социальных укладах нисколько не мешали нашей с Адиком дружбе. Как-то раз мы затеяли с ним обычный для подростков разговор о родителях. Я без труда и угрызений совести солгал, что отец мой прежде был капитаном океанского корабля. Скованный присутствием отца, подметавшего неподалеку двор, Адик не смел дать воли фантазии. Он напрягся, ища выхода, веснушки побелели на раскрасневшемся лице, и, наконец, на одном дыхании негромко выпалил:

— Думаешь, мой отец простой дворник? Да если хочешь знать, он имеет Dienstgrad! (воинский чин). Он фельдфебель или еще даже больше!

Это был единственный на моей памяти случай, когда Адик, не сумев подобрать русского эквивалента немецкого слова, воспользовался родным языком. Себе на горе. Услышав знакомые слова, его отец не сделал скидки на возраст и не простил невинного хвастовства. Отложив метлу, он отрывисто велел Адику идти в дом и безжалостно выпорол его, возможно, за разглашение военной тайны.

Все, что осталось в моей памяти от происшедшего, это впервые произнесенное им немецкое слово. Тринадцать лет спустя мне пришлось повторять его бесчисленное количество раз, переводя на допросах пленных немецких офицеров. Слово это стояло непременно сразу после имени и фамилии. И каждый раз, произнося «Ihr Dienstgrad?» («Ваш чин?»), я видел перед собой раскрасневшееся от гордости за отца лицо друга.

В течение всей войны, а особенно в конце ее, оказавшись в разрушенном Берлине, я постоянно жил с ощущением нашей скорой встречи. К сожалению, предчувствие меня обмануло.

После инцидента с отцом Адика я больше не видел. А с наступившим летом он, не попрощавшись со мной, вскоре уехал в Германию.

Несколько месяцев спустя, промозглым и холодным утром конца ноября, когда предрассветная мгла сулит только мокрый снег и скуку, а грязь липнет к подошвам, я понуро брел в школу. Поравнявшись с полуподвальным окном немецкого особняка, я услышал тихий оклик. Фрамуга приоткрылась, но лица разглядеть было нельзя. Голос же был знаком: это мать Адика!

— Адик тоже ходит в школу, — тщательно выговаривала она по-русски очень тихо. — Он часто вспоминает о тебе и просил передать вот это…

Я наклонился и осторожно взял ощупью из протянутой руки небольшую прямоугольную коробочку.

— Ты очень добрый мальчик! — После чего уже совсем едва слышно по-немецки добавила: — Gott ist mit dir! («Да сохранит тебя Господь!»)

Дойдя до первого освещенного перекрестка, я оглядел предмет. Это оказалась пачка сигарет, что и вовсе меня озадачило: Адик прекрасно знал, что я не курил никогда, даже в начальных классах, когда пробуют все мальчишки. Потому выбор подарка поставил меня в тупик.

К счастью, в те времена мальчишки ничего просто так не выбрасывали. Войдя в класс, я под осуждающими взглядами одноклассников вскрыл пачку. Сигареты оказались шоколадными! Признаться, шокирован я был не меньше, чем весь класс. Думаю, не только потому, что шоколад был вкусным, а нам

постоянно хотелось есть. В тот день во мне окончательно укрепилось искреннее уважение к нации, которая, если моет тротуары, то с мылом, а если употребляет сигареты, то вкусные, из шоколада.

С годами изменилось многое, но уважение осталось. Сегодня, спустя полвека, я часто сворачиваю в Гагаринский переулок, подолгу стою у родительского дома, где вырос, а также у соседнего, в подвале которого жил Адик. Теперь этот особняк принадлежит американскому корреспонденту Тэду Стивенсу и его русской жене Нине. Проходя мимо полуподвального окна, я всегда на секунду замираю, ожидая тихого оклика и жеста мягкой женской руки, протягивающей мне на ладони пачку шоколадных сигарет. Вместо этого обычно слышны из верхних окон пьяные крики и русская брань юнцов и девиц, гостей американо-русской семьи.

Другим фасадом дом наш примыкал к зданию школы, где на первых порах обучались дети австрийских революционеров — «шутцбундовцев». Обычно они маршировали по улицам, одетые в короткие кожаные штаны, с тамбурмажором впереди. Говорили они только по-немецки, но вели себя столь вызывающе, что каждый футбольный матч с ними неизменно заканчивался дракой. От встреч с ними в моей памяти не осталось ничего примечательного, разве что разбитый нос, который с той поры в переносице стал вдвое шире, чем задумала его природа.

С окончанием войны я некоторое время оставался в Берлине, где с перерывами работал в так называемой «союзнической военной администрации в Германии». Я был прикомандирован к той части Администрации, которая занималась уничтожением военного потенциала разгромленного рейха. В составе группы специалистов разъезжал по стране в поисках сокрытых военных сокровищ, которых на деле почти не оказалось. Но опыт этот до сих пор считаю неоценимым, ибо смог воочию наблюдать возрождение из пепла немецкого Феникса. Меня навсегда и глубоко впечатлило, какие гигантские усилия прилагала целая нация, стремясь как можно скорее преодолеть разрушенное прошлое.

Впереди меня ожидали пять лет обучения в военной академии, сулившие по окончании военно-дипломатическую карьеру и должность военного атташе в одной из европейских стран.

Случилось же все иначе: закрывая окончательно преступно репрессивную страницу эпохи Берия, пришедший к власти Н.Хрущев распорядился обновить кадровый состав министерства госбезопасности, и по окончании военной академии весь курс был

направлен в распоряжение вновь образованного Комитета государственной безопасности. Лишь двоим из моих сокурсников удалось остаться в армии, доказав свою непригодность к службе в КГБ. Зная, как остро переживал я такой поворот судьбы, они рекомендовали и мне поступить так же.

Что я и попытался сделать, однако в своем рвении переусердствовал и вместо армии оказался в самом кадровом низу все тех же «органов». Единственной положительной стороной этой метаморфозы можно считать минимум служебных обязанностей и массу свободного времени.

Последнее обстоятельство дало мне возможность заняться тем, о чем я давно мечтал — журналистикой. Свои опусы я направлял в самые различные газеты и журналы под самыми разными псевдонимами, ибо тематика их была до чрезвычайности разнообразной — от спорта до лирических новелл, включая фельетоны на темы быта. Этот новый вид деятельности принес мне минимум денег и максимум друзей, всегда готовых поучаствовать в застолье по случаю очередной публикации.

Самым подходящим местом и был, конечно, Дом журналистов, размещавшийся в уютном старинном особняке на Суворовском бульваре в центре старой Москвы.

Вот там я и познакомился с Валерием Ледневым, московским журналистом, человеком добрым и одаренным, но слишком любившим соблазнительные стороны жизни, чтобы полностью реализовать свой талант. В момент первой нашей встречи он работал редактором отдела в московской спортивной газете.

Валерий был необыкновенно общителен, а потому круг его друзей был беспримерно обширен. Он умел так построить отношения с людьми, что никто и ни в чем не решался ему отказать.

Почти без всяких усилий он помог мне опубликоваться сразу в нескольких изданиях. После чего обратился ко мне со следующим монологом:

— Послушай, тебе нужно уходить из этой богадельни и писать. Но, если верить знатокам, «женщина не уходит просто так, она уходит к другому!» Вот и нам нужно подумать сначала, куда уходить.

Размышлениям он предпочитал действия.

Потерянный вечер с продолжением

В один из дней Леднев пригласил меня посетить с ним вместе очень престижный по тем временам московский дом, вернее, квартиру в доме, отведенном ответственным работникам ЦК КПСС. Поводом для визита был не то день памяти умершего хозяина, не то день рождения не только живой, но жизнерадостной и жизнелюбивой его вдовы. В любом случае по этим дням дом непременно навещал тогдашний заведующий отделом ЦК, друг покойного хозяина, Юрий Андропов. Хозяйка предупредила, что появлялся он не более чем на десять минут и лишь с целью вручить букет цветов, сказать какие-то теплые слова.

Таким образом, передо мной вставала крайне непростая задача: за считанные мгновенья так ему понравиться, чтобы он тут же захотел взять меня на работу в свой отдел. Забегая вперед, надо признать, что свою задачу создать образ германиста, пригодного для работы в Международном отделе ЦК, я выполнил из рук вон плохо.

Понятно, что затея была безнадежной, ибо в течение столь краткого времени можно успеть возненавидеть человека, но никак не проникнуться к нему уважением. По настоянию Леднева, число гостей свели до минимума: помимо нас с Валерием была приглашена лишь одна восхитительная молодая дама, кроме юности поражавшая еще стройностью фигуры и необычностью лица с озорными, карими, вытянутыми к вискам на китайский манер глазами. Убежденная в своей неотразимости, она легко и непринужденно держалась в обществе людей, проживших по крайней мере вдвое дольше нее.

В России традиционно все напитки делятся лишь на две категории: крепкие и слабые. Хозяйка в качестве аперитива предложила нам сразу армянский коньяк. Идея показалась всем настолько удачной, что аперитив затянулся бы, не раздайся звонок в прихожей, возвестивший о появлении главного гостя. Недолго пощебетав у входной двери, хозяйка вернулась с большим букетом цветов в сопровождении высокого мужчины лет пятидесяти с угловатым лицом и пухлыми губами. Сквозь очки в тонкой золотой оправе за нами наблюдали внимательные и холодные глаза. Если лицо его на мгновение посещала улыбка, то большие передние лопатообразные зубы делали лицо добрым. Двигался вошедший несколько странно, по-моряцки, широко расставляя ноги и сильно раскачиваясь из стороны в сторону.

— Андропов, — представился он сам.

Нас же представила хозяйка дома: Леднева как журналиста, меня — как германиста с неопределенным местом работы. Прекрасная Н, назовем красавицу так, молча обменялась с ним улыбкой, из чего стало ясно, что они были знакомы раньше.

Не теряя ни минуты и не давая строптивому гостю возможности тут же исчезнуть, хозяйка пригласила всех к столу.

Рассадка была продумана самым тщательным образом.

Н. оказалась по левую руку от почетного гостя, я — по правую. Первый тост хозяйка, наполнив до краев рюмки водкой, провозгласила за память покойного мужа и здоровье гостя, его друга. Андропов поддержал, однако тихо попросил меня налить ему легкого вина. Кивком головы то же желание высказала и Н. Мы втроем отпили из бокалов чудесного грузинского «Ахашени».

Я с удовольствием отметил про себя, что мой сосед не так уж рвется покинуть наше общество, как того опасалась хозяйка. Он увлеченно беседовал с Н. о событиях московской театральной жизни.

Ненадолго Н. отлучилась на кухню, чтобы помочь хозяйке, и Андропов, за неимением лучшего, обратился ко мне.

Я сбивчиво рассказал свою биографию, к которой он проявил минимум интереса, перейдя сразу же к проблеме разделенных государств, — видимо, она волновала его много больше, нежели мое прошлое. Корея, Вьетнам, Китай и, конечно же, обе Германии.

По его мнению, положение в этих странах наглядно иллюстрировало соотношение сил капитализма и социализма в мире: ни одна из сторон не в силах победить, и поэтому обе готовы поделить. Он даже позволил себе шутку, что его отделу ЦК эти «половинки» доставляют наибольшие хлопоты, ибо по отношению друг к другу они проявляют заметно меньше терпимости, чем ко всему остальному миру.

Затем он перевел разговор на Германию, в качестве специалиста по которой я был ему представлен, и поинтересовался моим мнением относительно перспектив развития наших отношений с немцами, как мне тогда показалось, умышленно не уточнив, с какими.

Поскольку сам он в разговоре высказывался достаточно непринужденно, я решил, что наступил «момент откровения», и коротко изложил свою точку зрения.

При этом я понимал, что мне предоставляется уникальная возможность блеснуть эрудицией. Поэтому изложение своей концепции начал с краткого экскурса в ту часть истории, когда на протяжении столетий постоянно предпринимались попытки объединения Германии. Здесь упоминался Вестфальский мир 1648 года, Венский конгресс 1815 г. и, наконец, успешные шаги

Бисмарка при императоре Вильгельме I после франко-прусской войны 1871 г. К этому добавлялись и собственные мои наблюдения, сделанные в Германии по окончании войны 1945 года.

Все сказанное сводилось к тому, что в будущем вряд ли можно рассчитывать на длительное существование двух немецких государств и что уже сегодня следовало бы строить отношения с обеими Германиями с учетом неизбежного воссоединения разделенной нации. Оригинальностью и новизной этот вывод не отличался. Все те, кто хоть как-то соприкасался с германской проблемой, осознавали неизбежность процесса. Понимал это и Андропов. Но то, о чем думал он, вовсе не обязательно должен был высказывать кто-то другой. Малозаметная граница дозволенного оказалась нарушенной.

Вдохновенное изложение будущего Германии было прервано коротким и едким замечанием.

— Видите ли, мы сегодня больше заняты тем, чтобы укрепить позиции ГДР перед ФРГ, а не наоборот. Так что…

В соседней комнате хозяйка, сев к пианино, стала что-то наигрывать. Сочтя свою миссию законченной, я также перебрался в гостиную. Скоро там оказался и Андропов. Видимо, чувствуя себя уютно и безопасно в нашей компании, он попросил хозяйку сыграть что-нибудь знакомое. Музицирование закончилось тем, что мы все вместе пели необыкновенно популярные тогда «Подмосковные вечера».

Голос у Андропова был сильным, и он несколько заглушал всех остальных.

Хозяйка сияла от счастья: вместо привычных и торопливых десяти минут Андропов задержался у нее в гостях на два с половиной часа. Что ж, она вполне могла считать вечер удавшимся, хотя, пожалуй, не за счет ее обаяния.

Перед тем, как был объявлен десерт, Андропов вдруг заспешил и, попрощавшись, тут же удалился.

Я вызвался отвезти Н. домой. Прощаясь у двери, она неожиданно положила руку поверх моей:

— Не расстраивайтесь, Слава. Вы все сделали правильно. Ошибка была заложена в самой идее знакомства в гостях: Андропов — человек аскетического склада, он не станет решать служебные дела во время застолья. Кроме того, он никогда и ни с чем не спешит. Может быть, когда-нибудь еще он и вернется к вашей персоне. А пока я посоветовала бы вам строить свою жизнь, забыв о сегодняшнем вечере. Так будет мудрее.

Леднев отнесся к происшедшему с куда большим оптимизмом.

— Ах, подумаешь! Не удался этот вечер, организуем другой. Но тебе место найдем!

На том мое пребывание между надеждой и реальностью закончилось и началось серо-будничное отбывание повинности, длиться которому суждено было несколько лет. И все же обещанная интрига состоялась. Правда, организована она была не популярным в московских журналистских кругах Ледневым, а мало тогда известным политиком с большим будущим — Леонидом Брежневым, который хитро задумал и в одночасье осуществил свержение всемирно знаменитого Никиты Хрущева.

Вначале к этому событию все отнеслись совершенно спокойно. Да и я воспринял новость с интересом, но достаточно равнодушно, никак не полагая, что перемещения на небосклоне мегазвезд как-то отразятся на моей судьбе.

Как во всяком государстве со времен древности, смена главы государства в СССР тогда, в 1964 году, повлекла за собой, в частности, и замену главы ведомства государственной безопасности.

В конце правления Хрущева во главе этой службы стоял выдвиженец комсомола. Давно преступившие черту зрелости, эти «лидеры коммунистической молодежи» откровенно рвались к власти, что, естественно, несказанно пугало престарелых членов Политбюро. Последние называли первых «младотурками» и побаивались их. Смена власти дала «старцам» идеальную возможность освободиться от «молодой» циничной смены.

Следует отдать справедливость Брежневу: он неплохо разбирался в людях. Почти за 20 лет пребывания у власти он не назначил на ответственный пост ни одного, кто не сохранил бы личной преданности ему. Любопытно, что даже в последний период его правления, когда оно становилось чисто формальным, а сам Брежнев физически превратился в полную развалину, никто из них не посмел выступить против него.

Почему именно Андропов был назначен на пост руководителя госбезопасности, остается загадкой. Если не считать несомненной личной преданности, он не обладал ни одним из необходимых для спецслужб качеств. По складу ума Андропов несомненно был рожден масштабным государственным деятелем. Мозг его устроен был наподобие быстро решающего компьютера. О своих достоинствах он догадывался и, нисколько не греша завышенной самооценкой, сознавал свое интеллектуальное превосходство над всеми другими из числа брежневского окружения, включая и «самого».

Свое назначение на пост главы госбезопасности он расценил как временную карьерную неудачу, с которой оставалось не

только смириться, но и попытаться обратить ее в успех, то есть использовать ее как трамплин для прыжка на «самый верх». Этим лишь и можно объяснить его подчеркнутое нежелание вникать в профессиональную сторону деятельности вверенного ему аппарат. Все эти вопросы он с удовольствием передоверил своим заместителям. Сам же продолжал жить жизнью политика, имеющего свою точку зрения по самым различным вопросам.

Он прекрасно понимал, что существует лишь один способ реализовать его политические идеи: сделать своим союзником Брежнева, и шел по этому пути весьма успешно.

Наибольших же результатов он достиг в навязывании Брежневу своей внешнеполитической концепции. Куда скромнее выглядели его усилия по внутренней перестройке в стране. Это он откладывал до того времени, когда полностью и безраздельно возьмет бразды правления в свои руки. Одной из основных составных его политико-философской концепции было проведение демократизации в стране, что он представлял, однако, исключительно как процесс постепенный и обязательно проводимый сверху. Иначе, по его мнению, в государстве наступит хаос, которого он опасался превыше всего.

Слова «демократия» он не употреблял вообще, пользуясь при необходимости термином «цивилизация». Андропов был убежден, что к более цивилизованному обществу Советский Союз должен прийти через более жесткий политический и экономический режим, чем тот, который существовал при Брежневе. Показательно, что понятия «порядок» и «цивилизация» следовали у него неизменно одно за другим.

В частных беседах он неоднократно вслух размышлял об опыте Ататюрка, огнем и мечом европеизировавшего Турцию, велевшего впредь пользоваться латинским алфавитом и сечь головы тем, кто осмелится носить фески.

Особенно часто стал он ссылаться на политический опыт этой страны, когда в начале 70-х годов резко ускорился процесс экономического подъема Турции. Причем, в этом процессе его больше всего занимала положительная роль Западной Германии.

Он неоднократно высказывал мысль о том, что Западная Германия «постоянно инициирует и распространяет волны цивилизации», благотворно влияя на те государства, которые умеют и хотят этим даром пользоваться.

Все, что говорилось и думалось по этому поводу, он, вне всяких сомнений, примерял к России. И здесь, понятно, «турецкий аргумент» был далеко не последним доводом, склонявшим его к преодолению инертности и догматизма, в деле сближения с Западной Германией и Европой в целом.

Известие о приходе Андропова в госбезопасность застало нас с Ледневым в Доме журналистов. Всесторонне обсудив это события, мы заключили, что оно никоим образом не повлияет на мое дальнейшее существование, а потому поиски нового места работы для меня решили продолжить.

Некоторое время спустя Леднев сообщил, что меня ждет на прием главный редактор газеты «Советский спорт», откуда сам Валерий уже успел перебраться в «Советскую культуру».

Писать о достижениях спортсменов — занятие не самое интеллектуальное. Иметь дело с культурой много приятнее, но для этого нужна специальная подготовка и специфические знакомства, которых у меня не было. Между культурой и спортом пролегала широкая, давно вспаханная и обильно удобренная полоса политических изданий. Но этот пирог был уже не только поделен, но и съеден. А потому и мечтать о нем было нечего.

Итак, серым дождливым днем я вошел в кабинет главного редактора спортивной газеты. За большим столом сидел миниатюрный человек, за спиной которого виднелся громадный плакат с изображением пяти олимпийских колец. В одно из них точно вписывалась голова редактора, окруженная им, будто желтоватым нимбом.

— Чем занимался? — Голос его звучал сурово, словно у военврача, возглавляющего комиссию по отбору новобранцев.

Я задумался, с какого момента моей биографии следует начать. Он пришел мне на помощь.

— Ну что — гири таскал, бегал, прыгал? — спросил он не спеша, с олимпийским спокойствием, пристально перед тем поглядев на меня.

Обратно я тоже шел пешком. Дождю не было конца, настроение было гнусное. Так, глядя себе под ноги, и вошел в свой служебный кабинет.

— Где ты пропадаешь?! Мы с ног сбились, разыскивая тебя… Тобой интересуются из секретариата «с самого верху». Вот тебе номер телефона и выпутывайся сам, как знаешь.

Я позвонил. Несколько суховатый, вежливый голос сообщил:

— Юрий Владимирович интересовался вами. Не могли бы вы завтра в одиннадцать зайти к нему?

Я смог.

На следующий день точно в указанное время я открыл дверь приемной. Дежурный сверил мое лицо со стрелкой часов, глянул на пульт с многочисленными лампочками и позволил мне двигаться дальше.

Сквозь своего рода шкаф со встроенными в него двумя дверьми я вошел в длинный кабинет, отделанный деревянными

панелями. Посредине— большой стол с традиционным зеленым сукном. На одной стене портрет Ленина, на другой продолжатель его дела — Брежнев.

Андропов поднялся из-за стола, обошел его с правой стороны и двинулся мне навстречу. Мне показалось, что за эти годы он постарел, появившийся живот отнюдь не украшал его прежде стройную высокую фигуру. Освободившийся от волос лоб еще больше выдался вперед. После обмена рукопожатиями он предложил мне сесть, а сам отправился в обратный путь, огибая массивный красного дерева стол, будто вросший в паркет пола под тяжестью всего виденного и услышанного в этих стенах.

Я сел на предложенный мне стул, не ожидая ничего хорошего от этого разговора. Утешала меня лишь уверенность, что здесь меня не спросят, поднимал ли я штангу или метал диск.

Я оказался прав. Андропов повел разговор о журналистике и журналистах, называя имена, которые мне были хорошо знакомы. Из рассказа было ясно, что и он общался с ними, если не тесно, то постоянно.

— Поддерживаете ли вы контакты с иностранными журналистами? — неожиданно поинтересовался он.

Я честно перечислил всех немецких журналистов, аккредитованных при Отделе печати МИД, с которыми был знаком. К слову рассказал и о парадоксе, который наблюдал среди немецкой «фракции» журналистского корпуса: с наибольшей симпатией к Советскому Союзу относились те из них, которые прошли через русский плен после войны, и, как ни странно, сидя за колючей проволокой, сумели полюбить нашу страну.

Наиболее интересной личностью среди них был Герман Перцген, до и после войны представлявший в Москве «Франкфуртер альгемайне». 10 лет провел он во Владимирской тюрьме по обвинению в шпионаже против Советского Союза. Как

Перцген ухитрился набрать там столько симпатии к России, остается тайной. Было непонятно и то рвение, с которым он боролся за каждый день пребывания в Советском Союзе.

Когда кого-нибудь из советских дипломатов заслуженно или без всяких на то оснований высылали из Германии, он непременно стоял первым в ответном списке на выдворение из Советского Союза. Узнав об этом, он тут же вылетал в Бонн и известными только ему путями умудрялся уладить конфликт.

С Перцгеном я встречался не часто, почти всегда в официальной обстановке, и мне хотелось задать ему один и тот же вопрос: основывается ли его отношение к России и русским на чувстве вины или имеет под собой иную почву?

Спросить об этом я так и не осмелился, опасаясь вторгнуться в запретную зону тонких душевных нитей, из которых была соткана натура этого непростого и несомненно благородного человека.

Все послевоенные годы он провел в Москве, и мне довелось несколько раз слышать от него, что он хотел бы умереть в России. Странное желание. Но ему удалось его осуществить.

— Вы с таким теплом рассказываете о ваших немецких знакомых… — произнес Андропов.

— Я с большим уважением отношусь к людям, способным на сильные чувства.

— Скажите, а ваши взгляды на Германию и ее будущее не претерпели каких-либо изменений?

— Только укрепились.

— Вот и прекрасно! — Андропов откинулся на спинку кресла. — Вас характеризовали как человека разумного и знающего.

— Спасибо тому, кто думает обо мне столь лестно…

— Это люди, которые долго присматривались к вам, и я им доверяю. Но не будем терять время. — И продолжал: — Мы, я имею в виду, наша страна, из-за упрямства, неповоротливости, а порой и недальновидности некоторых руководителей попали в достаточно приятное положение, близкое к политической изоляции. Если нам в ближайшее время не удастся выкарабкаться, мы нанесем себе серьезный ущерб…

Кто-то позвонил по телефону, по-моему, из домашних.

Андропов внимательно выслушал, обещал перезвонить, как только освободится, и тут же продолжил мысль:

— Хрущев стукнул башмаком по трибуне ООН в Америке, шокировав всех, затем он постучал по пустому портфелю, заявив, что там у него суперсекретное оружие, после чего похлопал по плечу Кеннеди и уверил его, что одним ракет-но-атомным ударом может уничтожить весь мир. Кому нужно было это вранье?!

Андропов поиграл лежащими на столе карандашами и отложил их резким движением в сторону.

— Порой в политике блефование допустимо, но это занятие в любом случае не для глав государств. На этом уровне нужно быть, а не казаться. В итоге, Хрущев помог американскому военно-промышленному комплексу выбить из Кеннеди деньги, которых тот иначе не выделил бы, и раскрутить на полные обороты военный маховик, обеспечив для советских людей еще многие годы неустроенной жизни. Не достаточно ли уже прошедших после войны двадцати с лишним лет?

Я смотрел на него и никак не мог сообразить, почему он

именно меня выбрал в качестве слушателя этого длинного пропагандистского монолога.

— Вы, наверное, думаете сейчас: вот пришел новый человек из Международного отдела ЦК и начнет закручивать теперь все дела по-новому, на международный лад?

— Как вы знаете, я здесь тоже не старожил.

— Значит, тем лучше поймете меня. Я не намерен разрушать существующие традиции, но считаю своим долгом иначе расставить акценты. Время поджогов складов и разрушения мостов позади. Настало время их наводить. Давайте сегодня проводить нашу внешнюю политику, как сказал бы Клаузевиц, «другими средствами». С американцами это сложно. Они признают только силу, а потому с нами на равных говорить не станут. Нам нужно строить свой дом в Европе, и тут без Германии не обойтись. Однако, с самого начала немцам необходимо объяснить, что, строя его, мы не собираемся вбивать клин между ними и союзниками. Но для того, чтобы быть искренними с ними, нам самим нужно в это поверить. А то ведь, не тая греха, признаемся, что многие из тех, кто творят у нас внешнюю политику, считают это чуть ли не своей основной задачей, абсолютно не думая о том, кому и какую пользу это в итоге принесет.

Слушая его, я думал о том, какой сильный отпечаток на людей накладывает партийная карьера, как убеждены они, что язык— важнейший человеческий орган. И Андропов словно бы разгадал мои мысли:

— Похоже, я слишком затянул свое вступление. Зато теперь буду краток: нужно быстро, скажем, в течение полугода-года добиться установления совершенно новых отношений с Западной Германией. Отношения эти должны быть исключительно честными, доверительными и непременно динамичными. Для этого нужно найти кратчайший путь на самый политический «верх». А как известно, самый краткий путь — это прямая. Нам надо установить прямой канал между нашим руководством и руководством ФРГ, в обход всех внешнеполитических ведомств. Они в данной ситуации будут лишь тормозить дело. По линии Громыко уже есть в этом направлении какое-то шевеление, но это затянется надолго. Нам же необходим результат сегодня, самое позднее — завтра, но никак не через пять или десять лет.

Это была, безусловно, яркая речь добросовестного партийного пропагандиста, но отнюдь не главы организации военного типа, где не убеждают, а приказывают. Меня это и подкупало, и раздражало одновременно.

— Для начала нам необходимо с немцами открыто

объясниться — кто что может и кто чего хочет. Пока же между нами глухая стена из взаимных претензий и подозрений. Каждый слышит только самого себя. Одним словом, задача ваша сводится к следующему: изложите письменно, как вы все это себе представляете, только коротко, и принесите мне. Сколько времени вам на это понадобится? Четыре дня? Шесть?.. Цифры пять я не люблю, она уж больно примитивна. Говорят, Ленин любил единицу….

У меня ни любимой, ни нелюбимой цифры не было, и я согласился на шестерку.

Четыре дня я провел в бесплодных размышлениях. На пятый, примитивный, по шкале Андропова, день, я написал еще более примитивную бумагу. На первый план выдвигалась попытка обосновать необходимость моей поездки в Германию. Последующие пункты плана объясняли и обосновывали разумность и целесообразность первого.

Андропов с удивлением взглянул на меня, увидев две куцые машинописные странички. После чего мгновенно пробежал их глазами и с еще большим изумлением принялся разглядывать меня сверху вниз и в обратном направлении, позабыв даже предложить мне стул. Затем он отвернулся и уставился в окно. Повисла неприятная пауза. Я продолжал стоять, прекрасно понимая, что вся моя дальнейшая судьба зависит от того, укажет ли он мне в следующий момент на дверь — или на стул.

— Садитесь, что же вы стоите? И договоримся с самого начала: впредь, если что и будем писать на бумаге, то лишь то, что можно безбоязненно оставить для любопытных. Все же остальное придется держать в голове.

Он вернул мне легкомысленно заполненные странички со словами:

— При выходе отдайте в секретариате на уничтожение. — И продолжил совсем другим голосом: — А теперь вернемся к нашему разговору на прошлой неделе.

И он терпеливо, почти слово в слово повторил уже сказанное им во время той встречи. Из чего я с удовлетворением заключил, что план его не был экспромтом, как мне показалось вначале, а хорошо продуманной и вполне сложившейся в его голове программой.

— Это вам еще раз о стратегии, — завершил он изложение своей политико-философской платформы. — Теперь — о тактике. Вам ни в коем случае не следует надолго уезжать в Германию: во-первых, всех русских, на длительное время уехавших за границу, считают шпионами. С этой позиции завоевать чье-то доверие нереально. Во-вторых, для поддержания действенного контакта

на высоком уровне необходимо быть постоянно и хорошо информированным. Информационный канал между руководителями двух таких стран не может быть улицей с односторонним движением. Необходим живой обмен идеями, информацией, а потому следует быть в курсе самых последних событий. События же, которые будут прежде всего интересовать ваших оппонентов, происходят здесь, в Москве. Потому и оставаться вам следует здесь, дома, а туда выезжать лишь по необходимости. Где встречаться? — вот вопрос. Как встречаться, под каким предлогом выезжать туда — все эти проблемы вы и должны будете решать сами. И меня в это не втягивайте. Обо всем, что будет касаться поступающей информации, докладывайте мне и дальнейшие указания получите тоже от меня. В остальном же, продолжайте заниматься журналистами, журналистикой — это вас избавит от многих вопросов любопытствующих.

Я решил не упускать момента и расставить все точки над «i» до конца.

— Я думаю, Юрий Владимирович, одному мне будет сложно справиться со всеми сторонами поставленной задачи, в особенности, если придется часто ездить туда-сюда.

Андропов досадливо щелкнул пальцами.

— Очень хорошо, что вы об этом напомнили. Конечно, вы не невидимка, и ваше появление на Западе разными людьми может быть истолковано по-разному. Невозможно предугадать, что кому придет в голову во всех этих политических хитросплетениях. Люди иногда или вовсе исчезают, или их находят завязанными в мешке. А потому вам обязательно нужен спутник, лучше всего — журналист.

— Такой есть. Валерий Леднев.

Я чуть было не продолжил: «Да и вы с ним уже знакомы», но вовремя сдержался. Нужно было соблюсти правила игры.

— Это из «Советской культуры»?

— Совершенно верно. Он часто бывает в Германии и появление его там в очередной раз покажется вполне естественным. К нему привыкли.

— Вы знаете, о нем говорят разное. Если же вы считаете его надежным человеком…

— Абсолютно. Я давно знаком с ним…

— Древние говорили: знать долго не значит знать хорошо. Но решать вам. Леднев так Леднев. Но ответственность за все от начала до конца несете вы. И спрашивать мы будем с вас.

Это была не угроза, а обычная партийная формулировка: спрашивать с одного за все и за всех.

Есть люди, которые без труда словно бы предугадывают ваши действия на расстоянии. Стоит вам только намылиться под душем, либо уединиться в самом маленьком и уютном помещении вашего жилища… — как они тут же набирают номер вашего телефона.

Мой друг Леднев в полной мере обладал этим даром. Стоило мне вернуться в свой служебный кабинет, раздался звонок.

— Скажи, пожалуйста, когда ты был в последний раз в Доме журналистов?

Я задумался.

— Не напрягайся! Скажу тебе и так: давно. Если мы не появимся там самое позднее— сегодня, подумают, что мы умерли. Таким образом, слухи необходимо предупредить и опровергнуть. Пусть не радуются нашей преждевременной кончине.

Вечером, точно в назначенное время, я сидел за столиком журналистского ресторана. Леднев появился с опозданием, а потому в прекрасном расположении духа. Сообщив самые свежие новости обо всех и вся, он вдруг хлопнул себя по лбу:

— Совсем забыл! На прошлой неделе я случайно встретил…

И он назвал имя одного известного ученого-политика, с которым когда-то вместе учился в институте. Позже тот работал в Международном отделе ЦК, став со временем членом ЦК.

— Так вот, он рассказал мне, что пару недель назад виделся с Андроповым, и тот среди прочего задал ему вопрос относительно моей персоны. В ответ на что мой однокашник якобы хорошо обо мне отозвался…

— Редкий случай! Нынче считается дурным тоном говорить друг о друге хорошо.

— Оставим его, поговорим лучше о нашей судьбе. Мне непонятно, зачем я понадобился Андропову? Теперь, когда он не в ЦК, а в госбезопасности?.. Может, я что-нибудь сболтнул лишнее на людях? Не знаю, к чему теперь готовиться, к тюрьме или..

— Скорее, к «или».

Слушая Леднева, я был неприятно удивлен столь примитивным способом, к которому прибегнул Андропов, наводя справки о Валерии. Ведь у него под началом был многочисленный, великолепно оснащенный аппарат, готовый в любой момент представить любую информацию, включая рентгеновские снимки мыслей Леднева во время сна.

Я тут же придумал себе несколько объяснений: непрофессиональность нового шефа госбезопасности, привычка партаппаратчика составлять личные характеристики, выведывая мнения людей друг о друге, или, наконец, боязнь доверить свои

планы и начинания аппарату, пока ему чуждому, еще не заполненному верными людьми.

Я решил не томить больше друга и объяснил, что ждет его в ближайшем будущем. Мой рассказ настолько ошеломил его, что он забыл даже про украшавшую стол бутылку.

Выждав, когда улягутся эмоции, я предложил перейти к делу, то есть прежде всего тщательно перебрать кандидатуры всех немецких знакомых журналистов, работавших в Москве.

Верные Табели о рангах, мы начали свои попытки с пресс-атташе посольства ФРГ в Москве, господина Райнельта. Немолодой, симпатичный и подвижный дипломат с удовольствием принял наше приглашение отобедать с ним в ресторане гостиницы «Украина». Располагалась она как раз напротив его московской квартиры, что давало ему возможность чувствовать себя, как дома.

Чрезвычайно быстро он убедил нас в том, что панически боится немецкого посла и своей жены, а кроме того, никакими серьезными знакомствами у себя в стране не располагает.

Куда большие надежды возлагали мы на московского корреспондента «Франкфуртер альгемайне» Германа Пертцгена, о котором я уже говорил. Упомянув о том, что свою работу в Москве он начал еще до войны, я не рассказал о тогдашнем его знакомстве с германским военным атташе, которому он, по всей видимости, оказывал какие-то услуги.

В конце войны Пертцген был интернирован советскими властями в одной из восточноевропейских стран, доставлен в Москву, отдан под суд и осужден на десять лет тюрьмы за шпионаж. О его пребывании во Владимирке и последующем возвращении в СССР в качестве корреспондента все той же газеты читатель уже знает. Так же, как и о его малообъяснимой любви к нашей стране, которую цинично использовали в своих интересах советские власти.

Мы встретились с Германом, когда он был занят сбором материалов для своей новой книги. В течение всей нашей беседы он, всякий раз извиняясь, то и дело вынимал блокнот и делал в нем пометки.

Перспектива оказаться главными действующими лицами его политического бестселлера нас почему-то не устраивала, и мы поспешили распрощаться с этим тонким, на редкость интересным и необычайно благородным человеком.

От встречи с корреспондентами газеты «Ди Вельт» и агентства ДПА мы отказались сразу: им было не до нас по сугубо личным причинам. К тому времени оба ухитрились жениться на московских дамах: один — на неудавшейся актрисе, другой— на

сотруднице одного из отелей «Интурист». Немудрено, что оба находились в состоянии сильного и затяжного шока, который испытывает почти каждый иностранец, столкнувшись в условиях семейной жизни с русской душой, спрятанной в женском теле.

Время шло, а дело не двигалось. Впрочем, меня пока никуда не вызывали и не задавали никаких вопросов. Ясно было, однако, что в этом здании и на этом уровне никто и ничего не забывает — придет день, когда от меня потребуют отчета. Тогда уж, конечно, несколько страничек общих рассуждений не понадобятся. Достаточно будет одной строчки, чтобы расписаться в своей беспомощности.

Настроение было отвратительным, хотя впадать в пессимизм смысла не было. Жизнь любит ставить людей в сложные ситуации, и только подведя к черте отчаяния, когда кажется, что все уже потеряно, вдруг в последний момент указывает направление выхода из тупика. Многим знаком этот эффект, и все по-разному объясняют его, чаще всего упрощая и называя «случаем»

Пусть будет так.

5 мая 1968 года Отдел печати МИД СССР давал традиционный прием по случаю Дня печати для аккредитованных в Москве иностранных журналистов. На втором этаже Дома журналистов на Суворовском бульваре, в Мраморном зале, были расставлены столы. Кто-то произнес традиционно бесцветную речь, после чего все традиционно сгрудились у столов с «Московской» водкой и бутербродами с икрой.

Когда и то и другое почти исчезло со столов, в зале стало шумно и оживленно. Маститые советские обозреватели принялись запальчиво убеждать своих иностранных коллег в том, во что сами не очень верили. Те, в свою очередь, зябко ежились от жидкой аргументации, но голоса не повышали, не желая портить отношений.

В тот вечер я почему-то оказался у рояля, снесенного со сцены вниз, в зал, и не без любопытства наблюдал со стороны разгул необузданного, подогретого парами спиртного, цинизма.

Кто-то окликнул меня. Я повернул голову: Хайнц Лате, представлявший в Москве «Франкфуртер фрае прессе» и писавший еще для нескольких немецких газет. Он шел прямо ко мне.

Это был умный, интеллигентный, прекрасно знавший и хорошо понимавший Россию человек. Для меня он являлся частью того же, до сих пор не разгаданного, феномена, что и Перцген: пройдя через русский плен, он умудрился полюбить страну, где

столько лет провел за колючей проволокой. После освобождения он приложил массу усилий, чтобы как можно скорее вернуться в Россию, уже в качестве корреспондента.

Хайнц очень своеобразно объяснял факт победы России над Германией в последней войне: русские подолгу терпят бремя своего, российского рабства, но совершенно не переносят гнета, навязываемого извне, пусть и более цивилизованного по форме.

Среди коллег-журналистов Лате славился фантастической работоспособностью и одержимостью в делах. Чтобы не терять время на прогулки по лесу и одновременно вдыхать свежий воздух, он, начиная с ранней весны, выезжал в Подмосковье, расставлял среди деревьев стол и работал до сумерек.

Зная несколько особенно любимых им уголков леса, мы с Валерием неоднократно разыскивали его, идя на разносившуюся далеко по лесу трескотню пишущей машинки. Его немецкие коллеги шутили, что Хайнц работает ровно 28 часов в сутки. Работа и впрямь была его страстью в той степени, которую немцы называют «Sucht».

Протягивая руку при встрече и ограничиваясь не более чем односложным приветствием, он тут же задавал вопрос вроде: «А что ты думаешь по поводу последнего выступления Хрущева?» Как и все иностранные журналисты, он искренне сокрушался, когда того сместили. Вот и сейчас, подойдя ко мне на приеме, он с этого и начал:

— Ах как жаль, что нет Никиты Сергеевича! Он работал на нас, журналистов, как вол. Бывало, расскажет какую-нибудь историю, мы ее целую неделю пережевываем для разных газет по-разному, а теперь вот, иди, выдумывай сам! Но еще противнее, конечно, пересказывать написанное другими. Кстати, ты читал последний номер «Международной жизни»? Там жуткая статья относительно новой восточной политики Кизингера и Брандта. Как можно так поверхностно писать? Ведь это журнал вашего министра иностранных дел Громыко?..

Честно скажу, я не часто заглядывал в это издание, хотя журнал действительно был рупором нашего внешнеполитического официоза. Но невежество свое обнаруживать мне вовсе не хотелось. Выручил, опять же, случай. Как раз в эту минуту мимо нас проходил главный редактор журнала Шалва Санакоев, с которым я был шапочно знаком. Его я и схватил за рукав:

— Вот немецкий журналист недоумевает по поводу одной публикации в вашем журнале. Думаю, вы сможете лучше меня объяснить?..

Тот мрачно выслушал Лате и стал рисовать ему, в полном

соответствии с духом упомянутой статьи, мрачную картину, где ГДР будет «проглочена» ФРГ путем воссоединения. Становилось тоскливо.

На этот раз положение спас не случай, а Леднев, подошедший вместе с официанткой, которая, повинуясь полету его фантазии, накрыла часть рояля салфеткой и расположила на ней бутылку водки, рюмки и тарелку с закуской.

Леднев был одним из самых близких друзей Лате, а потому сейчас, в затруднительный момент, он пришел нам обоим на помощь.

— Довольно политики, — бесцеремонно заявил он тоном, не допускающим возражений. — Приглашаю господ журналистов к роялю.

Он сиял, в полном восторге от своей выдумки.

— O, ein echter musikalischer Picknic! (O, настоящий музыкальный пикник!)

При всей своей любви к России, Лате пил мало и без удовольствия. Когда все стали расходиться, он неожиданно предложил:

— Мои домашние уехали в Германию, поедем ко мне, продолжим наш пикник? Обещаю политики не касаться.

В его уютной квартире на Кутузовском проспекте мы просидели до восьми утра. Вспоминая эту встречу, я не могу сказать, что ночь прошла спокойно.

Таким я видел Хайнца в первый и последний раз. Во-первых, он пил наравне с нами. Во-вторых, не сдержал слова и говорил только о политике. В-третьих, его приглашение было не вполне бескорыстным: у него возникла потребность выплеснуть все, что накопилось в душе за долгие годы жизни в Советском Союзе, но для этого необходима была не просто аудитория, а люди, с которыми можно говорить откровенно. Высказываться, а тем более писать критически о том, что происходило в нашей стране, было тогда небезопасно. Но и носить все в себе такому человеку, как Хайнц, было невыносимо.

Тема ограничивалась советско-западногерманскими отношениями, претензии сводились, в основном, к узости внешнеполитической концепции нашей страны и тенденциозности пропаганды, которая безоглядно и некритично вставала на сторону официоза.

В какой-то момент мне даже показалось, что Хайнц специально подготовился к нашей встрече: каждый свой аргумент он тут же подкреплял вырезками из советских и немецких газет, заранее подобранных и разложенных соответственно темам.

— Вот, поглядите, сколько всего написано у вас о

возрождении нацизма в Германии!

Хайнц поднял высоко над столом кипу вырезок из советских изданий и опустил ее перед нами.

— А теперь посмотрим, много ли откликов появилось в вашей прессе по поводу многочисленных судов над нацистскими преступниками, которые проходили и проходят в ФРГ…

Он поставил перед нами пустую бутылку. Выдержав паузу и насладившись достигнутым эффектом, он положил перед нами толстую пачку вырезок из немецких газет на эту же тему.

— Или вот, полюбуйтесь, вся эта кипа вырезок— статьи в вашей прессе по поводу того, как ФРГ стремится поглотить ГДР путем воссоединения. А вот заявление канцлера Кизингера, сделанное год тому назад, не потрудился процитировать никто!

И он зачитал одну за другой несколько цитат из немецких газет: «Объединение Германии не может произойти против воли Советского Союза».

— Или вот, высказывание нашего министра иностранных дел Вилли Брандта по поводу обеих Германий: «От урегулированного соседства к сотрудничеству». Ваша же пресса квалифицирует эти высказывания как «вбивание клина между странами Варшавского пакта путем поочередного установления ФРГ дипломатических отношений с соцстранами». И ведь эту линию поддерживает и вдохновляет старейший в мире министр иностранных дел!

Обычно благожелательный и невозмутимый, почти флегматичный, с добрым, круглым и широким, как луна, лицом, хозяин дома метался в тот вечер от стола к полкам, оттуда к подоконнику, хватал вырезки, какие-то склеенные страницы, совал их нам в руки, непрестанно промокая взмокший лоб и протирая запотевшие очки.

Накипевшая боль выплескивалась не только потоком слов, но и через поры. Мы делали попытки его успокоить, но тщетно.

— Я люблю вашу страну, ваших людей, хочу помочь им, но постоянно ощущаю свое бессилие. Оставаясь один в этой комнате, я часто от отчаяния кричу, по-настоящему, в полный голос. Да так, что сам теперь начинаю верить, что здесь вовсе нет подслушивающих устройств, о которых так много говорят. Иначе сидящие в наушниках примчались бы на крик.

— Зачем кричать? Нужно ведь дело делать…

— А что я могу? Здесь я — бывший солдат вермахта, сражавшийся против Советского Союза, представитель «страны возрождающегося фашизма». Кто здесь меня слушать станет?

— А у вас по-другому?

— В Германии мне, конечно, проще, я там — представитель прессы, которую побаиваются, а значит, уважают. Я могу

попросить любого политика принять меня, и он не откажет, более того, выслушает концепцию, которую я ему изложу. Если же моей репутации человека, хорошо знающего Россию, окажется недостаточно, на то есть еще мой главный редактор. Для него же визит к президенту или канцлеру страны — все равно, что звонок в дверь к соседу по квартире. Кстати, всякий раз, когда я бываю в Германии, мы часами беседуем на «русскую тему». И он тут настроен весьма прогрессивно.

В последний раз, например, мы сошлись в том, что ситуация находится в состоянии полной стагнации. Нужны новые, смелые шаги, на которые консерваторы ни у нас, ни в Советском Союзе органически не способны. И тем не менее, сдвинуть этот камень с места пора пришла.

Валерий знал, о ком идет речь: с главным редактором «Франкфуртер фрае прессе» Шмельцером он познакомился во время своего пребывания с Аджубеем в Германии.

— Как же, очень хорошо помню, — подтвердил Леднев. — Симпатичный, немного хромающий, пожилой и весьма влиятельный в Германии человек.

Мы с Валерием обменялись взглядом, полным взаимного упрека: как можно было забыть про Хайнца Лате и главного редактора его газеты Шмельцера! Как можно было забыть об их личном знакомстве!

Пребывание хрущевского зятя в Германии запомнилось немцам как событие скандально-сенсационное, хотя они и готовы были к тому, что многовековая традиция непотизма, которой славились и Рюриковичи, и Романовы, жива в России. В соответствии с нею, ближайшие родственники и свойственники государя — сыновья, шурины, зятья, племянники и братья — оказывали непомерно значительное влияние на управление страной.

Продолжили эту византийскую традицию в советское время Василий Сталин, Алексей Аджубей, Юрий Брежнев. Последнего, кстати, коротко и точно охарактеризовал в своей недавно вышедшей книге «Путь на Восток» граф Отто фон Амеронген: «Поставив подписи под документами, Юрий Брежнев тут же отправлялся в бар. От кофе он отказывался в пользу виски. В обязанность одного из его сопровождающих входило следить за тем, чтобы не подпускать его к бутылке, хоть ненадолго до обеда».

В 1968 году Аджубей, после того как закатилась звезда самого Хрущева, оставался уже не у дел, однако небольшая книжица, выпущенная вскоре после его нашумевшего визита, среди авторов которой значился и Леднев, должна была

послужить своего рода визитной карточкой для продолжения его знакомства с солидными немецкими издателями и владельцами газет.

— Как же, отлично помню! Вы приезжали в Германию вместе с зятем Хрущева, Аджубеем, не так ли? — протягивал ему руку маститый немецкий журналист или телеобозреватель.

Все это в тот памятный вечер у Лате пришло нам обоим на ум как-то сразу, и мы, не сговариваясь, изложили свой план Хайнцу, не ссылаясь, конечно, ни на Брежнева, ни на Андропова.

Надо сказать, что вопрос о том, кто стоит за нами, Хайнца не интересовал вовсе. Позже он объяснил нам отсутствие любопытства своим прекрасным знанием реалий у нас в стране: без санкций с «самого верху» мы не отважились бы ни на подобный план, ни на поиск путей его реализации.

Водной речи, относящейся к середине шестидесятых годов, Громыко окрестил ФРГ «возмутительницей спокойствия». Этот ярлык мы тут же переклеили Лате. Он не счел нашу находку остроумной, но и не обиделся. С той поры во всех разговорах по телефону и беседах с глазу на глаз мы называли его только так, «возмутитель спокойствия».

Время шло, я теперь уже был готов ко встрече с Андроповым, однако от него по-прежнему сигналов не поступало.

С наступлением лета Хайнц уехал в Германию, но, судя по всему, и там не мог найти себе покоя. Не реже раза в неделю он находил предлог, чтобы позвонить мне или Ледневу. Не касаясь, естественно, заветной темы и не задавая вопросов, он умел как-то на секунду замолкнуть, и становилось ясно, что он весь в ожидании новостей из Москвы. Ничего не услышав в ответ, он осторожно клал трубку телефона на положенное ей место.

Однажды вечером Хайнц позвонил мне домой, и, по обыкновению, едва поздоровавшись, возбужденным голосом спросил:

— А ты знаешь, какие мосты наводит Бонн?

Я знал, о чем шла речь. По указанию Громыко, наша пресса произвела очередной пропагандистский залп по Западной Германии. Раздражение Москвы было вызвано тем, что ФРГ, установив дипломатические отношения с Румынией, попыталась расширить процесс дипломатического признания на все соцстраны, за что и была обвинена в попытке развалить Варшавский блок. Статьи в «Правде» и «Известиях» так и назывались: «Welche neue Politik hat Bonn ausgehaekt?», а также «Welhe Bruecken schlaegt Bonn?»

Я не стал успокаивать Хайнца, ибо и сам не мог навести порученные мне мосты самостоятельно, а Андропов по-прежнему

не давал о себе знать.

Отчасти, мне было понятно его молчание: до нас ли ему? После длительных переговоров с Дубчеком СССР решил ввести войска в ЧССР. Уверен, Андропов лучше всех остальных из числа советского руководства представлял себе, что происходит: он был послом в ВНР в 1956 году, когда, понятно, не без его инициативы, туда были введены советские войска.

Увиденное и пережитое в те дни оставило тяжелый след в его сознании. Он рассказывал, что бессонные ночи, наполненные душераздирающими криками распинаемых, подобно Христу, на столбах у советского посольства в Будапеште, повергли его жену в тяжелое психическое состояние, из которого она так и не вышла до конца своих дней.

Эти соображения могли кое-что объяснить для меня, но не для Лате, который был не в силах понять происходящее. Да, откровенно говоря, и мне было мучительно сознавать, что я напрасно втянул Хайнца Лате, а теперь и его главного редактора в игру, хоть и благородную, но не нашедшую своего партнера.

Хайнц сдержал слово, переговорил с шефом, и тот обещал использовать все свои возможности для установления прямого контакта между высшим руководством СССР и Германии.

Прелюдия

Ранней весной 1969 года газета «Советская культура» направила своего корреспондента Валерия Леднева в ФРГ для освещения какого-то культурного события. Лате информировал об этом главного редактора, и тот оказал гостю поистине царский прием, включив в культурную часть программы знакомство с ночной жизнью немецких городов.

Сам Шмельцер в этой пикантной части программы не участвовал, но сотрудники редакции организовали все с большим знанием дела. Среди них с особой благодарностью Валерий вспоминал графа фон Цедвица.

Хорошо помню, что материал в «Советской культуре», написанный Ледневым по итогам этой командировки, был несравненно менее красочным, чем бесконечные устные рассказы автора, которые, как сказки Шехерезады, поражали экзотикой и растянулись на много вечеров.

После такой легкомысленной терапии Шмельцер увез Леднева в свою охотничью избушку и там изложил взгляды на русско-германские отношения в прошлом и настоящем, а также наметил возможные пути развития их в будущем. Без влияния Лате невозможно объяснить, как его видение проблемы могло настолько совпадать с нашим.

Он выступал за то, чтобы любыми средствами вывести отношения из замороженного состояния, не дать им и далее «ржаветь».

Свою позицию он подкреплял историческими примерами личных встреч между русскими и германскими императорами, когда все вопросы решались в одночасье. Он был категорическим сторонником скорейшего установления прямого канала, однако куда более верил в успех дела, если за него возьмутся не руководители наших стран, а их «рабочие лошади». Жаль лишь, с досадой отмечал он, что эти последние все как-то больше вырождаются в пони.

Как многие иностранные политики, он видел в недостатках русских их достоинства. Например, промедление с установлением прямых отношений между руководством стран он расценивал как мудрость с советской стороны, полагая, что такая осторожность понятна в свете предстоявших осенью выборов в Германии.

На вопрос Леднева, с кем же придется в этом случае иметь дело, Шмельцер рассказал известную историю.

В ходе событий Французской революции, когда в Париже стреляли, Талейран сидел с друзьями в питейном заведении, где

в разгар веселья предложил тост за победителя. С восторгом осушив бокалы, друзья спросили, за кого же они пили?

«А вот об этом мы узнаем завтра», — усмехнулся в ответ Талейран.

— По моим прогнозам, к власти придут социал-демократы, но лучше подождать, чем гадать, — заключил Шмельцер и тут же предложил тост за победителя, с которым придется иметь дело.

По возвращении Леднева из Германии, я позвонил в приемную Андропова.

— Как доложить, по какому вопросу?.. — поинтересовался молодой голос.

— Юрий Владимирович знает.

Молодой человек умел уважать чужие тайны.

— Хорошо, доложу. — Через несколько минут его же бесстрастный голос сообщил — Шеф просил передать, что все помнит и пригласит вас, как только освободится.

Освободился шеф не сразу, оставив мне достаточно времени для догадок о причине его занятости.

Теперь его помыслы были повернуты на Восток.

К весне 1969 года наши отношения с китайцами достигли перигея. В марте из-за острова Даманский дело дошло до рукопашной. Ситуация сложилась достаточно серьезная, чтобы отодвинуть на второй план решение немецкого вопроса. Это и стало причиной той затяжки, которую Шмельцер ошибочно принимал за мудрый расчет дождаться выборов.

Тем более я был удивлен, когда в конце апреля наша встреча все же состоялась. Не меньшей неожиданностью явилось и то, что Андропов пребывал в прекрасном настроении.

Протокол встречи остался неизменным: он обошел стол, протянул руку для пожатия и, не торопясь, двинулся обратно.

— Вы, конечно, решили, что я забыл о нашем разговоре?

— Честно говоря, да.

— Вот и зря. Всякому событию свое время. Опыт учит, что выигрывают только терпеливые.

Умозаключение это не показалось мне тогда слишком глубоким. Позже я понял, что терпение было одним из качеств характера, которые он не только уважал, но и культивировал в себе.

— А теперь порадуйте успехами.

Я рассказал о пребывании Леднева в Германии и о его встрече со Шмельцером.

Андропов обладал крайне важным и, к сожалению, крайне редким сегодня качеством: он умел слушать. При этом он старался не перебивать говорящего, часто опускал глаза, чтобы по

его реакции нельзя было судить о том, что из услышанного он одобряет, а что вызывает его раздражение. Позднее я не раз слышал от него, что государственный деятель должен скрывать свои эмоции. И по всему было видно — себя он считал именно таковым. Мне же не раз приходилось наблюдать со стороны, как далек он был от того, что считал совершенством.

Выслушав до конца, он некоторое время молча разглядывал меня, словно ожидал, что я вот-вот расскажу ему о ночных похождениях моего друга. Так же внезапно он развернулся в кресле и нажал кнопку на пульте.

— Это Андропов. Как там ситуация? Можно поговорить с Леонидом Ильичем?

Поняв, что предстоит конфиденциальный разговор, я автоматически поднялся, чтобы уйти. Андропов, не отнимая трубки от уха, властным жестом руки указал на стул.

— Слушаю тебя, Юра, — зазвучал низкий голос Брежнева в телефонной трубке, очевидно, громче, чем хотелось бы Андропову.

— Есть повод вернуться ко вчерашнему разговору о Германии, Леонид Ильич! Вот передо мной сидит… — он назвал мою фамилию, — и рассказывает, что один влиятельный западногерманский политик предрекает полную смену руководства в ФРГ в результате выборов. То же говорят и наши немецкие друзья.

— Когда у них выборы?

Он вопросительно поднял на меня глаза, и я беззвучно с артикулировал подсказку.

— Этой осенью, — почти без паузы произнес Андропов. — Думаю, надо подождать, пока события там свершатся, а уж потом устанавливать от вашего имени контакт.

— Полностью согласен с тобой, Юра. Нам нужны отношения не на месяц-два, а на годы. И ты прав, нечего спешить. Но прошу, постарайся держать меня в курсе событий!

— Обещаю, Леонид Ильич.

— Кстати, я тут прочел проект доклада Громыко на заседании Верховного Совета. По-моему, все акценты и в отношении американцев, и в отношении западных немцев очень точно расставлены. И по Берлину, и по вопросу границ… Одним словом, все точки над «i». Это должно быть хорошим ориентиром в нашей внешней политике и для руководства ФРГ.

— Вполне согласен.

— Хорошо, Юра, и еще раз прошу: держи меня в курсе событий.

Андропов аккуратно положил трубку. Видно было, что его

одолевали противоположные чувства: с одной стороны, приятно продемонстрировать, что он свободно, в любой момент может доверительно общаться с самым могущественным в стране человеком, а с другой — досадно, что посторонний человек волею случая стал свидетелем неравенства их отношений. Андропов обращался к Брежневу на «вы» и по имени-отчеству. Генеральный же называл его попросту Юра и говорил, конечно, «ты». Со стороны Брежнева, и это было общеизвестно, такой тон свидетельствовал об особой степени доверия, но Андропов не был уверен, что я восприму именно так.

Как бы то ни было, Андропов был очевидно доволен состоявшимся разговором, а потому легко поборол двойственность ощущений. Положив трубку, он вместе с креслом развернулся ко мне:

— Ну вот, вы только что сами слышали из первых уст, какие надежды возлагает Генеральный на Германию и, значит, на нас с вами.

И он буквально слово в слово повторил все, что говорил мне в прошлый раз о необходимости блюсти строгую конфиденциальность контакта на высшем уровне.

— Бумаги пишутся только для любопытных. Главное же нужно держать в голове! Ведь любопытство и болтливость — близкие родственники… Всю информацию докладывать непосредственно мне, и лишь с моего разрешения впредь, если потребуется, ориентировать очень узкий круг людей. По каналу немцам говорить только правду, неукоснительно исходя из принципа: «Лучше промолчать, чем солгать».

Со временем я привык к этой манере Андропова дословно повторять свои наставления, не расценивая их, как недоверие к моему интеллекту, скорее, списывая за счет слабости его памяти и привычки всякий раз «вбивать гвоздь по шляпку».

Покончив с инструктажем, он вновь вернулся к приятному, а именно, к только что состоявшемуся разговору с Брежневым.

— Как вы, конечно, поняли, мы на днях с Леонидом Ильичом подробно обсуждали общее положение во внешней политике, и он полностью согласился, что без западных немцев нам сложно будет вылезти из сложившейся ситуации. Да и они без нас так и останутся в состоянии «глубокой заморозки»… Перед нами сейчас лежит отрезок пути, который мы должны к обоюдной выгоде пройти вместе. И это надо сделать, не теряя времени. Как только пройдут выборы и прояснится расстановка сил, не ждите ни дня, сразу начинайте действовать.

Санта-Клаус-69

В Германии точнее всего предсказывают девальвацию, хуже погоду. С переизбранием канцлера дело обстоит сложнее. Относительно выборов 1969 года каких только не было слухов и предположений! Когда после подсчета голосов объявили, что канцлером будет Кизингер и его поспешила поздравить американская администрация, все удивились. Чуть позже, когда объявили, что канцлером-таки стал Вилли Брандт и его поздравил весь мир, удивились вдвойне.

Сев в кресло канцлера, Брандт использовал для своего политического старта взлетную полосу, ведущую в сторону Советского Союза, подготовленную им еще в бытность министром иностранных дел. Шмельцер словно услышал призыв Андропова не терять ни дня и срочно затребовал Леднева в Германию.

За сутки до его вылета Андропов пригласил меня к себе и протянул молча две страницы машинописного текста. Это было конфиденциальное письмо Брандта, адресованное советскому премьер-министру Алексею Косыгину.

Брандт, к сожалению, не знал, что внешнеполитические функции на Косыгина возлагались лишь чисто формально. На деле все вопросы такого характера решали Громыко и в не меньшей степени Андропов.

Судя по отметкам на листках, письмо это Косыгин переслал Брежневу, а тот направил Андропову, ибо организация конфиденциального канала была именно его идеей, а следовательно, и его заботой.

Брандт писал:

«Сама суть дела предполагает, что обмен мнений должен быть исключительно доверительным, только в этом случае он будет иметь смысл и поможет по возможности устранять или препятствовать возникновению недопонимания. Эта задача, мне кажется, заслуживает внимания правительств обоих государств и она не может быть решена вдруг, сегодня или завтра, но лишь в ходе продолжительного процесса, к которому я призываю».

Комбинация с возвращением письма, предназначавшегося другому адресату, не казалась Андропову безупречной с моральной точки зрения, потому требовала некоторого пояснения. Пока я читал листочки, он дважды прошелся по кабинету, когда же я отложил их в сторону, вернулся в кресло.

— Я давно наблюдаю интересное явление: порой, независимо друг от друга, у разных людей, находящихся в разных местах, появляется одна и та же идея.

Я молча следил за ходом его мыслей.

— Думаю, это письмо значительно облегчит установление доверительных отношений между Брежневым и Брандтом, — продолжил он, не дождавшись от меня ответа. — Нужно лишь его умно использовать, правильно выбрав для этого людей, место и время.

22 декабря 1969 года в аэропорту Кельн-Бонн произвел посадку самолет Аэрофлота. Среди других пассажиров из него вышел полный мужчина средних лет в очках и теплой шапке. В Москве в тот день было морозно, в Кельне же шел дождь. Закрыв глаза на то, что пассажир одет явно не по сезону, немецкий пограничник беспрепятственно пропустил Валерия Леднева к выходу, где его уже поджидал молодой человек. Он передал привет от Шмельцера, отвез гостя в Кельн и устроил в респектабельном и уютном отеле в центре города, прямо у всемирно известного собора.

На площади перед собором было тепло и радостно от бесчисленных огней, нарядных елок, оживленной толпы и многочисленных надписей с наилучшими пожеланиями, на которые натыкался глаз на каждом шагу. Шла последняя неделя перед Рождеством.

Расставаясь, посланник Шмельцера сообщил Ледневу, что на завтра в полдень запланирована чрезвычайно важная встреча с ответственным лицом в ведомстве канцлера, а вечером предстоит обед с главным редактором Шмельцером.

На другой день, точно к указанному времени, Леднев и его вчерашний спутник входили на территорию ведомства канцлера. Навстречу им текла нескончаемая вереница чиновников. Их оживленные лица не выражали ни малейшего сожаления от расставания с правительственным зданием: был канун Рождества.

Войдя в опустевшее здание, Валерий увидел большую, несколько по-казенному украшенную елку, дальше — коридор и дверь с табличкой: «Статс-секретарь Эгон Бар».

— Прежде здесь сидел Глобке, статс-секретарь Аденауэра, — продемонстрировал свое знание лабиринтов власти молодой спутник.

За дверью — просторная приемная, большой стол с пишущей машинкой и цветочной вазой. За машинкой — немолодая секретарша. Дама строгого вида, как и полагается, из тех, о которой любой француз с восторгом сказал бы: «Ellea vecue!», одним словом, со следами былого на лице.

Преподнесенная Валерием почтовая открытка с видом бело-пушистой русской зимы привела ее в восторг. Затем — небольшой диалог о преимуществах снега над дождем. Дама с

интересом рассматривала московского гостя, не забывая поглядывать на часы. Стоило стрелке остановиться на отметке «12», как она, изменив выражение лица, поднялась со стула и пригласила гостя пройти сквозь открытую перед ним дверь.

За столом Валерий увидел мужчину, еще не перешагнувшего порог пятидесятилетия. Встав, он оказался гораздо ниже гостя ростом и, как минимум, вполовину стройнее. Глаза цепкие и умные. Словом, человек, разбирающийся в людях и знающий, что можно от них ожидать.

Во взгляде его Валерий прочел больше саркастического любопытства, чем подлинного интереса. Всем своим видом хозяин подчеркивал, что вынужден тратить драгоценное и долгожданное рождественское предвечерье, скорее всего, впустую.

Леднев, однако, был далеко не тот визитер, которого легко выбить из колеи столь утонченными приемами. Обладатель свойственной русским крайне устойчивой нервной системы, к тому же хорошо выспавшийся и прекрасно позавтракавший в чудесном ресторане респектабельной гостиницы, он ни на минуту не сомневался, что доставит удовольствие своим обществом кому угодно, не исключая статс-секретаря ведомства западногерманского канцлера.

Не успев опуститься в кресло, он повторил отрепетированный на секретарше пассаж относительно контраста русской зимы и боннского рождественского межсезонья. Затем последовала отдающая банальностью фраза о том, что в Советском Союзе куда радостнее празднуют Новый год, чем Рождество. Промолвив это, Леднев запустил руку в свой объемистый портфель и выудил из его недр крохотную нейлоновую елочку, которую, широко улыбаясь, поставил на стол перед носом статс-секретаря.

Сувенир был эстетически небезупречен, но жест гостя был искренен и совершенен, а потому достиг цели. Глядя на весело рассмеявшегося Бара, Леднев размышлял — стоит ли продолжать светскую беседу или скорее перейти к делу.

В выборе времени Ледневу в тот предрождественский полдень помог сам статс-секретарь. Все еще смеясь, он отодвинул елочку в сторону, давая понять, что неофициальная часть разговора позади. За этим должна была последовать казенная фраза: «Я вас слушаю», либо осторожно-нетерпеливый взгляд на часы.

— Я хочу поздравить вас с победой на выборах, — невозмутимо продолжил Леднев. — В Москве уверены, что с вашим приходом к власти начнется новый этап в отношениях между нашими странами.

При этих словах лицо Бара заметно поскучнело. Пора было бросать на стол козырную карту. В данном случае эту роль призван был исполнить подготовленный нами монолог:

— Господин статс-секретарь! — начал Валерий по памяти. — Детальный и плодотворный обмен мнениями между господином Брандтом и премьер-министром Алексеем Косыгиным, состоявшийся не так давно, создал благоприятную почву для углубленного обмена мнениями о перспективах взаимоотношений между нашими странами.

На случай, если бы в глазах собеседника не появилось достаточно доверия, Леднев, после не пахнувшей хвоей пластиковой елочки, должен был вынуть из портфеля копию письма и положить ее перед Баром. Но это в крайнем случае, а пока он невозмутимо продолжал:

— Меня просили передать, что все, без исключения, темы, упомянутые канцлером в письме от 19 ноября нынешнего года, и в первую очередь, его предложение об организации прямого канала связи в обход всех бюрократических учреждений между канцлером и высшим советским руководством, находят у нас полную поддержку. В его работе с вашей и с нашей стороны должны участвовать люди надежные и не склонные к… В этом случае решение накопившихся проблем было бы действительно ускорено. Это — единственный способ на деле «разгрести завалы», как теперь модно говорить, образовавшиеся в наших отношениях.

Канцлер Брандт совершенно прав, говоря в своем письме, что эту задачу не решить сегодня-завтра, это — продолжительный и требующий времени процесс. Мы считаем первой на сегодня задачей именно сократить время протекания этого процесса и думаем, что и вы заинтересованы в том же.

Статс-секретарь выслушал монолог молча, не обнаруживая своей реакции на неожиданный поворот в столь элегантно начатом разговоре. Лицо его сохраняло каменное выражение, пожалуй, только брови чуть сдвинулись к носу. Даже кончики пальцев, как известно, хуже всего поддающиеся контролю разума, по-прежнему неподвижно лежали на подлокотниках.

За дверью вдруг послышалась возня. Минуту спустя виновато вошла секретарша и осторожно поинтересовалась, понадобятся ли сегодня еще ее услуги?..

— Ох, извините ради бога! — спохватился Бар. — Элизабет, конечно же, вы свободны и на сегодня и на все праздники, это мы тут заговорились… Желаю вам счастливого Рождества.

— Того же и вам, господин Бар, и вашему гостю из Москвы. До свиданья!

Дверь за нею закрылась бесшумно и благодарно.

— Люди стремятся как можно скорее начать праздники и как можно позднее их закончить, — с оттенком неодобрения заметил Бар ей вслед.

«Можно подумать, сам он только и делал, что поступал наоборот!» — усмехнулся про себя Валерий.

Статс-секретарь некоторое время помолчал, словно собирал вновь мысли, рассеянные появлением секретарши. Ясно было, что голова его занята интенсивным перевариванием того, что вылил на него гость.

— Что ж, я не вижу причин сказать «нет» в ответ на ваши предложения. Но я не могу сказать и окончательного «да», пока не доложу канцлеру и не получу его согласия. А для этого необходимо уточнить ряд деталей…

И они просидели в кабинете еще немало времени, проясняя эти самые детали.

Наконец, Бар демонстративно посмотрел на часы.

— Когда вы улетаете?

— Послезавтра.

— Есть у вас сегодня планы на вечер?

— Да, я приглашен на обед.

— Может быть, нам следует вот как поступить: могу я просить вас прийти сюда же завтра к одиннадцати утра? А я постараюсь за это время встретиться с канцлером и все прояснить.

— Да, конечно.

Уже у самой двери, прежде, чем подать на прощанье руку, Бар вдруг спросил:

— Господин Леднев, а вы действительно уверены, что направившие вас сюда люди достаточно влиятельны для того, чтобы брать на себя решение таких глобальных проблем?

— Совершенно уверен, ибо речь идет о Брежневе и его ближайшем единомышленнике.

— Так я вас и понял, — с облегчением выдохнул Бар. — Значит, завтра в одиннадцать…

Обед у Шмельцера, однако, был омрачен для Леднева сомнениями по поводу того, как ему поступить: в конце концов, именно Шмельцер организовал его встречу со статс-секретарем, а потому имел все основания и полное право спросить, как она проходила.

Передать же ему хоть в самом общем виде ее содержание означало нарушить ту самую конфиденциальность, о которой так много говорилось в кабинете статс-секретаря. Не коснуться этой темы вовсе было, попросту говоря, полным свинством по

отношению к человеку, бескорыстно способствовавшему всей затее.

Выручил Валерия, как множество раз и до того и после, счастливый склад его характера: он обладал даром предоставлять событиям идти собственным путем, иными словами, пускать их на самотек. И все как-то всегда само собой складывалось. На сей раз ему и в голову не пришло менять привычки, и он снова не ошибся!

— Учтите, господин Леднев, — начал Шмельцер, — меня ведь нисколько не интересуют подробности вашего разговора.

Шмельцер был явно в приподнятом настроении.

— Главное, он был успешным. Так что, усаживайтесь за стол, будем обедать, а пока не принесли еду, я расскажу, откуда я об этом знаю.

Тут есть небольшая предыстория.

Узнав от господина Латте о вашем приезде, я позвонил главе Ведомства печати канцлера Кони Алерсу, которого хорошо знаю, и сказал ему, что из Советского Союза приезжает влиятельный журналист, желающий встретиться с кем-нибудь из числа близких к Брандту людей. Алерс объяснил, что отныне все подобного рода вопросы поручены Эгону Бару, и пообещал организовать вашу с ним встречу. Позавчера он перезвонил и сообщил, что Бар отказывается встречаться с советским журналистом, поскольку ему нечего сказать, а также из-за крайней занятости в предпраздничные дни.

Тогда я попросил Алерса напомнить Бару, что об отказах, как о приглашениях, принято сообщать заранее, а не накануне, и что в этом случае под сомнение ставится мое имя. Тут-то Бар и дал согласие вас принять, предупредив, что располагает не более чем пятнадцатью минутами. Вы, слава богу, просидели у него…

Шмельцер глянул на часы.

— Одним словом, не будем считать чужого времени, главное, что вы пробыли много дольше запланированного, а это говорит об успехе свидания. Я, видите ли, с трудом переношу людей неточных, а сегодня впервые радовался, когда вы задержались. Мы старались не зря, а потому можем выпить за успех и счесть тему закрытой.

Леднева уговаривать не пришлось.

— Я позволю себе дать вам небольшое напутствие, господин Леднев. Нам с вами необычайно повезло, я имею в виду сегодняшнюю вашу встречу. Бар сейчас — ключевая фигура в окружении канцлера. Да и Брандту повезло, что около него такая светлая голова. Я плохо знаю Бара, но в последнее время часто наблюдал его по телевидению и был, надо сказать, приятно

удивлен. Так точно подбирать аргументы и так убедительно и логично их выстраивать умеют у нас немногие политики. Иногда мне кажется, что стабильность мировосприятия немцев покоится на нескольких ежегодных событиях, которые не могут быть изменены, поставлены под сомнение или, не дай бог, смещены во времени. Главные из них — Рождество и отпуск.

Статс-секретарь Ведомства канцлера Эгон Бар не был бы немцем, если бы на следующий день, в самый канун Рождества, принимая Леднева, уделил ему более часа. И вовсе не потому, что обсуждаемые ими события того не заслуживали. Скорее, наоборот: Бар передал Ледневу, что канцлер приветствует создание конфиденциального канала между ним и Брежневым и удовлетворен тем, что отныне сможет напрямую, без проволочек и бюрократии, быстро решать вопросы государственной важности, в которых заинтересованы обе стороны. Он вполне согласен с Генеральным секретарем в том, что для успеха дела одним из основных факторов является фактор времени, которого ни в коем случае нельзя терять. Главную ценность такого контакта Брандт видит в возможности откровенного, прямого обмена мнениями без ограничения тем.

Вместе с тем, в одном вопросе он совершенно очевидно хотел подстраховаться. Брандт просил передать Брежневу совсем не новую и вполне очевидную мысль:

«Как бы далеко ни зашли наши отношения в стремлении к общей цели, при возникновении критической ситуации мы, немцы, несомненно, будем вместе с Соединенными Штатами».

Мысль эта первоначально вызвала у меня разочарование своей незамысловатостью. Я прекрасно знал, что ни Брежневу, ни Андропову и в голову не приходило, обсуждая идею об установлении прямого контакта с бундесканцлером, пытаться при этом как-то влиять на партнерские отношения ФРГ И США.

Не менее неприятно удивило меня и то, что Бар, которому Вилли Брандт поручил вести контакт с немецкой стороны, не потрудился переубедить его. Он-то не мог не понимать, что в Москве такая поза не вызовет ничего, кроме раздражения.

Однако мысли, как и пути сильных мира сего, неисповедимы.

Если не считать трехнедельного перерыва, можно сказать, что обед со Шмельцером перешел в ужин с Андроповым.

Он принимал нас с Ледневым на своей служебной квартире в тихом арбатском переулке неподалеку от австрийского посольства, совсем рядом с домом, где я родился.

Был морозный январский вечер. Свежевыпавший снег делал двор, куда выходили окна гостиной, похожим на иллюстрацию к зимней сказке. Меню было по-домашнему простым и здоровым.

Для Андропова хозяйка готовила отдельно: вываренное мясо без соли и специй. Уже тогда, в начале семидесятых годов, врачи требовали от него соблюдения строгой диеты.

Мы сидели втроем за столом и для нас с Валерием представилась уникальная возможность высказать свои смелые прогнозы и планы человеку, шансы которого занять самый высший пост в государстве были очевидно высоки.

Его же интересовали не столько события, сколько люди. Что представляет собой Бар? Серьезный ли это политик? Пишет ли свои речи Брандт сам или их готовит аппарат? Существует ли взаимное доверие среди немецких политических деятелей высшего ранга?

Этот последний вопрос он задавал и позже. Сам он отнюдь не страдал доверчивостью, считал недоверчивость нормой, отклонение от которой для политического деятеля рассматривал как аномалию, сродни уродству.

Когда же рассказ подошел к своему апофеозу, то есть к высказыванию Брандта относительно своей безупречной верности Соединенным Штатам, Андропов преподнес сюрприз нам обоим. Вместо того, чтобы нахмуриться и объяснить все аррогантностью американцев, он просиял:

— Ну, что ж, могу считать канал задействованным, а прямота Брандта — очень хороший признак. Могу лишь ему поаплодировать.

Я в очередной раз убедился в том, что люди ценят в других то, на что сами не всегда способны.

Андропов одобрил также договоренность с Баром проводить встречи в Западном Берлине. Там наше присутствие не покажется столь необъяснимым назойливым журналистам и любопытствующим политикам, как в Бонне.

Было и еще одно соображение. В то время Бар являлся уполномоченным канцлера ФРГ по Западному Берлину, и в его распоряжении находился канцлерский особняк в Далеме, фешенебельном берлинском пригороде, на Пюклерштрассе, 14. Вот там и решено было проводить наши встречи. Туда же на два тайных свидания с Баром мне позже пришлось вывозить и Фалина.

Преимуществом встреч в Западном Берлине было также и то, что мы, советские граждане, могли выезжать туда без оформления дополнительных бумаг.

Смущал, однако, тот факт, что, часто перемещаясь из Восточного Берлина в Западный, мы привлечем внимание властей ГДР.

Андропов дал нам по этому поводу следующее наставление:

— Ваша деятельность привлечет, конечно, внимание как в Восточном, так и в Западном Берлине. Невидимками вам стать не удастся, да и стремиться к этому незачем. Ваша задача в другом: сохранить в тайне от посторонних, неважно, западных или восточных, содержание ваших бесед с посланцем канцлера.

Если мы этого не сумеем сделать, то нам с самого начала начнут вставлять палки в колеса. Так что конфиденциальность — вот главное условие. Она должна быть соблюдена в первую очередь.

С этими словами Андропов встал из-за стола и подошел к телефону.

— Это Андропов. Леонид Ильич отдыхает? Ах, с внучкой в кинозале? Нет, не стоит беспокоить. Я позвоню позже.

Он вернулся за стол, отпил чаю и, словно размышляя вслух, произнес:

— Я вот думаю, не только на Западе, но и здесь вы столкнетесь с немалыми трудностями. Соперничество между нашими ведомствами— губительное и неискоренимое зло. И тем не менее, постарайтесь найти союзников, прежде всего в нашем Министерстве иностранных дел. Задача это непростая, но…

Зазвонил телефон. Хозяйка сняла трубку и тут же передала ее Андропову.

— Да, это я звонил, Леонид Ильич. Хотел доложить, как складываются дела с Брандтом. Вот у меня сидят… — он назвал нас по фамилиям, — и мы только что закончили обсуждение вопроса. Спасибо, передам. Кстати, и Брандт, по их словам, передает вам привет и наилучшие пожелания. Он — за то, чтобы канал связи между вами и им начал действовать по возможности быстрее. У него — целый пакет предложений и вопросов, которые надо было бы срочно рассмотреть.

В частности, канцлер ходатайствует о выезде в Германию большой группы волжских немцев. Думаю, проблемы здесь нет. Но есть и пара острых вопросов, требующих вашего разрешения. Одним словом, я готов доложить весь комплекс проблем. Но пока, по телефону, я хотел передать вам лишь одно, на мой взгляд странное, опасение Брандта. Он считает недопустимым, чтобы установленный канал использовался нами для «забивания клиньев» между ФРГ и Соединенными Штатами.

Предвидя ответ Генерального секретаря, Андропов чуть повернул трубку так, чтобы и мы услышали ответ из первых уст. Брежнев громко рассмеялся.

— Юра, это он нас с Громыко спутал! У Андрея, как у дипломата, задача разделять союзников. Что же касается меня, то пусть ребята передадут Брандту, что я уже лет двадцать не беру

молотка в руки, не только клин, но и простой гвоздь вбить не смогу. Да и не захочу.

Оба рассмеялись удачной шутке.

Европа третья

Мои личные контакты с чиновниками Министерства иностранных дел были немногочисленны. Лучше других я знал заведующего Отделом печати Леонида Замятина. Встретившись с ним, я коротко очертил круг своих интересов во внешней политике нашей страны относительно Германии. Замятин, человек динамичный по складу характера, времени терять не стал:

— Пойдем, я представлю тебя нашему «германскому богу». Во всем, что касается немцев, его слово для нашего министра — решающее. Лучше, чем он, никто не введет тебя в курс дела.

Лифты в высотном здании на Смоленской-Сенной всегда были проблемой, как теперь говорят, «источником стресса», а потому мы легко преодолели лестничные пролеты пешком.

Заведующий Третьим Европейским отделом Валентин Фалин сидел за рабочим столом, согнувшись ровно пополам. Увидев вошедших, он, словно сферическая антенна, развернулся в сторону, вверх, и голова его зависла высоко над нами.

— С этим человеком я знаком давно, — ткнул в меня пальцем Замятин, — на него можешь положиться. Остальное он скажет сам, а у меня дела…

И исчез.

Я повторил Фалину то же, что пять минут назад объяснял его коллеге. Он отреагировал неожиданно быстро:

— Вы, стало быть, хотите наладить контакты с западными немцами? Это похвально. Но забывать вам не следует, что сейчас у нас, в МИДе, Германия не в моде. Министр смотрит, как вы знаете, на мир сквозь звездно-полосатый американский флаг. Немцы для него — приблизительно то же, что и одно из центральноафриканских племен по степени своей роли в мировой политике. Идеи, головы, деньги — все у нас направлено на США.

При этих словах Фалин кивнул в сторону верхнего левого угла кабинета, из чего я понял, что там располагается североамериканский отдел, алтарь и ризница нашей внешней политики.

— Другое дело, — продолжил Фалин, — если за вами стоит такая сила, как Андропов с его влиянием на Генерального секретаря, то у вас, может быть, и есть шанс добиться успеха на этом поприще, иначе… — и он выразительно развел руками.

На прощанье Фалин посулил мне поддержку в «благом начинании», по сути же мы заключили негласный пакт о взаимопомощи, который оказался достаточно плодотворным до

самого мая 1971 года, когда он отправился послом в Бонн. Обратно в МИД вернуться ему уже не пришлось.

Судя по всему, я был не единственным, кому он высказывал критические замечания в адрес своего министра. Общеизвестно, что излюбленной забавой мидовских чиновников во всем мире является плетение интриг. Советские дипломаты не готовы были уступать пальмы первенства и в этой области.

Громыко довольно скоро был поставлен в известность о критике в свой адрес, которую позволяет себе его любимец, и реакция не замедлила последовать. Министр максимально удалил от себя Фалина, а расстояние от любви до ненависти измерялось здесь буквально сантиметрами.

События, между тем, набирали динамику. Андропов удачно использовал установление конфиденциального канала, чтобы привить в ту пору всесильному Брежневу вкус к европейской политике и развернуть его в сторону Германии. Здесь-то и произошло то, что можно было предвидеть, но трудно предотвратить.

Нет повести печальнее на свете

В конце января 1970 года мне позвонили из секретариата Андропова и попросили зайти к шефу. Преодолев несколько путаных коридоров, связывавших старое здание с новым, я вошел в приемную и направился прямо к двери кабинета. Секретарь за пультом остановил меня, сказав, что шефа еще нет и придется подождать: тот позвонил из машины и попросил вызвать меня, обещая быть с минуты на минуту.

Я уселся в приемной у экрана телевизора и стал досматривать финал матча. Окончательный счет, однако, остался мне неизвестным до сих пор: минут через пять позвонил дежурный снизу и предупредил, что Андропов поднимается к себе.

Несколько праздно толпившихся в приемной людей куда-то тут же исчезли, дежурный выключил телевизор и занял положенное место у пульта. Дверь отворилась и вошел Андропов. Одет он был в привычное серое пальто с каракулевым воротником, а меховую шапку нес, зажатой в кулак.

По выражению его лица и тону, которым он бросил, проходя, «Зайдите!», я понял, что произошла неприятность чрезвычайного порядка. Дежурный несколько задержал меня у двери, чтобы дать шефу время привести себя в порядок.

Войдя в кабинет, я застал его стоящим у кресла, голова опущена.

— Только что произошел крайне неприятный разговор, — начал он на октаву ниже обычного. — Громыко в присутствии всех членов Политбюро заявил, что ему мешают проводить согласованный с руководством страны внешнеполитический курс и обратился к Брежневу с просьбой убрать с пути всех людей Андропова, не способных понять, что «ключи от Германии лежат в Вашингтоне».

Последовавшая пауза не только ясно дала мне понять, до какой степени он взволнован, но и позволила ему несколько взять себя в руки.

— Что же вы стоите, садитесь!

Из последовавшего затем рассказа стало ясно, что, начав открытую кампанию против Андропова, Громыко переоценил свое влияние на Генерального секретаря. Брежнев не поддержал амбиций министра иностранных дел, и тот понял, что допустил неожиданный и непростительный просчет.

Мне неясно и до сих пор, почему не сумел просчитать опытный Громыко, что изощренный в аппаратных интригах

Брежнев и его, и Андропова держит на поводке одинаковой длины. И в этом случае, он, как обычно, занял апробированную позицию «над схваткой».

— Ты напрасно кипятишься, Андрей Андреич, — по-отечески начал Брежнев. — Сейчас не то время, чтобы делить сферы влияния. Нам необходимо не противоборство, а сотрудничество. Поэтому сейчас для всех было лучше, если бы вы с Андроповым обсудили все накопившиеся проблемы между собой и нашли, наконец, где все-таки лежат ключи от Германии.

На следующий день я сидел в том же кабинете, на том же стуле с ощущением, что не покидал его со вчерашнего дня.

Андропов голосом, чуть поспокойнее, чем вчера, но все еще далеким от привычного, разъяснял мне то, что было не очень ясно ему самому.

Он говорил, что установление отношений с Брандтом — лишь полдела. Настоящая же работа впереди, ибо наладить отношения с канцлером проще, чем с Громыко. Теперь на меня возлагалась задача нанести визит министру иностранных дел и объяснить идею установления канала, а главное, убедить Громыко, что речь идет не об установлении «подхлестывающего контроля» за его деятельностью, а о благе для государства. Я должен был превратить Громыко из противника в союзника.

По мере возможности, почву для этого постарался подготовить сам Андропов. Упрятав самолюбие в самый отдаленный угол своей совести, он позвонил Громыко, и они условились, что я буду принят всесильным министром на другой день после обеда.

Что скажут вдовы

В назначенный час я прибыл к Громыко. Властелин приемной, Василий Макаров, регулировавший поток людей, входящих и выходящих сквозь двери министерского кабинета, располагался за небольшим столиком. На меня он взглянул сквозь толстые стекла очков привычно-внимательно, силясь определить мою «весовую категорию» с тем, чтобы с самого начала правильно построить отношения.

Как и большинство личных секретарей всемогущих министров, он давно отождествил себя с тем, кому служил, а потому крайне бесцеремонно держался со всеми, кто был ниже, включая при этом и заместителей министра.

Перед лицом же самого министра он неизменно демонстрировал непререкаемую исполнительность, граничащую со страхом, которого на деле вовсе не испытывал. Неоспоримым достоинством Василия Макарова был его высокий профессионализм.

Моя персона, очевидно, не произвела на Макарова сколь-нибудь серьезного впечатления, поэтому, пока я дожидался высокого приема, он, беседуя с заместителем министра Капицей, сидел спиной ко мне и к часам, стоявшим в углу.

Однако стоило стрелке остановиться на цифре «3», как Василий, словно ощущая время спиной, слегка развернулся и чуть заметным жестом указал мне на дверь министерского кабинета.

Служебные апартаменты министра представляли собой сравнительно небольшую комнату, отделанную деревянными панелями, с неизбежным зелено-суконным столом, расположенным ближе к задней стене, а слева все пространство стены занимал шкаф с книгами в дорогих переплетах, похоже, полный «Брокгауз и Эфрон». На полу ковер, именно такой, как и у всех министров его ранга.

Ковры — вещь особая. Они распределялись в точном соответствии с «табелью о рангах», и по ним уже при входе легко было установить, с кем имеешь дело.

Слева и справа на казенном сукне стола — аккуратные папки в разноцветных переплетах, посередине — документ, который министр читал в данную минуту.

В отличие от ковров, документы на столе у Громыко были совсем не такие, как у других министров. Они писались на желтой бумаге. Такого больше никто себе не позволял. Подписывался он только именем, которое включало в себя и титул.

При моем появлении Громыко вышел из-за стола, бросил на меня короткий взгляд и, не найдя ничего интересного, отвернулся в сторону, небрежно протянув мне руку для пожатия. Затем предложил сесть, а сам вернулся на место, дочитал «яичную» бумагу до конца, поставил подпись, захлопнул папку и отложил ее в сторону.

— Я слушаю вас!

Начинать рассказ, собственно, следовало с Бисмарка, но я, под впечатлением неободряющего приема, ограничился Брандтом и выборами 28 сентября 1969 года. Затем следовала программа социал-демократов и социал-либералов на предстоящие четыре года нахождения у власти, причем особое внимание я уделил их новой «восточной политике», предусматривавшей качественное изменение в отношениях с Советским Союзом.

Громыко слушал, сидя вполоборота ко мне, разглядывая переплеты книг на самой верхней полке так внимательно, словно рассчитывал на расстоянии проникнуть в их содержание. В заключение я изложил идею и суть установления «конфиденциального канала» и разъяснил, как он должен функционировать.

Наступила длинная пауза, которая должна была подчеркнуть, сколь трудно вести диалог с неискушенным в политике человеком. Затем министр нехотя, медленно заговорил, для начала он процитировал мне наизусть известное ругательство Ленина в адрес немецких социал-демократов, которые чем-то напоминали ему представителей одной из древнейших в мире профессий. Затем экскурс в историю советско-германских отношений. Но самым оглушительным оказался финал.

— Если я вас верно понял, вы хотите втянуть меня в тайный, я подчеркиваю, в тайный, — сговор с немецким руководством, при полном попустительстве которого в Германии возрождается неонацизм, преследуются прогрессивные партии, в первую очередь коммунистическая, и провозглашается идея объединения Германии за счет ГДР, как основная цель государственной политики. Вы предлагаете мне вступить в тайный сговор с теми, кто уничтожил у нас 20 млн. людей! А вы не подумали, что скажут на это вдовы погибших?

Что бы сказали по этому поводу вдовы сегодня, мне ясно, однако тогда, обескураженный демагогическим выпадом министра, я нашелся не сразу и некоторое время молчал, собираясь с мыслями. Было очевидно лишь, что на демагогию нужно отвечать тем же.

— Простите Андрей Андреевич, но вы лично уже сделали достаточно много полезного для сближения с западными

немцами, насколько я знаю. На канцлера В.Брандта, например, произвела большое впечатление ваша беседа с его заместителем Г. Шмидтом во время пребывания последнего в Москве прошлым летом. У всех осталась в памяти ваша мысль, что туннель сквозь гору нужно пробивать одновременно с обеих сторон и таким образом, чтобы идущие навстречу друг другу обязательно в итоге встретились. Эта позиция была зафиксирована в письме Брандта Косыгину.

Министр впервые без удовольствия, но внимательно посмотрел на меня.

— Все это я действительно говорил и постоянно повторяю. Более того, я утверждаю, что копать туннели есть смысл лишь в том случае, если по завершении работ движение по ним будет двусторонним. Этот принцип должен стать основополагающим для нашей, да и не только нашей дипломатии.

После чего Громыко кратко, но назидательно изложил мне принципы советской дипломатии.

— Что же касается «тайной дипломатии», то, скажу вам откровенно, она вызывает у меня массу сомнений. Искусственное ускорение естественно-исторических процессов — это, безусловно, насилие над внешней политикой. Думаю, обоснованной аналогией здесь станет сравнение с теми фруктами и овощами, которые должны дозреть на кусте или на дереве, а не в темном чулане, как помидоры.

Не дожидаясь моей реакции, он заявил, что еще раз обсудит проблему с Андроповым.

Таким образом, моя первая встреча с Громыко, понятно, не вызвала во мне большого энтузиазма. Демагогия на высшем уровне произвела на меня тяжелое впечатление.

— Ну, как «миссия мира»? — встретил меня Андропов, и тут же поспешил добавить: — Конечно, непростая вещь — общение с нашей дипломатией… Не расстраивайтесь, я имею с ней дело, начиная с 1953 года, и знаю, что это такое.

Рассказывать мне, к счастью, ничего не пришлось. За то время, пока я добирался, Громыко уже успел позвонить и подробно поведать обо всем Андропову. Более того, он высказался не в самых мрачных тонах и обо мне, что показалось уж и вовсе удивительным.

— Вы сделали очень полезную вещь, — подвел итог моего визита Андропов, — а потому впредь я буду вас называть исключительно «искусным канализатором».

— Да уж, задачку вы мне поставили не простую.

Андропов подошел поближе и пожал мне руку:

— Дорогой мой, будь это просто, я сделал бы сам. Но,

понимая, что будет сложно, поручил тебе…

Он впервые обратился ко мне на «ты», что по тем временам служило знаком особого расположения руководителя к подчиненному. Сама же шутка вряд ли была экспромтом, но явно нравилась автору.

Закрывая за собой дверь кабинета, я слышал, как он все еще негромко смеялся.

Если выражаться сегодняшними штампами, то в тот день произошел «прорыв» в отношениях между советским министром иностранных дел и руководителем государственной безопасности. В короткое время они из конфронтирующих сторон превратились в союзников, каковыми и оставались до конца жизни.

Я далек от того, чтобы приписывать себе хоть малейшие заслуги в деле их примирения. Тут лавры все у Брежнева: он приказал и они должны были полюбить друг друга. Доля этого благородного чувства окрасила отношения Громыко и ко мне.

В течение десяти последующих лет как минимум дважды в месяц, а порой и чаще, он приглашал меня для обсуждения последних новостей из Германии. Будучи больным, он несколько раз звал меня к себе на дачу, и тогда эти обсуждения проходили на уютной веранде его загородного дома.

По складу характера Громыко был чрезвычайно замкнутым во всем, что касалось его личной жизни, а потому, как объяснили мне его приближенные, приглашение на обед к нему домой являлось редким исключением. Порой мне казалось, что это была попытка сгладить впечатление от того непозволительного фарса, который он разыграл передо мной в первую нашу встречу. По крайней мере, хотелось бы так думать.

Когда активизировались отношения между Брежневым и Брандтом, яснее стала и истинная причина того взрыва негодования, который позволил себе Громыко на заседании Политбюро. С установлением прямого канала между главами обеих стран, Громыко утрачивал исключительный контроль за происходящим. Кроме того, он не любил и не умел работать под прессом времени, которого для решения стоявших проблем и у Брандта, и у Брежнева было не так много. Брандту предстояло в самый сжатый срок реализовать все созревшие уже в голове планы по сближению обеих Германий, Брежневу — укрепить свое положение в стране и в Политбюро.

Леонид Ильич знал о недовольстве его управлением, которое высказывали некоторые члены Политбюро за его спиной. Поэтому он остро нуждался в каком-то заметном успехе, который бы если не переубедил, то, по крайней мере, мог заставить утихнуть всех

недовольных в высшем руководстве.

Кроме того, весьма непросто складывались отношения Брежнева с его премьер-министром Алексеем Косыгиным. Несмотря на внешнее благополучие, они в действительности с трудом переносили друг друга, прежде всего потому, что являлись полными антиподами.

Косыгин был аскет в личной жизни и на службе. Брежнев, наоборот, — широк по натуре, смолоду— лихой гуляка и всю жизнь удачливый карьерист. Во время войны он получил генеральский мундир, который украсил орденами. Позже эта любовь к орденам превратилась в болезненную страсть, дошедшую до полного абсурда.

Вся жизнь Брежнева прошла в служебных кабинетах, и к концу ее он с полным основанием мог горько раскаиваться в том, что не занимался воспитанием собственных детей. О судьбе его сына Юрия, который занимал высокий пост в Министерстве внешней торговли и подолгу пропадал в больницах, пытаясь излечиться от алкоголизма, мы уже упоминали.

Дочь Брежнева была замужем за цирковым артистом, в то время, как зятем Косыгина был академик, директор научного института Джермен Гвишиани. Последнего, кстати, фон Амеронген в своей книге «Путь на Восток» безо всяких к тому оснований причислил к сотрудникам КГБ.

Дочь Брежнева страстно собирала бриллианты, дочь Косыгина, кандидат наук, — живопись. Одним словом, с точки зрения общественной морали, счет сводился не в пользу семейного клана Генерального секретаря, что, естественно, вызывало у него вольную или невольную зависть и усиливало неприязнь к главе правительства.

Брандт и Бар поначалу плохо ориентировались в лабиринтах власти в Москве. Нашей основной задачей на первом этапе было помочь им направить усилия кратчайшим, оптимальным путем.

Прежде, как и сегодня, внутренняя и внешняя политика в России всегда оставались очень персонифицированными.

Косыгин, возглавлявший правительство, на практике был лишен возможности принимать какие-либо внешнеполитические решения. В то время как Брежнев, Генеральный секретарь, то есть глава партии, обладал всей мыслимой и немыслимой полнотой власти в стране. Поэтому было крайне важно, чтобы Брандт и Бар как можно скорее ощутили эти политические реалии и успешно прошли между Сциллой и Харибдой, не тратя усилий попусту.

Пять нашествий Бара в Москву

Из 12 месяцев 1970 года шесть статс-секретарь Эгон Бар провел в Москве. Его вихреобразные приезды напоминали разрушительные ураганы, после которых приходится долго восстанавливать здоровье, подорванное напряжением, бессонными ночами, тайными свиданиями. С самого начала мы с Валерием старались, как могли, помочь ему избежать ошибок при «освоении» новой и довольно необычной страны.

Уже первая из них была и неизбежной, и показательной. Из приземлившегося в подмосковном «Шереметьево» самолета статс-секретарь вышел на двадцатиградусный февральский мороз с ветром без головного убора. Жест был эффектным, но чреватым последствиями для здоровья, и Леднев тут же накрыл голову гостя собственной меховой ушанкой.

Благодаря своему поведению в Москве, Бар поначалу показался мне чуть ли не маньяком, одержимым идеей во что бы то ни стало и чуть ли не за один день добиться заключения договоров между нашими странами. Он считал, что в этот процесс должны быть немедленно втянуты обе Германии, однако, об их объединении Бар в ту пору еще открыто не говорил.

Но уже во второй приезд, в марте того же года, размышляя вслух о будущем своей страны, он заметил, что его печалит отчуждение, все более ощутимое в отношениях между восточными и западными немцами.

— Преодолеть его будет куда сложнее, нежели границы, которые рано или поздно и так падут.

Наблюдая за тем, что происходит в Германии сегодня, следует отдать должное верности пророчества, сделанного почти четверть века назад.

Честно говоря, тогда, в семидесятом, такое заявление выглядело не более чем крайним проявлением политического темперамента.

Как-то во время ужина дома у Леднева немецкий гость сумел уединиться с нами и, несмотря на обилие съеденного и выпитого, предпочел светской беседе за столом рассказ о встрече с Громыко. Разговором с министром он был одновременно и возбужден, и подавлен, хотя мы, заранее зная о встрече, приложили все усилия, чтобы настроить его на возможно далекий от идиллического лад.

Тем не менее, оказалось, что к встрече с Громыко, как к смерти, живого человека подготовить нельзя.

Министр легко разрушал любой иммунитет неожиданной и неоправданной жесткостью. Это качество в советском МИДе той

поры было превращено в культ. Те, кто удачливо умели копировать эту манеру, так называемые «жесткие переговорщики», мгновенно выслуживались и делали стремительную карьеру, ибо ценились министром, как адепты его школы, проповедовавшей «соковыжимание» из партнера.

Таких «асов» в МИДе была целая плеяда, главным из которых считался сам министр. Его прогрессирующая негибкость стала притчей во языцех во всем мире, что получило отражение в данной ему кличке «Мистер Нет».

По замыслу ее авторов, «Мистер Ноу» должен был, видимо, сделать выводы и каким-то образом попытаться опровергнуть саркастическую оценку его личности как политика. Но ничуть не бывало. Глава МИДа ею гордился и воспринимал, как почетный титул.

Итак, первая встреча с Громыко у статс-секретаря Эгона Бара ни восторга, ни энтузиазма не вызвала. Но в пессимизм он тоже не впал:

— Все должно начинаться с «Нет», — шутил он, и продолжал свою линию с удивительным упорством, напоминая нам порой морского ныряльщика.

Он выныривал из самолета в «Шереметьево» и тут же отправлялся на переговоры с Громыко или его подчиненными, начиная с того места, на котором они остановились в предыдущий его приезд. А израсходовав запас энергии, возвращался в Бонн, чтобы, заглотав свежую порцию кислорода, вновь очень скоро вернуться в Москву.

Длилось это полгода.

А в Германии тем временем переговоры, которые вел в Москве Бар, стали объектом ожесточенной дискуссии. Ход дебатов давал основания довольно мрачных прогнозов: становилось ясно, что даже в случае успешного подписания договоров в Москве, они могут «застрять» в бундестаге, а значит, вся проделанная работа уйдет в песок. Мы решили использовать складывавшуюся ситуацию, чтобы как-то повлиять на Громыко.

Латте помог нам быстро собрать опубликованные и неофициальные негативные высказывания немецких политиков по поводу советско-германских договоров. Один экземпляр этого обзора я передал Андропову с тем, чтобы он ознакомил с ним Брежнева, другой же, воспользовавшись очередным приглашением, вручил лично Громыко.

Мысль о возможных сложностях при ратификации договоров наверняка не была для министра новой, однако, преподнесенная в столь концентрированной форме, она явно произвела на него

впечатление. Мне даже показалось, что на какой-то период его позиция на переговорах приобрела определенную гибкость. Если это так, то Бар, как ни парадоксально, обязан этим своим противникам из оппозиционного блока — Гутенбергу, Барцелю, Шредеру и другим.

Как-то я процитировал Громыко часть выступления тогдашнего председателя оппозиционной фракции Райнера Барцеля, который, критикуя проекты московских договоров, сказал, что «самые плохие договоры — это договоры с неясными формулировками». Громыко обиделся и встал на защиту Бара:

— Что это они там на Бара накинулись? Вот пусть сами приедут да попробуют с нами вести переговоры, увидим тогда, как они будут тут вертеться!

Однако запас «гибкости» у Громыко скоро исчерпался, переговоры замедлились, а затем и вовсе остановились. Бар стал складывать чемоданы, Громыко убеждал себя и всех в том, что «немцы никуда не денутся».

Фалин широко развел в знак своего бессилия руки.

— Не знаю, что наш министр упрямится, вполне можно было договориться… Но сейчас он в той фазе, когда никто, кроме Брежнева, не сдвинет его с места.

Я понял эту фразу как не слишком тонкий намек, забрал у него все варианты возможных договоренностей и, отчеркнув красным предложения обеих сторон, положил бумаги на стол Андропову. В своих коротких комментариях я изложил причины создавшегося тупика, не забыв добавить, что Бар намерен прервать переговоры.

Андропов дважды внимательно прочел обе странички, затем синим карандашом поставил жирные галки на полях и подчеркнул несколько слов. Испещренная ярко-красным и синим бумага приобрела необычно нарядный вид. Андропов еще раз пробежал глазами текст и нажал кнопку прямой связи с Брежневым.

К счастью, тот был на месте. Андропов подробно изложил ему ситуацию на переговорах, не забыв упомянуть и о чемоданном настроении Бара.

— А в чем разногласия? — поинтересовался Брежнев.

— В формулировках. Ну, например: «незыблемость границ» или «нерушимость границ».

Брежнев долго молчал.

— Как ты сказал?

Андропов внятно повторил.

— Послушай, Юра, а это разве не одно и то же?

— По-моему, то же. Но дело не только в этом. Возникает

реальная опасность, что договоры не будут одобрены парламентом даже в случае их подписания, и наши совместные усилия окажутся мыльным пузырем.

На другом конце провода повисла длинная пауза.

— Вот что, Юра, я переговорю сейчас же с Андреем и поинтересуюсь, как идут переговоры и что он думает о реальности ратификации в бундестаге. Надеюсь, он поймет, что надо делать.

Брежнев замолчал, но еще некоторое время не клал трубку.

Вдруг голос его в трубке зазвучал вновь:

— Ты знаешь, мне рассказывали или я читал где-то, что на Каспии был буксир с необыкновенно сильным гудком. Он выходил в море подальше от берега и давал сигнал, да такой, что слышно было на весь Каспий — едва берега не рушились. Но именно в этот сигнал уходил весь пар, и назад к берегу «крикуна» тянули другим буксиром. Так вот я Андрею сейчас и скажу, не получилось бы так, что и нас после всего шума вокруг договоров, обратно на буксире тащить придется.

Оба с удовольствием и долго смеялись.

Положив трубку, Андропов еще минут двадцать задавал мне вопросы по поводу проходящих в Москве переговоров. Наконец, когда я готов был откланяться, позвонил Громыко.

— Только что разговаривал с Леонидом Ильичом, интересуется, как проходят переговоры с немцами. Я сказал, что идет обычная рутинная работа, утрясаем формулировки, через неделю-другую закончим. Он спросил, почему же нервничает Бар и собирается улететь в Бонн. Я объяснил, что это обычный дипломатический прием: когда Аденауэр приезжал в Москву и вел переговоры с Хрущевым, его делегация несколько раз собирала чемоданы и выставляла их в коридор, а потом распаковывала опять, демонстрируя готовность в любую минуту и прервать, и продолжить переговоры. Немцы вообще все это время держали «паровоз под парами».

Кстати, насчет пара. Брежнев поведал ему об одном знаменитом буксире, который…

И министр пересказал уже слышанную нами не более получаса назад балладу. Андропов вновь совершенно искренне над нею посмеялся. Положив трубку, он покачал головой:

— Да, дипломатичностью Леонид Ильич не блеснул!

Он был очевидно уязвлен тем, что Громыко ясно дал ему понять: «Маска, я вас знаю»!

«Не можешь победить, подружись», — по этой схеме строились теперь отношения Андропова и Громыко. К середине семидесятых годов диалектический процесс эволюции

противостояния в дружбу был завершен. Как уже упоминалось выше, решающим фактором в этом стала воля Брежнева.

Он вообще внимательно следил за взаимоотношениями всех, кому доверил важнейшие посты, и умел давать им понять, с кем именно и в какой степени следует поддерживать отношения. Возможно, Андропов действительно часто говорил с Брежневым по телефону, а может быть, это было волей случая, но мои визиты к нему очень часто перебивались звонками Генерального секретаря.

По причине общего состояния Брежнева и в первую очередь в связи с его прогрессирующей глухотой телефонная аппаратура «закрытой связи», которой он пользовался, усиливала голоса его и собеседника до такой степени, что любой присутствовавший при разговоре без труда мог слышать каждое слово, произносимое на другом конце провода. Играло роль также и то, что глохнущие люди вообще стремятся говорить громче нормально слышащих.

Все это приводило к тому, что я неоднократно становился невольным свидетелем довольно интимных разговоров, к которым Брежнев переходил настолько неожиданно и без всякой подготовки, что Андропов, если и захотел бы, то вряд ли успевал дать мне знак покинуть кабинет.

А кроме того, один раз удержав меня от этого верноподданнического шага, он, видимо, не считал логичным возвращаться к нему теперь.

Однажды Брежнев по телефону поинтересовался мнением Андропова об Арафате. Тот назвал палестинского лидера дальновидным и гибким политиком, который обладает «необыкновенным чутьем подбирать верных его делу людей».

— Еще бы, — согласился Брежнев, — в его положении другой уже давно бы наблюдал за нами с того…

Не закончив фразу, он неожиданно сменил тему и вдруг заговорил о «необычном времяпрепровождении» некоторых членов Политбюро.

— Я слышал, что Подгорный и Шелест уже второй раз выезжали на охоту вместе. Как ты думаешь, что бы это могло значить? Присмотрись-ка, Юра, повнимательнее, как бы эти охотники нам неожиданных трофеев не привезли.

Заняв свой пост в результате удачно проведенного заговора против Хрущева, Брежнев, видимо, постоянно размышлял о том, что и он сам может быть отстранен от власти подобным же способом.

В лабиринтах власти

Казалось, что жаркое лето семидесятого года, подогретое в ФРГ горячими дискуссиями вокруг советско-германских переговоров, заполненное неизбежно сопутствующей тому суетой, никогда не кончится. Уже в июле правящей коалиции и оппозиции в ФРГ стало ясно, что происходит кардинальный, если не исторический поворот в центре Европы, и кто будет ближе стоять к этим событиям, тот получит больше политических дивидендов.

Таким образом, порой казалось, что для противоборствующих сторон важным становилось не то, какими будут договора, а кому будет приписана их реализация, что, в свою очередь, определяло и неразборчивость в средствах борьбы.

МИД ФРГ почему-то нисколько не заботился об обеспечении конфиденциальности переговоров между Москвой и Бонном. Самые «сырые» материалы по результатам передавались для публикации в прессе.

Создавалось иногда впечатление, что немецкие корреспонденты сидят в комнате переговоров если и не непосредственно напротив Громыко, то не далее, чем на два-три стула правее или левее от него. После появления в печати знаменитых «десяти пунктов» Бара, атаки на него усилились. В связи с этим в Москву была направлена более солидная делегация во главе с министром иностранных дел Вальтером Шеелем, которая продолжила начатую работу.

Несомненно, новаторскую и удивительно прогрессивную для людей их поколения и склада мышления позицию занял сначала Брежнев, а позже и примкнувший к нему Громыко. Остальные члены Политбюро разделились надвое. Большинство заняло позицию молчаливо-безразличного выжидания. Меньшинство во главе с Шелестом не осмеливалось выступать открыто, но в кулуарах оценивало сближение СССР с Западной Германией как очевидный сговор с классовым врагом.

При помощи разветвленного партийного аппарата и им же расставленных министров из числа лично ему преданных людей, страной правил Брежнев, хотя официально занимал лишь пост главы партии.

В случае успеха с западногерманской стороны готовившиеся договора должен был подписать канцлер Вилли Брандт как полноправный глава государства. Соответственно, по всем международно-признанным нормам, с советской стороны под договорами должна была стоять подпись главы правительства —

Косыгина.

С тем, чтобы избежать эффекта неожиданного появления его во время торжественного подписания, было решено привлечь Косыгина хотя бы чисто формально к общению с немецкой делегацией еще на стадии переговоров. Однако здесь возникло осложнение: со стороны ФРГ переговоры поначалу вел «всего лишь» статс-секретарь, и главе правительства СССР следовало найти элегантный способ «опуститься» до его протокольного уровня.

Выход, тем не менее, был найден, столь же остроумный, как и сама ситуация.

Один из мидовских чиновников попросил статс-секретаря проявить инициативу и обратиться к советскому премьер-министру с просьбой принять его для беседы. Ко всему привыкший за полгода блужданий по советским лабиринтам власти, Бар легко перешагнул через эту условность и попросился на прием к Косыгину.

Тем большим было его изумление, когда, оказавшись 13 февраля 1970 года в приемной Председателя Совета Министров, он с первой минуты понял, что глава советского правительства намерен играть в предложенную игру вполне серьезно.

Алексей Косыгин предложил визитеру сесть за длинный стол переговоров, занял место напротив, сложил вместе руки, давая понять, что он весь внимание, придал обычно непроницаемому лицу еще более непроницаемое выражение и официальным голосом произнес:

— Я слушаю вас, господин статс-секретарь.

На другой день Бар рассказывал нам, что сцена так близко граничила с гротеском, что он испытал в тот момент почти непреодолимое желание толкнуть собеседника под столом носком ботинка или подмигнуть ему, давая понять, что все происходящее делается «понарошку» и не для него, статс-секретаря, а для самого же премьера.

Присутствие большого количества народа в кабинете вынудило его удержаться от искушения и пуститься в импровизации.

Бар добросовестно и обстоятельно перечислил все обсуждавшиеся с Громыко проблемы, сохранив даже хронологическую последовательность.

Ответы ему были зачитаны по заранее подготовленной бумажке, также по порядку и с соблюдением формулировок. Попытки статс-секретаря несколько оживить беседу всякий раз пресекались односложными «да» и «нет». При этом на лице собеседника ни на секунду не стерлось каменное выражение, не

появилось живого блеска в глазах, ни один мускул не дрогнул в улыбке.

Все познается, конечно, в сравнении.

На следующий день Громыко, продолжая переговоры с немецкой делегацией, произнес свою коронную фразу: «Господа, к тому, что я уже сказал, мне добавить нечего», Бару он впервые показался доброжелательным балагуром.

По мере приближения даты подписания договоров усиливалась и суета вокруг них. К середине лета были согласованы почти все основные положения и статьи, а напряжение никак не спадало.

В «третьей Европе» на Смоленской-Сенной царило постоянное оживление. Сотрудники готовили бумаги, машинистки их печатали, затем перепечатывали вновь, изымая прежние и вставляя новые формулировки.

Статс-секретарь Бар также был втянут в этот водоворот: днем он сидел на переговорах, вечером отправлялся в посольство, чтобы в зашифрованном виде отправить в Бонн сообщение о том, чего удалось добиться за истекший день.

К великому сожалению, ключи от шифров имелись не только у тех, кому их положено было иметь, но и, загадочным образом, у редакторов отдельных газет и журналов. А потому все сырые идеи и соображения, естественно появлявшиеся в процессе подготовки договоров, немедленно появлялись в Западной Германии на газетных полосах и журнальных страницах в виде набранных аршинными буквами сенсационных заголовков. 12 июня 1970 года в газете «Бильдцайтунг» были опубликованы отдельные статьи готовившегося в Москве договора. 1 июля журнал «Квик» выдал в свет его полный текст. Поднялась немыслимая шумиха. Оказывается, в Москве имел место не предварительный обмен мнениями между Громыко и Баром, а велась конкретная отработка статей договора!

Инициатива всегда наказуема, и оппозиция приложила все усилия, чтобы изобличить правящую коалицию во лжи. Это обстоятельство вновь подтвердило правильность принятого Брандтом и Брежневым решения — установить прямой канал обмена конфиденциальной информацией. Оба лидера получали возможность обсуждать самые щепетильные вопросы двусторонних отношений, не опасаясь, что вокруг обсуждаемых проблем начнется преждевременная возня, подогреваемая отнюдь не борьбой за интересы дела, а лишь борьбой оппозиции за власть.

Рассказав Громыко историю с каспийским буксиром, Брежнев не теребил больше его расспросами о ходе переговоров с

немцами. Теперь министр, упреждая Андропова, по своей воле регулярно докладывал Брежневу об успехах своей дипломатии, причем похвалялся уступками немецкой стороне то в трактовании вопроса о «признании границ», то при увязке заключения соглашения об отказе от применения силы с приемлемым решением проблемы Западного Берлина.

Видимо, в те дни Громыко представлялся себе не только старейшим, но и самым гибким в мире министром иностранных дел. Однажды в начале июня 1970 года, во время одной из наших регулярных встреч с Громыко, министр вдруг поинтересовался состоянием здоровья и настроением Бара. Он пояснил, что, наблюдая за своим немецким партнером по переговорам, пришел к заключению, что тот находится не в наилучшем расположении духа.

Подтвердив наблюдение проницательного министра, я объяснил ему, что у Бара на сегодня нет никаких оснований для приподнятого душевного настроя, и аргументировал это доводами, которые, конечно, и без того были известны Громыко, внимательно, впрочем, меня выслушавшему.

Кампания, развернутая в Германии против статс-секретаря в связи с опубликованием так называемых «заметок Бара», нацелена была на то, чтобы обвинить его в превышении данных ему полномочий, неумении найти подхода к русским партнерам и чуть ли не в подыгрывании им, а также во всех прочих смертных грехах.

Впервые я увидел, как на лице министра вместо привычно непроницаемой гримасы появилось нечто вроде сочувствия.

— Я это заметил, — зазвучал его глуховатый голос. — Прошу вас, скажите господину Бару, что мы в ближайшее время постараемся сделать определенные шаги по укреплению его позиции. Я уже имел беседу на эту тему с Леонидом Ильичом, и мы обо всем договорились…

И Громыко умолк, довольный собой. Министр встал, давая понять, что аудиенция завершена.

Был конец рабочего дня, и серый поток чиновников дипломатического ведомства, разбавленный вкраплениями ярких заграничных платьев секретарш и машинисток, вынес меня на Смоленскую площадь. Заканчивался жаркий июньский день, и люди, обезумев от кабинетной пыльной духоты, рвались прочь из города.

Мой путь лежал по Кутузовскому проспекту, через мост над Москвой-рекой, и я решил проделать его пешком.

Страна готовилась к очередным выборам, и все дома по обе стороны проспекта полыхали ярко-красными полотнищами

транспарантов. На некоторых белой краской были выведены лозунги и цитаты из речей Брежнева. Там, где цитат недоставало, полотнища краснели незапятнанным кумачом, веселя глаз и маскируя имевшиеся на стенах дефекты.

У дома номер 26 по Кутузовскому проспекту, где находилась городская квартира Брежнева, я остановился. По осевой линии проезжей части улицы, сверкая голубыми искрами и завывая сиреной, неслась желто-синяя милицейская машина. Перекрывая вой сирены, из громкоговорителя разносились призывы к водителям безотлагательно встать в крайне правую полосу движения. Вслед за машиной на проспект рвалась кавалькада из пяти лаково-черных холеных лимузинов, каждый не менее десяти метров в длину. Блестя красно-синими мигалками на крышах, они промчались в сторону Триумфальной арки, мимо дома того, ради которого ежедневно, утром и вечером, затевался этот спектакль.

Жаль, что сильные мира сего не в силах заглянуть в будущее. Иначе Брежнев тогда непременно остановил бы бронированный автомобиль. И внимательно вгляделся бы в то место на стене своего дома, где вскоре после его смерти будет торжественно водружена, а через двенадцать лет с проклятиями сорвана, гранитная мемориальная доска с его профилем, а на фасаде останутся лишь четыре аккуратно замазанных цементом дырки от гвоздей.

Сегодня, проходя мимо дома под номером 26, я внимательно гляжу на следы этих попыток замуровать прошлое и думаю, неужели есть люди, уверенные, что историю так легко залепить цементом.

Ведь она уже состоялась.

12 июля 1970 года Брежнев выступил с предвыборной речью, в которой обозначил обнадеживающие перспективы, появившиеся в отношениях между ФРГ и СССР. Относительно хода переговоров, которые вел тогда в Москве с немецкой стороны Бар, он сказал: «Этот обмен мнениями мы рассматриваем как полезный, и со своей стороны готовы продолжить переговоры и довести их до успешного конца».

Я весьма скептически отнесся тогда к эффекту, который могла оказать речь Брежнева на Западе, расценив сказанное им как очередную пропагандистскую акцию Громыко.

Двумя неделями позже, 26 июля, в Москву для ведения переговоров прибыл министр иностранных дел ФРГ Вальтер Шеель. Сопровождали его статс-секретари Франк и Бар, а также группа специалистов.

Вскоре после их приезда я обедал в ресторане гостиницы «Националь» с помощником Бара Заане. Я был серьезно посрамлен за свой скептицизм в отношении брежневского заявления, ибо в течение всего вечера гость постоянно возвращался к тому, какое громадное впечатление произвело заявление Генерального секретаря в Германии и особенно в той его части, где речь шла о проводившихся Баром переговорах как об «обмене мнениями». Оппозиция в это время как раз резко выступала с разоблачительными обвинениями Бара в том, что он ведет в Москве не зондаж, а переговоры, не имея на то соответствующие полномочия.

С началом же официальных переговоров 27 июля вновь начались «безумные дни», которых было, к счастью, всего одиннадцать.

В последний из этих дней, а именно 7 августа 1970 года, в Доме приемов МИД на Спиридоньевке состоялось парафирование Московских договоров между СССР и ФРГ Вальтером Шеелем и Андреем Громыко. Их основу составили беспощадно раскритикованные оппонентами «10 пунктов» Бара. В тот же день, спешно дожевывая бутерброды с икрой на приеме, устроенном Громыко по случаю такого события, команда Шееля готовилась срочно вылететь домой. Днем позже в Бонне состоялось заседание правительства, которое одобрило парафированные договоры и уполномочило федерального канцлера Брандта их подписать.

Брандт, как опытный кузнец, знал, когда следует ковать железо.

11 августа самолет ВВС ФРГ доставил канцлера Брандта в Москву.

Его и наиболее репрезентативную часть западногерманской правительственной делегации разместили в особняках на Ленинских горах. Оттуда открывается прекрасный вид на изящный изгиб, который делает Москва-река, круто беря вправо вокруг Лужников с овалом знаменитого стадиона. Чуть дальше красуется грандиозный ансамбль несравненного в русской истории и архитектуре Новодевичьего монастыря. Не менее знаменито и элитарное кладбище, расположенное внутри монастырской ограды. Многие годы оно было последним пристанищем для тех, кто верой и правдой служил делу, в правоте которого никогда не сомневался.

Жизнь большинства покоящихся там была бурной, а судьба драматичной, даже, порой, трагичной, как судьба всей России. Лишь здесь обрели они покой, да и то не вечный.

Отцы русской современной истории многократно вписывали,

вычеркивали, а затем вновь выносили их имена на страницы своих книг в сиюминутную угоду живущим и правящим, забывая, что история создается не пером, а чем-то другим.

И все же здесь на Новодевичьем кладбище усопшие чувствовали себя в большей безопасности. Кощунственная рука постороннего не осмеливалась проникать за каменную ограду, и застывшие в надгробьях события оставались нетронутыми.

От сломанной мраморной розы на могиле трагически погибшей жены Сталина— Надежды Аллилуевой до крупной, как гигантский глобус, изваянной головы Хрущева.

Несмотря на наши рекомендации, кто-то отсоветовал В.Брандту спуститься с Ленинских гор к подножью и посетить монастырь. Тем самым он лишил себя возможности ознакомиться с одним из лучших наглядных пособий русской истории двадцатого века.

Итак, Московский договор имел все предпосылки для того, чтобы стать значительным международным событием, а его подписание достойным венцом миролюбивой инициативе Генерального секретаря.

Именно поэтому — и ради этого — еще задолго до прибытия Брандта в Москву Брежнев, Громыко и Андропов приступили к обсуждению проблемы самой процедуры подписания.

Обойти при подписании законного главу правительства А.Косыгина считалось невозможным. С другой стороны, не отдать «должное» руководителю правящей партии, действительно приложившему немало усилий для реализации договоров, было бы несправедливо.

Как всегда выручил испытанный «оптический эффект».

В Советском Союзе роль лидера в «руководящей обойме» традиционно определялась его местом на «официальном снимке» в газете «Правда», опубликованном в связи с какими-либо значительными событиями. Во времена Сталина иностранные журналисты практически безошибочно предсказывали карьерные и личные перспективы каждого из приближенных в зависимости от места, которое он занимал на Мавзолее во время очередных официальных торжеств.

Из года в год эти снимки внимательно анализировались, и тому, кто все дальше смещался вправо или влево от центральной фигуры на Мавзолее, почти безошибочно предрекали самое безрадостное будущее.

Именно этот опыт расстановки лидеров и был использован в августе 1970 года.

Появившийся на другой день после подписания Московских соглашений в «Правде» снимок зафиксировал реально

сложившееся положение вещей и распределение ролей в государстве.

В тот день в Екатерининском зале Кремля были собраны все члены Политбюро, а также все те, кто имели хоть какое-то отношение к подписываемым документам. Поскольку Брандт и Косыгин могли подписывать бумаги лишь сидя, то на фотографии Брежнев возвышался, словно монумент, над двумя низко склоненными головами, с высоты благословляя все то, что происходило ниже его пояса.

Немецкие фоторепортеры уступили в профессионализме советским, сделав основной акцент на том моменте, когда Брандт пожимал руку советскому премьеру Косыгину, а тот на некоторых снимках вышел, заслоняющим собой фигуру Брежнева.

Статс-секретарь Бар разместился на фото рядом с Брежневым, не стремясь, однако, возвыситься над своим канцлером. Недалеко от Брежнева занял место Громыко. Андропов «отбывал свой номер» и вовсе спрятавшись за спины товарищей по Политбюро, как и полагается «Graue Eminenz».

Он неизменно выбирал место за спинами других, и не по должности, как многие считали, а по складу характера. Яркому свету софитов он предпочитал тень, падающую от других.

Вечером в Грановитой палате Кремля Косыгин давал обед в честь своего почетного гостя, на котором Брежнева не было. Об это он честно предупредил канцлера. Тот ничуть не удивился и не обиделся, будучи уже введен в курс отношений обоих советских лидеров.

Газеты «Правда» и «Известия» назвали в своих передовицах договор «коренным поворотом в отношениях между нашими странами». Некоторое время спустя Андропов завел со мной разговор о Брандте и Баре. Он внимательно наблюдал за обоими во время церемонии подписания в Екатерининском зале и теперь хотел сверить свои короткие визуальные наблюдения с моим мнением.

— Мне было бы очень интересно обменяться с одним из них совершенно откровенными взглядами по поводу будущего наших стран.

Я знал, что Андропов строго конфиденциально имел уже встречи с некоторыми американскими сенаторами, а потому удивленно-вопросительно посмотрел на него.

— Пока я здесь, в этом доме, — пустился он в пояснения, — я не должен встречаться с такими людьми, хотя бы ради того, чтобы не нанести им вреда. А потом, какая в том срочность? Наверняка будет еще время и возможность встретиться при иных

обстоятельствах…

Тогда из всего разговора мне запали в память лишь эти многозначительные короткие фразы: «пока я в этом доме», «некуда спешить» и «будут иные обстоятельства». По мере того, как с течением времени развивались события, они, эти фразы, все чаще приходили мне на память.

Постепенно лидерство Андропова среди высшего партийно-государственного руководства СССР становилось все более очевидным. Все его попытки остаться в тени, за спинами других членов Политбюро на всех официальных мероприятиях, никого больше не могли обмануть.

Оставшиеся месяцы семидесятого года были посвящены, как тогда модно было говорить, «наполнением содержанием московских договоров».

Готовились к подписанию соглашения об открытии консульских учреждений в Ленинграде и Гамбурге, документы о техническом и торговом сотрудничестве.

7 декабря 1970 года был подписан аналогичный Московскому договор с ПНР. Казалось бы, об успехах «восточной политики» можно было говорить всерьез.

И тем не менее, новый, 1971-й, год начался с огорчительного для советского руководства осознания того факта, что подписание договоров, достигнутое с таким трудом, — лишь полдела. Главное— их ратификация. И задача эта потруднее первой.

Становилось ясно, что оппозиция во главе с председателем фракции ХДС/ХСС Р. Барцелем сделает основную ставку на проблему ратификации Московских договоров с тем, чтобы, используя их недостатки, свалить правительство Брандта — Шееля.

Такая перспектива держала Брежнева и Громыко в постоянном напряжении. Не сулила она ничего хорошего и Андропову.

Пожалуй, это был самый напряженный период за все более чем десятилетнее существование «канала».

Место встреч с Баром отныне из Москвы переместилось на Запад, а отработанная схема взаимодействия была максимально простой, а потому достаточно эффективной.

Мы с Ледневым прилетали в восточно-берлинский аэропорт «Шенефельд», где на стоянке у нас была запаркована машина, ключи от которой я всегда имел при себе. На ней мы отправлялись прямо к «Чек-пойнт Чарли», а преодолев его, оказывались в Западном Берлине.

Минуя центр города, мы мчались прямо в Далем, —

престижный западноберлинский район, — и останавливались, наконец, у дома 14 на Пюклерштрассе.

Как правило, Бар уже ждал нас в своем особняке уполномоченного по Западному Берлину. Если же он задерживался, то домашняя обслуга усаживала нас в глубокие кресла в гостиной, и мы в обществе кофе и телевидения коротали время до появления хозяина.

Сразу же с его приходом мы принимались за дело, разместившись, в зависимости от времени года, либо в «зимнем саду», — застекленной террасе особняка, — либо в холле на первом этаже, откуда массивная лестница вела в верхние апартаменты.

Годы такой интенсивной работы привили мне полезный навык: не только концентрированно, сжато излагать тщательно отобранную информацию, но и точно запоминать все, что излагал собеседник, чтобы в этот же день, вернувшись в Москву, подробно пересказать все главному адресату.

В случае, если возникали проблемы, решение которых я не вправе был брать на себя, приходилось возвращаться в Восточный Берлин и по телефону шифрованной связи из посольства или Карлсхорста связываться с Громыко или Андроповым. Решив проблему, я вновь мчался на Пюклерштрасе, где меня уже с нетерпением ждали Бар и Леднев.

Когда же мы не укладывались в рамки одних суток, приходилось ночевать на вилле в Карлсхорсте, где милая хозяйка с готовностью сервировала нам и ужин, и завтрак.

Случалось, что Бар не мог прибыть в Берлин. Тогда утренним самолетом в Бонн летел Леднев и вечером возвращался в Западный Берлин.

А вопросов в течение всех этих лет возникало множество.

Брандт просил срочно выпустить 400 русских немцев, при этом к просьбе прилагались списки с конкретными адресами и фамилиями.

Или: Брежнев хотел знать мнение Брандта о том, стоит ли ему в речи на очередном съезде профсоюзов затрагивать вопрос о Западном Берлине, а если — да, то в какой форме.

Постоянно возникали напряжения между активно действовавшими западногерманскими фирмами и неповоротливым советским внешнеторговым объединением. Этому процессу необходимо было придать динамику. И канцлер просил пробудить у русских партнеров дремавший интерес к начатому делу. Иногда доходило до того, что Брандт передавал Брежневу какие-то личные письма, в которых люди просили его

содействия в воссоединении семей, скажем, русской жены с немецким мужем, или, что гораздо реже, наоборот.

С течением времени темы менялись, но количество их не уменьшалось.

И все же среди всех проблем самой важной и сложной оставалась проблема ратификации, которая мало-помалу свелась к вопросу— останется ли Брандт у власти или его смелая попытка с помощью новой «восточной политики» постепенно подойти к решению главной задачи немецкого единства закончится провалом и сметет его с политической сцены вместе со всеми благими начинаниями.

Средств повлиять на ситуацию у советского руководства было немного, а фантазии в поиске таких средств — и того меньше. Дело сводилось к официальным заявлениям Брежнева и Громыко, тут же попадавшим на первые полосы всех немецких газет. Таким образом, определенное влияние на общественное мнение ФРГ они имели, неясным оставалось, достаточным ли оно было для успешной ратификации. Все же это было лучше, чем ничего.

30 марта 1971 года на XXIV съезде Коммунистической партии Брежнев заявил:

«В связи с вопросом о ратификации упомянутых договоров в Западной Германии произошло резкое размежевание политических сил. Надо полагать, что реалистически мыслящие круги в Бонне и других западноевропейских столицах осознают ту простую истину, что отсрочка ратификации договоров вызвала бы новый кризис доверия у Советского Союза по поводу всей политики Федеративной Республики Германии и ухудшило бы политический климат Европы и перспективы ослабления международной напряженности».

В попытке доказать всему миру, что позиция Брежнева неслучайна, одновременно с трибуны съезда по тому же поводу и практически в тех же выражениях высказали свое недовольство затяжками с ратификацией Московского договора и Громыко с Сусловым.

Диалектический закон лишь констатирует переход количества в качество, не давая точной формулы и не определяя критической массы, необходимой для такой трансформации.

Как бы там ни было, столь массированный залп выступлениями на высоком уровне показался мне тогда явным перебором.

Оппозиция в Западной Германии ответила на них требованием увязать ратификацию с обязательным заключением четырехстороннего соглашения по Западному Берлину. Брандт тут же сообщил по «каналу» свои соображения на этот счет.

Обращаясь к Брежневу, он фактически полностью поддержал оппозицию, заявив, что для «скорейшей ратификации Московского договора необходимо ускорить подготовку четырехсторонних соглашений по Западному Берлину с тем, чтобы после их подписания перейти к процессу ратификации».

Таким образом, затягивалась ратификация, но одновременно форсировались переговоры по Западному Берлину.

Ясно, что такие переговоры были немыслимы для советского руководства без консультаций с ГДР.

В мае 1971 года Валентин Фалин отпил первый глоток из горькой чаши конфронтации со своим министром: он был назначен послом СССР в ФРГ, где вместе с американским послом Рашем и представителями западногерманской стороны без особой огласки обговаривал отдельные положения будущего четырехстороннего соглашения по Западному Берлину.

Собственно, ничего оригинального в поступке Громыко по отношению к подвластному ему, впавшему в немилость чиновнику, не было. Такая практика существовала и при царском режиме, когда посольское кресло становилось сплошь и рядом местом почетной ссылки для неугодных монарху высокопоставленных сановников. Место это, как правило, становилось последней ступенью в служебной лестнице опального.

Знаменитый русский поэт и видный дипломат Александр Грибоедов был отправлен послом в Персию лишь за то, что зло и талантливо высмеял свое время. Там он, напомним, и погиб от руки персидского убийцы.

Сталин поступал с насмешниками иначе, чем Николай I, а вот с приходом неаристократичного Хрущева давняя монаршая традиция стала вновь широко практиковаться. Многие опальные партийные работники, чиновники и министры вручали свои верительные грамоты подчас в самых отдаленных и экзотических точках планеты, соразмерно совершенному ими проступку.

Поскольку Фалин отправился не в дикую Персию по горным перевалам, а в высокоразвитую Германию самолетом, пули горцев ему не грозили, но не светило также и возвращение в МИД по отбытии посольского срока, пока во главе ведомства оставался Громыко.

Что же касается соглашения по Западному Берлину, то самая трудная часть задачи легла на нового заведующего Третьим европейским отделом МИД Александра Бондаренко и посла СССР в ГДР Петра Абрасимова.

Им предстояла поистине ювелирная работа по утрясению деталей и формулировок с руководством ГДР, ревниво

выверявшим каждую из них, ибо Западный Берлин служил для них одновременно кнутом и пряником в непростых отношениях со своими западными единородцами.

Лишь к концу лета сизифов труд подошел к концу. Подписание договора запланировали на третье сентября.

Посол, которому не доверяет министр

Конец августа того года подарил мне несколько свободных дней, которые я проводил в Завидово, под Москвой, наслаждаясь купанием в реке Шоше, водными лыжами и незнойным солнцем уходящего лета.

Ранним утром, там, где Шоша впадает в Волгу, я с удовольствием скользил на монолыже по поверхности воды, которую по всем правилам литературного писания следовало бы сравнить с зеркалом.

Неожиданно эта зеркальная гладь пошла высокой волной от нагонявшего нас быстроходного катера на подводных крыльях. Поравнявшись со мной, двое сидевших в нем энергичными жестами дали мне понять, чтобы я остановился. Пребывая в безмятежно утреннем расположении духа, я жестами объяснил им, что прочно связан фалом со своим катером.

Пришельцы явно были не готовы разделить моего легкомыслия и настаивали на своем. Я бросил фал и тут же погрузился в воду.

Катер подошел совсем близко. Один из сидевших в нем низко склонился ко мне и так, чтобы волжские волны не разнесли тайну, тихо, почти шепотом произнес: «Вам следует срочно явиться на службу».

От Завидово до центра Москвы самое меньшее, полтора часа езды. Всю дорогу я предавался тревожным размышлениям относительно побудительных мотивов, заставивших дать людям указание выловить меня из воды. Ничего утешительного, понятно, на ум не приходило. Да, даже если бы путь мой лежал к Берегу Слоновой Кости, я не додумался бы долгой дорогой до того, что пришлось мне услышать по прибытии на место. При моем появлении Андропов заговорил, медленно цедя слова и пытаясь хоть немного унять раздражение.

— Где ты пропадаешь? Вчера тебя целый день разыскивал секретариат Громыко. Сегодня мы всех поставили на ноги — безрезультатно. Откуда тебя сегодня вытащили?

— Выловили из воды.

— В каком смысле?

— В прямом… — и я рассказал свое утреннее происшествие. Обстановка слегка разрядилась.

— Ну, ладно… Одним словом, тебе придется ехать послом в Бонн.

— Чем я провинился?

— Не ты, а твой друг в Бонне.

— А он что натворил?

Шеф не ответил, сделав вид, что не расслышал, — несвежий прием, излюбленный среди тех, кто предпочитает сам задавать вопросы, чем отвечать на них.

— Вчера мне звонил Громыко. Не знаю, что там у них произошло, но он был крайне раздражен и заявил, что более не доверяет своему послу в Бонне, в связи с чем будет ставить вопрос о его отзыве из Германии. Сегодня он инкогнито выезжает в Восточный Берлин, чтобы там, на месте, утрясти все вопросы с немецкими друзьями и завершить работу по подписанию четырехстороннего соглашения. Учитывая создавшуюся ситуацию с послом, он просил тебя срочно подлететь к нему и через Э.Бара, который там неофициально заправляет всем вместе с союзниками, согласовать кое-какие детали.

Вечером я уже был в Берлине. В дороге оказалось достаточно времени, чтобы обдумать складывающееся положение.

Обстановка недоверия была для нас в те времена скорее нормой, чем исключением. Однако громогласное заявление министра о недоверии своему послу выглядело серьезным исключением и из этой нормы.

Было ясно, что министр не мог сделать подобного заявления человеку, отвечавшему за безопасность страны, не обосновав его должным образом.

С другой стороны, становилось очевидным, что Андропов отнесся к этим обоснованиям весьма скептически и поэтому предпочел отделаться от моих замечаний по поводу истинных причин конфликта ничего незначащей фразой «не знаю, что там у них произошло…».

Как выяснилось позже, он знал настоящую причину, но в то время не был готов поделиться ею со мной.

Каждый полет в Берлин — удовольствие, всякий раз прибавляющее к жизни два еще не прожитых часа. О том, что они также беспричинно улетучиваются по дороге обратно, можно не вспоминать.

Эгона Бара удалось разыскать лишь ближе к полуночи. Сравнение с выжатым лимоном он и сам тогда воспринял бы как незаслуженный комплимент. Тем не менее, он подробно изложил свою позицию по оставшимся несогласованным мелким вопросам. Кажется, основным из них было правовое положение западноберлинцев, форма печатей в их паспортах и еще какие-то технико-юридические мелочи. Записав подробно все сказанное,

мы пожелали друг другу спокойной ночи.

А утром третьего сентября я отправился в Панков, зеленую часть Восточного Берлина, где находилась вилла, отведенная Громыко.

По причине ли прекрасной погоды или не окончившегося еще отпускного сезона, а может, по какой-либо иной, но Панков был в то утро удивительно безлюден. Виллу Громыко я безошибочно определил именно по царившему вокруг нее оживлению: туда и сюда сновало множество людей с бумагами в папках и без них, зажатыми просто под мышкой. Казалось, что кое у кого из них помимо бумаг были еще и идеи.

Охранник подвел меня к боковому входу, однако прежде, чем войти в дом, я увидел шедшего мне навстречу Фалина.

— Как хорошо, что ты прилетел! — начал он, лучезарно улыбаясь, из чего становилось ясно, что посол не ведает о нависшей над его карьерой угрозе.

Едва мы успели обменяться последними новостями, как за нашими спинами открылась дверь и на пороге появился вездесущий помощник Громыко Василий Макаров.

— Что ты здесь расслабляешься, министр с утра уже справлялся о тебе! — не давая себе труда поздороваться, обратился он ко мне в привычно-фамильярной манере. Присутствие Фалина он всем своим видом подчеркнуто игнорировал.

Войдя в дом, я увидел в большой гостиной Громыко в обществе охранника и кого-то из мидовских чинов. Мы поздоровались. — Закажите себе кофе или чаю и пойдемте на веранду, — распорядился он тоном повелительного гостеприимства.

Мы уселись.

— Юрий Владимирович передал вам наш последний разговор? — поинтересовался министр и, не дожидаясь ответа, продолжил. — Вот видите, какие трансформации с людьми бывают, а ведь мириться с этим мы никак не можем!

Из сказанного стало понятно, что речь идет о недавнем разговоре, в ходе которого обсуждался — и, видимо, осуждался, — какой-то поступок Фалина.

Я понял, что оказываюсь в положении крайне глупом: одинаково неловко было как признаваться в полном неведении, так и поддерживать беседу, не зная, о чем идет речь.

К счастью, подали заказанный чай, и я перевел разговор на ночную беседу с Баром. Громыко с видимым удовольствием заверил, что большинство замечаний Бара он уже учел и, вызвав какого-то технического сотрудника, продиктовал заново две

формулировки, распорядившись показать ему их уже в отпечатанном начисто виде.

Сию же секунду появился Макаров и положил перед министром список членов делегации, которые должны были вечером отправиться в Западный Берлин на церемонию подписания Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину, которую планировалось завершить пышным банкетом.

Громыко внимательно изучил листок с хорошо известными ему фамилиями и, одобрительно кивнув, вернул бумагу помощнику. После чего попросил меня составить ему компанию до конца дня, пока перечисленные в листке не вернутся на виллу с отчетом о том, как проходило важное историческое событие.

К вечеру суета улеглась. Вилла опустела. Большая часть снующих отправилась в Западный Берлин для участия в процедуре подписания. Те же, что остались, слонялись между виллой и флигелем или смотрели телевизор. Улучив момент, я отправился на поиски Фалина, однако, безуспешно. Как мне удалось подглядеть, в списке приглашенных на ужин его не было, да и быть не могло. Там правил бал наш посол в ГДР Петр Абрасимов. Советский же посол из Западной Германии, как и его министр, находился в Восточном Берлине скорее инкогнито, хотя эта тайна была шита теми самыми нитками, которые, независимо от их цвета, всегда хорошо видны на любом фоне.

Меня позвали ужинать. Мизансцена была той же, что и утром — гостиная, Громыко за большим столом, охранник и кто-то из сотрудников. За ужином министр ел мало и, как мне показалось, без удовольствия. Под стать еде, вяло и мало аппетитно текла беседа, едва выходя за рамки обсуждения берлинской погоды. В какой-то момент Громыко вдруг встрепенулся.

— А где Фалин? Что-то его не видно?

Мне показалось, что в глазах его появилась тревога.

— Он, Андрей Андреевич, уже на пути в Бонн, — услужливо доложил кто-то из присутствовавших.

— Правильную дорогу выбрал. Послу надо находиться в стране, чтобы не пропустить важные события, — с облегчением заключил министр.

На десерт Громыко предложил то же, что и утром: заказать себе чаю и пройти с ним на веранду.

Перемена места, впрочем, ни в атмосферу, ни в содержание беседы ничего нового не внесла.

На какое-то время мы остались наедине, и я остро ощутил дефицит тем для беседы. Стало темнеть, жалобно прокричала какая-то птица в саду, и Громыко, к моему безмерному удивлению, тут же назвал ее.

— Ах, я совсем забыл, вы ведь заядлый охотник!

Искренне обрадовавшись спасительной соломинке, я ухватился за нее обеими руками.

Министру мое замечание польстило, и лицо его растянулось в знаменитой кривой улыбке:

— Заядлый или нет, но до сих пор еще в летящую утку, как правило, попадаю!

Это тянуло уже больше, чем на улыбку, и он рассмеялся. Охотничья тема, к сожалению, скоро исчерпала себя, скорее всего из-за моей некомпетентности. Затем разговор зашел о Вилли Брандте. Я заметил, что Брандт, безусловно, незаурядная личность в жизни, и в политике, и непременно войдет в историю Германии.

Громыко вновь улыбнулся и прочел на память по-английски из Роберта Бернса что-то о человеке и содеянном им.

Совсем стемнело.

— Сколько же можно подписывать одно соглашение, да к тому же по поводу одного только города?! — вдруг с искренним возмущением воскликнул он.

— Так ведь оно четырехстороннее! Надо подписывать с каждой стороны…

— По вашей логике, если подписывать с каждой стороны, да еще минут по тридцать на каждый подход, то нам Абрасимова раньше полуночи не дождаться… и все из-за одного города! Западный Берлин, Западная Германия… Ох. уж мне эти новообразования!..

Было ли это экспромтом, не берусь утверждать, ручаюсь лишь, что сам Громыко счел сказанное настолько удачным, что в третий раз за вечер рассмеялся. С тех пор стоило мне войти в его кабинет, министр по обыкновению медленно вставал из-за стола и, обойдя его и протягивая руку для пожатия, спрашивал:

— Ну, как там дела в вашем новообразовании?

Не помню, долго ли оставалось до полуночи, когда с улицы донесся шум, захлопали двери подъехавших автомашин, зазвучали голоса. Минутой позже на веранду, где мы допивали нескончаемый чай, стремительно ворвался посол Петр Абрасимов. Вид его выражал такую степень радостного возбуждения и торжества, что Громыко даже с какой-то тревогой резко поднялся ему навстречу. Не дойдя двух шагов до министра, Абрасимов вспомнив времена, когда он служил в партизанском отряде, по-военному щелкнул каблуками и, не гася обертонов своего зычного командирского голоса, загрохотал, без учета скромных акустических возможностей веранды:

— Товарищ министр иностранных дел!

Не привыкший к уставной форме обращения, глубоко штатский Громыко неподдельно растерялся и в ужасе замахал обеими руками:

— Ладно-ладно, Петр Андреич, что ты, успокойся!..

Но тут, видимо, вспомнив о важности момента и историческом значении свершившегося, и сам вытянулся во фрунт. А Абрасимов продолжал сотрясать стены.

— Задание Коммунистической партии, Советского Правительства и Ваше личное по подписанию Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину с честью выполнено! Договор подписал Посол Советского Союза в Германской Демократической Республике Петр Абрасимов!

Как и положено, отрапортовав, он сделал шаг в сторону. Громыко подошел и обнял его.

Затем министр поздравил всех присутствующих с крупной дипломатической победой и пригласил за стол. Мое место оказалось рядом с Абрасимовым. И тут по некоторым вторичным признакам мне стало ясно, что на приеме в Западном Берлине по случаю подписания обильно потчевали не только безалкогольными напитками…

Время шло, и становилось все очевиднее, что подписание соглашения по Берлину нисколько не умиротворило оппозицию и ни на шаг не приблизило ратификацию Московского договора бундестагом.

Затяжка этого процесса не только усиливала и без того глубоко депрессивное состояние Генерального секретаря, но также заметно ослабляла положение его, Андропова и Громыко в Политбюро. И хотя Громыко неоднократно публично заявлял, что он не связан временем и может ждать сколько угодно, все яснее становилось, что сложившаяся ситуация ни веса, ни престижа среди высшего партийного руководства тройке лидеров не прибавляет.

Люди, прежде молча выжидавшие, теперь стали вслух высказывать сомнения и опасения по поводу порочности неклассового подхода к решению проблем внешней политики.

Необходимо было срочно предпринять что-то кардинальное: либо вывести из состава Политбюро сомневающихся, либо добиться решительных внешнеполитических успехов.

Брежнев решил действовать в обоих направлениях.

В речи на XXIV съезде партии Громыко обрушился с обвинениями против тех, кто провокационно утверждают, будто «любое соглашение с капиталистическими государствами

является чуть ли не заговором».

16—18 сентября 1971 года состоялась Ялтинская встреча Брандта с Брежневым, находившимся там на отдыхе. Встреча была призвана продемонстрировать не только личное сближение обоих лидеров. Во время купаний в Черном море и прогулок по чудесным паркам Ореанды закладывались основы визита Генерального секретаря в ФРГ. Почему-то некоторых представителей немецкой прессы шокировал факт совместного купания двух лидеров, а конкретно то, что Брандт и Брежнев вместе вошли в море, предварительно раздевшись до трусов. Заговорили о «политическом стриптизе», будто, если бы руководители вошли в воду не раздеваясь, при галстуках и в костюмах, политически это выглядело совсем по-иному.

В Крым с Брандтом прилетел и Бар. Брежнева сопровождал его помощник Александров-Агентов, человек высочайшей личной культуры, богатой эрудиции, широко и глубоко образованный.

Обсуждались все те же вопросы: перспектива ратификации Московских договоров, отношения между ФРГ и ГДР, подготовка Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эта последняя идея чрезвычайно увлекала Брежнева своими глобальными масштабами.

В аэропорт города Симферополя, где должен был приземлиться самолет бундесканцлера, Брежнев поспешил заранее. Стояла изумительная крымская осень. В преддверии встречи на столь высоком уровне сюда слетелась громадная стая журналистов, в основном западногерманских. Свои отношения с пишущей братией Брежнев строил так же, как и со всеми своими подчиненными: среди них были любимчики, которым он с удовольствием уделял много времени и внимания, и нелюбимые, которых просто не замечал.

К числу советских любимчиков следовало отнести неизменно сопровождавшего его фотокорреспондента ТАСС Му-саэльяна, из западногерманских — телерепортера ВДР Фритца Пляйтгена.

Оставался верен себе Брежнев и в Крыму. Заметив в толпе встречавших Пляйтгена, он двинулся прямо к нему и к обоюдному удовольствию побеседовал с ним перед камерой.

Все полеты над Крымом по случаю ожидаемого прибытия высокого гостя были запрещены, и толпа отдыхающих, оставивших надежду вскоре улететь домой, собралась поглазеть на Генерального секретаря. Он был одет в светлый летний костюм, выгодно подчеркивавший его южный загар. Надо сказать, Брежнев тщательно следил за своей внешностью: костюмы его были безупречно сшиты, к подбору галстуков и туалетной воды он относился куда серьезнее, чем к некоторым государственным

проблемам. Каждое утро не менее часа он занимался своим туалетом, подолгу оставаясь у зеркала, тщательно выискивая среди бесчисленных флаконов и баночек необходимые и соответствовавшие случаю аксессуары.

Тем временем лайнер вооруженных сил ФРГ совершил посадку на пустынном летном поле аэропорта в Крыму. После приветствий у самолета и краткого пребывания в здании аэропорта всех прибывших без особой пышности усадили в автомобили и повезли через горный перевал вниз, к морю.

Там, в Ореанде, в пределах своей правительственной виллы, Брежнев явил собой образец демократичности и доступности. Он пустил на территорию владений, где обыкновенно проводил свой летний отдых, иностранных журналистов, охотно продемонстрировал им громадный плавательный бассейн с морской водой и, нажав кнопку, предложил посмотреть, как высоченная четырехметровая стена при этом медленно и торжественно откатывается в сторону, образуя выход прямо в Черное море.

В течение трех последующих дней, отведенных для визита, мы с Баром виделись всего один раз, да и то мельком, причем краткое наше свидание носило даже несколько детективный характер.

Громоздкий лимузин «Чайка» вывез нас высоко в горы, где, усевшись на валунах под вековыми соснами, мы устроили небольшой пикник, во время которого при полной гарантии конфиденциальности смогли обсудить наши проблемы. В Крыму наша основная функция передавать информацию от одного государственного лидера другому— становилась совершенно излишней. Брандт и Брежнев уютно сидели вдвоем в гроте и обсуждали проблемы напрямую.

Что же до перспектив на будущее, то Бар предупредил, что обстановка вокруг ратификации Восточных договоров будет все более обостряться день ото дня, и критика оппозиции сведется, главным образом, к тому, что ратификация этих договоров и вступление их в силу ослабят позиции западных союзников и укрепят позиции Советского Союза в Западном Берлине и Европе в целом.

На этой основе, продолжал Бар, уже сейчас выстраивается концепция обвинения Брандта в разрушении традиционной линии внешней политики ФРГ, заложенной Аденауэром и с той поры остававшейся направляющей в политике всех его преемников. Никто из них никогда не предпринимал даже робких попыток сближения со странами Восточной Европы из опасений подорвать доверие США к Западной Германии.

Таким образом, подписание Московских договоров, по их мнению, было серьезным и совершенно ненужным отклонением от традиционного внешнеполитического курса ФРГ. Впрочем, это не вполне соответствовало исторической правде.

Бар рассказал, что, по его сведения, в наших внешнеполитических архивах имеется запись конфиденциальной беседы бывшего посла СССР в ФРГ А.Смирнова с К.Аденауэром, состоявшейся 6 июня 1962 г.

Входе беседы первый послевоенный канцлер предлагал СССР установить между обеими странами перемирие (BURGFRIEDEN) сроком на 10 лет с тем, чтобы этот отрезок времени обе стороны могли использовать для установления действительно нормальных межгосударственных отношений.

Это, по мнению Аденауэра, должно было повысить внешнеполитический престиж ФРГ, в том числе и в глазах его западных союзников.

Помимо того, обсуждался и вопрос о предоставлении больших свобод гражданам ГДР.

Таким образом, еще в пятидесятых годах Аденауэр предлагал то, что в семидесятых начал реализовывать Брандт.

Политики редко рассказывают что-либо просто ради развлечения собеседника. Бар тут же попросил обдумать возможность публикации записи этой беседы, что, по его мнению, значительно снизило бы остроту критики проводимой Брандтом внешней политики. В тот момент разумность такого шага не вызвала у меня ни малейшего сомнения и я был готов гарантировать успех планируемого мероприятия. Правда наказание за поспешные выводы последовало довольно быстро.

А пока мы отсиживались в горах, внизу уже стало смеркаться, и было видно, как на набережных зажгли огни. Ялта удивительно похожа на все южно-курортные города мира. С наступлением сумерек уставшие от все еще знойного солнца люди высыпали на набережную, чтобы щегольнуть при электрическом свете друг перед другом приобретенным загаром и привезенными нарядами. Занятым собой, им не было никакого дела до всего, что происходило совсем рядом в старинном дворце Ореанда.

Мы не последние жители этой планеты

— Ну, как там дела в вашем новообразовании? — весело начал Громыко, стоило мне появиться у него в кабинете по возвращении из Крыма.

Вновь пришлось поставить пусть не долгоиграющую, но уже немного затертую пластинку о всевозрастающих трудностях, с которыми придется столкнуться Брандту в процессе ратификации Московского договора в германском бундестаге. Громыко слушал

молча, разглядывая поверх меня какую-то специально выбранную на этот случай точку в углу кабинета.

— Если немецкая сторона будет затягивать ратификацию, мы «придержим» соглашения по Западному Берлину, — неожиданно перебил он. Однако тут же, вспомнив о том, что как правящая коалиция, так и оппозиция состоят сплошь из немцев, решил все же провести между ними черту. — А что думает по этому поводу Бар?

— У него есть интересная идея.

— Даже так? — Громыко скептически улыбнулся, сомневаясь в том, что стоящие мысли могут родиться не только у него.

Однако предложение Бара предать гласности беседу Аденауэра со Смирновым заставило его задуматься.

— А не носила ли беседа посла с канцлером конфиденциального характера?

Я промямлил какую-то банальность насчет того, что все тайное со временем становится явным и что конфиденциальность беседы была уже частично нарушена самим Аденауэром. В телевизионном выступлении накануне отставки он признал, что в свое время направил письмо Н. Хрущеву с предложением установить десятилетнее перемирие между СССР и ФРГ.

— Ну, если вы с Баром и впрямь так думаете, давайте разыщем этот документ и… В конце концов, восстановление истины — дело благородное.

Сдержаться и не поделиться новостью с Баром было свыше моих сил, и я поспешил дать ему знать по телефону, что дело слаживается.

Через несколько дней я получил подтверждение, что такой документ действительно имеется в архиве министерства иностранных дел, но показать мне его не могут, поскольку он находится у министра.

Дело оставалось за немногим: снять копию, показать ее в Германии и договориться о времени публикаций.

Уверенный, что так и получится, я победно-уверенным шагом направился на прием к Громыко.

Как обычно, министр усадил меня в кресло напротив и вместо долгожданной бумаги предложил мне длинный экскурс в глубины этики дипломатических отношений.

— Я ознакомился с документом, — начал он не спеша и похлопал по лежавшей перед ним тонкой папке, в которой, как я выяснил тут же, едва выйдя из министерского кабинета, упомянутой бумаги не было. После ознакомления накануне министр отправил ее обратно в архив. — Это — запись доверительной беседы нашего посла с Аденауэром. В ней

немецкий канцлер действительно определяет в отношении СССР позиции аналогичные тем, которые сейчас занимает Брандт. Более того, нет сомнения, что опубликование этого документа в печати ослабило бы сегодня в значительной мере позиции противников Восточных договоров. Но это сегодня!

Громыко многозначительно поднял указательный палец вверх и повторил:

— Да, да, именно сегодня. А назавтра нам не подадут руки и впредь станут разговаривать лишь при свидетелях. И что тогда? Тогда получится, что ради сегодняшней выгоды мы разрушили нечто нерукотворное: высочайшую пирамиду доверия, которую сами же сооружали десятилетиями. И это коснется не только нас, но и следующие поколения советских дипломатов.

Согласитесь, ведь мы не последние жители этой планеты. Поэтому я считаю, нам надо удержаться от сиюминутного соблазна. Я говорил с Андроповым. Он того же мнения.

Последняя фраза означала: приговор окончательный и апеллировать больше не к кому. На минуту вообразив себе разочарованное лицо Бара я, видимо, не смог скрыть того же выражения на моем лице.

— Не грустите, иначе мы поступить не можем. Представьте: сегодня начали публиковать содержание своих доверительных бесед, ну, скажем, с вами по поводу наших дел с Германией, или с десятками и сотнями людей, с которыми мне довелось встретиться и беседовать за свою долгую жизнь. Возьмите даже моих коллег по Политбюро или в правительстве. После подобных публикаций оставшиеся в живых совершенно справедливо станут сторониться меня, а умершие проклянут с того света. Доверие — это высшая точка отношений между людьми.

С этим трудно было не согласиться.

— Андрей Андреевич, говорят, Сталин много раз обсуждал с вами проблему будущего Германии и что он якобы был в принципе против ее разделения?

Громыко заметно оживился.

— Сталин умел заглянуть далеко вперед. Этим и объясняется, почему он с таким уважением относился к Германии и немцам — несмотря на войну. Действительно, Германия длительное время была темой наших бесед. Обсуждали мы и проблему какой ей быть: единой или разделенной. Естественно, вопрос ставился с точки зрения обеспечения стабильности в Европе.

— И к какому же выводу вы склонялись?

— Видите ли, мы разговаривали всегда вдвоем, без свидетелей. Сталин умер, а я пока жив. Но это небольшое преимущество вовсе не дает мне право разглашать содержание

наших доверительных бесед. Иначе я бы поступил вопреки принципам, которые только что отстаивал.

— Сталин просил вас не разглашать эти беседы или?..

Громыко взмахнул от отчаяния обеими руками, посмотрел на меня, как смотрят на неразумное дитя, и беззвучно рассмеялся.

— Сталин никогда и никого ни о чем не просил. Но мы прекрасно знали, о чем говорить можно, а чего говорить не следует.

День, когда надо было сообщить Бару неприятное решение Громыко, совершенно неожиданно из мрачного превратился в радостный. Бар внимательно выслушал, мгновение подумал и тут же сформулировал свою позицию:

— Я очень огорчен. Но еще больше — доволен. Наши расчеты подтвердились: с вами можно иметь дело.

Громыко оказался прав.

Тем временем тучи над Восточным договором не только не рассеивались, но становились все более грозовыми. Советская сторона по-прежнему пыталась переубедить оппозицию в Западной Германии с помощью речей Брежнева, против которых у нее постепенно выработался стойкий иммунитет. 20 марта 1972 года, выступая на XV съезде профсоюзов, Брежнев назвал ратификацию договоров «выбором между политикой мира и политикой войны».

В «Правде» появилась статья, доступно растолковывавшая эквивалентность русских и немецких понятий о государственных границах, таких, как «нерушимая», «незыблемая», «неприкосновенная», в которых в свое время не захотел разобраться Генеральный секретарь.

Громыко тоже не жалел патронов: он предал гласности «Письмо о немецком единстве», переданное во время подписания Московского договора немецкой стороной.

На западногерманскую оппозицию оно должного впечатления не произвело в отличие от руководства ГДР, которое с самого начала с неприязнью относилось к идее переговоров СССР — ФРГ. Иногда эта неприязнь прорывалась наружу.

После того, как Косыгин принял Бара «по его просьбе», ему вскоре позвонил Ульбрихт и, не скрывая издевки, спросил, будет ли тот впредь принимать всех западногерманских статс-секретарей. Косыгин, однако, не растерялся и ответил, что пока о встрече попросил только один. И это вполне соответствовало истине.

С началом весны 1972 года в ФРГ началась сущая свистопляска вокруг ратификации. Оппозиция учуяла, что в

воздухе повеяло запахом власти, и поставила в бундестаге вопрос о недоверии канцлеру Брандту. Подвергая резкой критике подписанный в Москве договор, политики, комментаторы и гадалки, увлеченно высказывавшиеся по этому поводу, единодушно соглашались, что разница в поданных «за» и «против» Брандта голосах в бундестаге будет минимальной — максимум 2, а скорее один. Но никто из них не брался уточнять в чью пользу. Бар сообщил нам, что шансы Брандта остаться у власти равны шансам ее потерять.

20 марта Брежнев произвел, пожалуй, последний мощный выстрел, который позволял его арсенал: разрешил выезд в ФРГ большой группы русских немцев. Но если бы даже он отправил вместе с ними всех остальных, рвавшихся из страны, дело от этого мало выиграло. Остановить раскрутившийся маховик противостояния было уже невозможно.

На последнем этапе всерьез заговорили о том, что оппозиция купила минимум одного депутата от либералов. Фамилия Иуды не называлась, зато сумма обещанных сребреников, переведенных по историческому курсу в немецкие марки, колебалась от 50 тысяч до четверти миллиона.

Чужие деньги всегда будят воображение людей. Скоро тема подкупа заняла чуть ли не главное место в прессе и на телевидении. Многие забыли про борьбу за канцлерское место, сосредоточившись при этом не на том, кто предает, а сколько за это заплатят.

Волна ажиотажа докатилась до Москвы. Кто-то доложил Андропову, и он в довольно раздраженном тоне поинтересовался у меня по телефону, как собираются социал-демократы противостоять подобным действиям оппозиции? И уж если пошла такая распродажа, не намерены ли и они прикупить на свою сторону пару депутатов. Получилось так, что как раз накануне мы беседовали с Баром на эту тему, и мне оставалось лишь передать шефу его реакцию на поставленный в этой же плоскости вопрос. «У нас нет таких денег, а поэтому нет и соблазна прибегать к таким мерам». Произнося эту, как мне показалось, красивую фразу, я и представить себе не мог, на какую нервотрепку себя обрекаю. Хотя ощущения, что кто-то третий вмешался в игру, у меня было.

Миллионер на сутки

Началом этой истории из плохого детектива следует считать следующий день после малоприятного разговора с шефом, когда руководитель аппарата КГБ в ГДР генерал-лейтенант Иван Фадейкин пригласил меня в свой служебный кабинет в Карлсхорсте, где за хорошо охраняемой оградой размещалась его резиденция.

И. Фадейкин был опытный военный контрразведчик, прошедший войну, после окончания которой немало потрудился вместе с Э. Мильке для совершенствования системы безопасности в ГДР.

Сложившиеся весьма доверительные отношения с Мильке помогали ему на первом этапе успешно продвигаться по служебной лестнице. Через какое-то время количество зависти — этой главной движущей силы интриги — перешло в качество и дало повод недоброжелателям распространить версию о том, что Фадейкин из представителя Москвы в ГДР превратился в представителя Мильке в Москве. Такое смещение акцентов ничего хорошего ему не сулило. Теперь он должен был заплатить за то, что установил «слишком» близкие не только служебные, но и личные отношения с министром госбезопасности ГДР. Москва плохо разбиралась в подобных оттенках, придерживаясь старой логики: если с кем-то еще, значит, против нас.

Словом, когда я ясным майским утром зашел в кабинет Фадейкина, над ним уже сгущались тучи, и он не мог не чувствовать их приближения.

Будучи человеком крайне осторожным, а также зная о наших отношениях с Андроповым, он никогда не задавал мне каких-либо вопросов по поводу моей миссии. В этой связи прозвучавшее довольно официально приглашение навестить его немного насторожило меня.

Вначале беседа шла о положении в ГДР, о растущем недовольстве населения уровнем жизни. Фадейкин чувствовал себя здесь во всеоружии. Что и говорить, уровень этот несравненно выше нашего, но восточные немцы принимают за эталон не нас, а своих западных собратьев. К нам же обращают взор только тогда, когда нужно дешевое сырье: нефть, газ…

Далее мы перешли к положению в ФРГ, к предстоящему голосованию по вотуму доверия Брандту, и конечно же к животрепещущей теме подкупа депутатов. Фадейкин оказался на удивление детально знаком с этой ситуацией. Он даже назвал фамилию перекупленного депутата и сумму, которая была

обещана «народному избраннику» за этот его шаг. Оставалось неясным, какая из сторон должна была выплатить эти деньги.

— Можешь не сомневаться в достоверности информации, она исходит непосредственно от Мильке, а у него, как ты догадываешься, надежные источники в Западной Германии.

Сегодня это могут подтвердить многие.

Мы сидели более часа, а я все никак не мог понять цель нашей встречи, пока неожиданно Фадейкин не задал тот же вопрос, на который мне пришлось отвечать Андропову накануне: почему социал-демократы не возьмут на вооружение методы своих противников и не купят голоса нескольких депутатов. Я без ссылок на автора повторил ответ Бара. Фадейкин задумался, а затем предложил:

— Послушай, давай соберем необходимую сумму, получим согласие Центра и, не теряя времени, будем действовать. Иначе может оказаться поздно, останется лишь, как обычно, кусать локти от досады.

Такой службист как Фадейкин никогда бы не отважился на подобный разговор, не заручившись согласием «сверху».

Теперь все вставало на свои места. Что же касается лично меня, то реализация подобного плана не сулила ничего хорошего. Во-первых, Бар уже высказал свое принципиальное отношение к подобной сделке и, думается, не отсутствие денег являлось основой занятой им позиции; так что возвращаться к этой теме было бы более чем навязчиво. Во-вторых, я довольно рано усвоил, что любая комбинация с казенными деньгами — это основание быть подозреваемым в нечистоплотности.

С другой стороны, если Брандт провалится на выборах, недополучив один-два голоса, на меня «спустят всех собак», обвинив, в лучшем случае, в отсутствии идей, инициативы, а в худшем и в трусости.

Рано утром мне позвонил из Москвы человек, занимавшийся организационно-финансовыми вопросами, и сообщил, что в соответствии с указанием начальства он на следующий день отправляется на прием к Косыгину, чтобы получить официальное распоряжение на выделение определенной суммы в валюте. При этом он добавил, что премьер резко отрицательно относится ко всей этой затее и нет уверенности, что поход увенчается успехом.

Тем большим было мое удивление, когда на следующий день я вновь получил приглашение Фадейкина зайти, а он, увидев меня, молча вынул из сейфа портфель с пачками долларов США.

— Есть распоряжение шефа, надо вручить этот портфель, кому следует. Если нужна помощь, ну там, подстраховать в Западном Берлине — мы готовы, если нет, то действуй.

И он ободряюще похлопал меня по плечу.

Зачем понадобился Москве вторичный разговор с Баром на малоприятную для обеих сторон тему, было тогда неясно. Более поздний анализ навел меня на мысль, что Брежневу не доложили в свое время отрицательную реакцию Бара на сделанное нами предложение и затем пытались исправить дело вторичным заходом, придав ему более «конкретную форму».

Делать было нечего, и мы тут же связались по телефону с Баром. Выяснилось, что в течение трех ближайших дней он не сможет отлучиться из Бонна, и предложил нам, если дело срочное, прилететь к нему.

Мы отправились в аэропорт и, купив билет на ближайший боннский самолет, оставшиеся до его вылета часы скоротали за обсуждением возникшей ситуации.

В силу редкостной легкости характера, о которой я уже упоминал, Валерий был далек от того, чтобы драматизировать ситуацию.

— Не вижу причин для переживаний, — безапелляционно заключил он. — В конце концов, давать — не брать, предлагать — не просить. Согласятся взять деньги, в чем я сомневаюсь, — я сделаю тебе намек по телефону. Мы приедем в Берлин, и ты вручишь сумму на Пюклерштрассе из рук в руки. Ну, а откажутся — я вернусь один, и забирай меня, как обычно, из аэропорта.

Примерно с шести вечера я стал названивать в Бонн по телефону. Леднева разыскать долго не удавалось. Лишь около полуночи я обнаружил его в гостинице.

Следует заметить, что в те времена по своей форме разговор человека, связавшегося по телефону из Западного Берлина с кем-то в Западной Германии, значительно отличался от телефонного диалога между жителями западных стран. Берлинцы прекрасно осознавали, что городской телефонный кабель прежде, чем выйти в «свободный мир» вначале долго петлял по городским зонам союзников, а затем проделывал длинный путь по территории ГДР, и что в связи с этим к нему было подключено больше желающих подслушивать, чем говорить. По крайней мере во много раз больше, чем это предусматривается цивилизованными нормами в цивилизованных государствах.

«Диалог двоих в присутствии многих» заставлял людей прибегать ко многим смысловым и словесным ухищрениям. Старались не упоминать имен, заменяя их словами «знакомый», «приятель». Места и время самых невинных встреч тоже конспирировали: «как всегда», «на том же месте» и т. п.

Однажды я сидел в кабинете очень респектабельного берлинского архитектора, когда тот договаривался о встрече со

своим коллегой, прилетающим из Парижа.

— Мы встречаемся как обычно у итальянца, но не у того, где были последний раз, а у того, где ужинали, когда ты прилетал с блондинкой две недели назад.

Прошло достаточно много времени, пока парижский коллега, видимо изрядный потаскун, разобрался в своих блондинках и ресторанах, которые посетил за последние две недели.

— Не проще ли было назвать ресторан, — поинтересовался я у архитектора, когда он закончил разговор, — или ты забыл, как именуется твой итальянец?

— Ресторан «Ля Бока». Я не могу забыть его, хотя бы потому, что через день обедаю или ужинаю там. Ich bin dort Stammgast (Я его постоянный посетитель), — возбудившись, объяснил мне хозяин. А тебе бы пора уже знать, что здесь, в Западном Берлине, записывают на пленку каждое слово, сказанное по телефону, и переводят его тут же на французский, английский, русский и немецкий с восточногерманским акцентом.

— Твой коллега везет в Западный Берлин наркотики? — не унимался я.

— Чертежи для строительства отеля в Аммане.

Надо признаться, что в разговорах по телефону мы не блистали изобретательностью и мало чем отличались от западноберлинских обывателей.

— Только что расстались с нашим другом после хорошего ужина, — доложил не совсем твердым голосом Валерий, хотя последнее обстоятельство не требовало пояснения. — Все в порядке, мы обо всем договорились. Завтра вылетаем дневным рейсом. Встречаемся, как обычно, в том же месте.

Я с трудом мог поверить своим ушам. Ведь Бар хоть и тактично, но достаточно категорично сформулировал свое «нет».

На другой день, в полдень, я въехал на машине в Западный Берлин. На сиденье рядом со мной лежал портфель, набитый упругими тонкими пачками долларов в банковской упаковке. При обмене по тогдашнему благосклонному к доллару курсу на марки получалась сумма, на которую можно было прикупить минимум четырех депутатов бундестага. Именно из этого расчета и исходил тот, кто определял количество выделяемых денег.

Чтобы не привлекать к себе внимание, мы обычно приезжали в особняк на Пюклерштрассе на такси. И на сей раз я правилу не изменил.

Оставив машину на платной стоянке позади ресторана «Три медведя», я облюбовал в нем пустынный уголок.

В Берлине выпало несколько жарких дней, и посетители предпочитали занимать столики на улице, под тентом.

В небольшой газетенке, по-моему, «BZ», которую я развернул в ожидании официанта, на первой полосе аршинными цифрами извещалось о количестве кружек, выпиваемых берлинцами в связи с повышением температуры. Я решил добавить к этой круглой цифре еще одну, а заодно осмотреться и рассчитать время.

До прибытия самолета оставалось тридцать минут. Если добавить столько же на дорогу от аэропорта до Пюклерштрассе, в моем распоряжении оставался еще целый час.

Неожиданно в ресторан вошли двое сравнительно молодых мужчин. Увидев меня, они без видимых колебаний направились в ту же часть необитаемого зала и решительно заняли столик в противоположном углу. Один из них, демонстрируя свой анфас, бесцеремонно уставился на стоявший рядом со мной на стуле портфель. Другой, с далеко не римским профилем, тоже постоянно косился на него. Я проследил взгляд обоих и пришел в уныние.

Рядом со мной стояло реликтовое чудище. Потертое до безобразия, старомодное, неуклюжее, утратившее былую форму и краски кожаное вместилище, точная копия (не удивлюсь, если бы он оказался оригиналом) того самого знаменитого портфеля Конрада Аденауэра, который сегодня с интересом разглядывают в Бонне посетители музея-кабинета первого германского послевоенного канцлера.

Вопреки предположениям тогдашних сослуживцев о том, что канцлер хранил в нем наиболее ценные государственные бумаги, которые не мог доверить даже стальному сейфу, Аденауэр носил в нем съестное, приготовленное дома.

Что могло быть содержанием портфеля сегодня, четверть века спустя, не мог придумать и самый догадливый. На чиновника, которому жена в целях экономии готовила его любимые бутерброды на весь служебный день, я не тянул.

В крайнем случае можно было рассчитывать на бессмертный образ немолодого холостяка, систематически навещающего знакомых вдов с портфелем, в котором аккуратно сложены свежая рубаха, старая электрическая бритва «Браун» и зубная щетка с пастой «Колгейт».

Принесли пива, за которое я поспешил немедленно расплатиться. Минут за двадцать до расчетного времени я прервал свои психологические экскурсы, поднялся и направился к выходу. Мои соглядатаи продолжали оставаться на месте и лишь внимательным взглядом проводили меня до дверей. Выйдя на Кудамм, я повернул налево. Здесь, у «Кранцлерэк», обычная цепочка такси ожидала своих клиентов. Головную машину я, по обыкновению, уступил полной негритянке с двумя детьми, и не

без труда втиснулся в миниатюрный салон второй, назвал адрес и с облегчением откинулся на спинку сиденья.

Водитель, увлеченно жевавший бесконечную сосиску, купленную здесь же, на углу, и почерневшую от долгого пребывания в перегоревшем масле, не поворачивая головы, кивнул, подтверждая, что адрес ему знаком и им уважаем. Проглотив пережеванное и дождавшись, когда светофор сменит красный цвет на зеленый, он тронулся в путь.

Мы успели проехать всего несколько метров, когда произошло нечто непредвиденное.

Двигавшаяся навстречу автомашина с включенным сигналом поворота направо тем не менее продолжила движение по прямой и наехала на такси, в салоне которого я уже было позволил себе расслабиться. Раздался удар, послышался звук разбитого стекла.

— Попрошу вас быть свидетелем. — Водитель позволил мне разглядеть его профиль, после чего не спеша вышел.

Тут же откуда ни возьмись, выросли два полицейских. За долгие годы прогулок по Кудамм я никогда не видел их на этом перекрестке. Немедленно собралась толпа зевак. Движение по главной западноберлинской улице в обоих направлениях застопорилось. Наехал же на такси старый, видавший виды американский лимузин непристойных по европейским понятиям размеров, выпущенный на просторы прерий, видимо, не позже середины нашего века и скорее напоминавший небольшой комфортабельный автобус, чем легковой автомобиль. На его задних крыльях, как у самолета, размещались воздушные стабилизаторы, вследствие чего, судя по сильно избитым бокам, водитель постоянно путал тесные запруженные людьми и машинами берлинские улицы с просторной взлетной полосой аэродрома. Наконец из этой некогда роскошной громадины вылез маленький смуглый человечек восточного типа в туфлях на высоких каблуках. Водитель такси что-то сказал полицейскому, и тот жестом пригласил меня выйти из машины.

Я повиновался и встал по левую руку от служителя закона. События развивались точно в соответствии с ярко приведенными примерами в пособиях по контрразведке, выпускавшимися учебным заведением КГБ. Сомнений в подстроенной провокации почти не оставалось. Следующий этап — полицейский участок, где неминуемо будет задан вопрос по поводу содержимого портфеля, и происхождения столь значительной суммы. Нашел? На счастливчика, нашедшего портфель с миллионом, я не очень походил. Следующим вопросом неминуемо станет адрес, по которому я ехал. Его назовет шофер, память у них профессиональная.

Я почувствовал, как неприятный холодок ящерицей крадется по спине. В моем воображении уже обозначилась первая полоса «BZ» с моей физиономией, а рядом вилла Уполномоченного по Западному Берлину…

Это совсем плохо.

Но тут я с облегчением вспомнил, что, руководствуясь видимо шестым чувством, назвал водителю не адрес виллы, а магистральную улицу Клее-аллее, откуда рассчитывал прогуляться пешком. Ну, хоть это утешение! Аллея, названная в честь американского генерала времен Второй мировой, находится в парковой зоне Берлина, а стало быть, я вполне мог отправиться туда, чтобы подышать воздухом. Конечно, при всей западной дороговизне для прогулок по парку вряд ли надо иметь при себе такое количество денег. Но это уже, извините, дело хозяйское.

Пока я соображал, что меня ждет, миниатюрный владелец лимузина вытащил из кармана толстый бумажник, вынул оттуда визитную карточку вместе с несколькими стомарковыми купюрами, и передал таксисту.

Тот быстренько принял извинения, однако, осмотрев более пристально помятое крыло, затребовал еще одну сотню марок. Прежде терпеливо и молчаливо ожидавшие автомобили принялись гудеть. Таксист и восточный человек не спеша вернулись к своим машинам. Толпа начала расходиться.

Я обратился к полицейскому:

— Извините, у меня встреча, на которую я опоздал из-за этой истории…

Тот повернулся и посмотрел на меня с таким изумлением, словно я пожаловался ему на мучившую меня икоту.

— Не знаю кто вас здесь удерживает? Инцидент, как видите, исчерпан, и я не понимаю, что делать здесь любопытным.

Несколькими минутами позже я размашисто шагал по Фазаненштрассе, не думая о направлении, а лишь с целью уйти подальше от места происшествия.

Добравшись наконец до Пюклерштрассе, 14, нажал кнопку звонка.

Дверь долго не открывалась, затем замок натужно затрещал, калитка открылась, и я оказался внутри дворика. Прошуршав по гальке, подошел к входу в дом. В вестибюле меня встретила служительница в наскоро накинутом голубом переднике.

— Господин Бар? Он звонил сегодня утром и сказал, что будет не раньше, чем через неделю. Вы проходите, я соединю вас с его секретарем, фройляйн Кирш, она ведает всеми делами.

Фройляйн Кирш любезно объяснила, что господин Бар

отправился на заседание бундестага, что же касается господина Леднева, то автомобиль господина министра пару часов назад доставил его в аэропорт…

Приехав в Темпельхоф, я без труда разыскал Леднева в баре за кружкой пива. На лице его не было и следа упрека за мое опоздание. Удивил его лишь портфель в моих руках:

— Что ты с этой хламидой по городу бродишь? Купил бы себе что-нибудь поприличнее…Ну, а в остальном все прекрасно: ни о каких деньгах они и слышать не хотят, думаю что Бар Брандту об этом и словом не обмолвится, чтобы тот не воспринял наши благие намерения, как обиду. Относительно голосования по вотуму доверия, все остается по-прежнему: пятьдесят на пятьдесят.

Я не стал объясняться с Ледневым по поводу недоразумения. Единственным моим желанием тогда было как можно скорее вернуть портфель в Восточный Берлин.

Фадейкин принял портфель обратно без восторга:

— Ну, вот так мы и тешим себя. Сначала придумываем операции, потом отказываемся от них!.. — проворчал он, заталкивая портфель в сейф.

Спорить я не стал, а уж тем более рассказывать о происшедшем. Теперь это не имело никакого значения.

Я был вполне доволен жизнью и наслаждался сознанием своей исключительности. Немного в этом мире таких, кто, освободившись от миллиона, чувствовал бы себя столь же уютно, как я в тот вечер. Естественно, и сон был крепким, но не долгим. И вновь, без учета двухчасовой разницы во временных поясах, меня поднял из кровати все тот же ранний голос из Москвы и сообщил, что распоряжение пока что премьер не подписал, но как только деньги будут получены, их немедленно переправят в Берлин.

Я так долго соображал, что говоривший из Москвы осведомился о моем самочувствии, после чего положил трубку.

Мне показалось, что я все еще нахожусь в объятиях Морфея и теперь второй раз смотрю уже пережитый недавно неприятный сон.

Наяву же хотелось понять смысл моей бездарной прогулки с антикварным портфелем по Западному Берлину, в то время как его содержимое по какому-то дьявольскому замыслу оставалось в Москве. В голову лезли самые невероятные мысли. Чтобы избавиться от наваждения, я позвонил в Москву и попросил своего раннего собеседника не пересылать деньги в Берлин, поскольку в них отпала надобность.

Поначалу это вызвало удивление, а затем облегчение.

Просить всегда неприятно, а если непонятно для кого — то вдвойне.

К сожалению, история этим не исчерпывается. Она имела для меня краткое, но неприятное продолжение. Два дня спустя я ненадолго оказался в Москве. Андропов тут же принял меня, по обыкновению вышел из-за стола и, искренне пожимая мне руку, с несвойственной ему грубоватой прямотой сказал:

— Ну что ж, после такой проверки тебя можно посылать хоть на Марс.

Он произнес это искренне улыбаясь, уверенный, что сделал мне комплимент. Я, видимо, заметно помрачнел, ибо он тут же попытался все сказанное превратить в шутку.

Через несколько минут мы расстались. Для него я оказался несколько порядочнее, чем он предполагал. Для меня он в тот день перестал быть столь совершенным, каким представлялся ранее.

Чуть позже я пришел к твердому убеждению, что вся эта детективная история, разыгравшаяся в Западном Берлине, имела лишь формальное отношение к событиям, связанным с вотумом доверия к Брандту и вообще к немцам. Просто кому-то понадобилось подвергнуть меня испытанию на верность и на честность.

26 апреля 1972 года состоялось голосование по вотуму доверия Брандту. История никогда не узнает, что определило результат: недостаток денежных средств у одной из сторон или наличие совести у отдельных депутатов. Как известно, с перевесом в два голоса Брандту удалось сохранить свой пост.

Сидя у телевизора в Берлине, я передавал по телефону в кабинет Андропову весь ход голосования как футбольный репортаж со стадиона. Когда все прояснилось, Андропов облегченно вздохнул, поблагодарил и тут же доложил Брежневу.

23 мая президент ФРГ Хайнеманн скрепил своей подписью Восточные договоры. Еще неделю спустя они были ратифицированы Президиумом Верховного Совета СССР.

На заседании выступил Брежнев, предварительно выслушавший немало самой беззастенчивой лести по поводу его лидирующей роли в процессе разрядки напряженности во всем мире и особенно в улучшении отношений СССР-ФРГ.

Особым красноречием блеснул первый секретарь ЦК КП Белоруссии Машеров. За ним старались угнаться другие. Начиналась эпоха безудержного прославления Генерального секретаря.

Брежнев постепенно набирал политический вес, а с ним росла и его уверенность в себе. Игра в кошки-мышки с собственным

премьером по поводу того, кто должен представлять страну, близилась к концу. Уже Коммюнике по Крымской встрече с канцлером ФРГ Брежнев подписал единолично. Не задумываясь, поставил он свою подпись и под договоренностями с президентом США.

В бесконечных хлопотах по поводу ратификации время пролетело незаметно, и тут все спохватились, что в Германии не за горами новые выборы.

Громыко, впервые посетивший в июне 1972 года то, что он привык называть «новообразованием», и там со всяческими почестями принятый, о вдовах более не поминал, а сосредоточился на том, чтобы оказывать необходимое влияние на руководство ГДР.

Кстати, это оказалось весьма полезным и для укрепления позиций Брандта на посту канцлера и для блага немцев в обеих частях Германии.

9 ноября того же, 1972-го, года состоялось парафирование договоров между ФРГ и ГДР. Эти договоренности в определенной степени облегчали общение людей в обеих частях страны.

19 ноября социал-либеральная коалиция одержала внушительную победу на выборах, а социал-демократы набрали небывалое количество голосов в условиях максимальной активности избирателей за всю послевоенную историю страны.

Казалось бы, все складывалось благополучно. Однако, сразу после того, как лидеры обеих стран поздравили друг друга с успехом, «серый кардинал», Михаил Суслов, решил, что пора напомнить о своем существовании и о том, что именно он является идеологом ЦК КПСС.

Суслову удалось убедить Брежнева и своих товарищей по Политбюро в том, что, идя на политическое сближение с ФРГ, СССР должен во имя сохранения чистоты идеи мирового коммунистического движения решительно размежеваться с немецкими социал-демократами идеологически.

Тут вспомнили подходящий и общеизвестный лозунг Ленина: прежде, чем объединяться, надо размежеваться.

Брежнев был надежным партнером и предупредил через нас Брандта о предстоящем идеологическом размежевании между КПСС и германскими социал-демократами. Брандта ленинский подход к делу нисколько не расстроил, а скорее наоборот. Он давно созрел для любого размежевания, поскольку немецкие социал-демократы несли серьезные потери от того, что их часто сознательно или без того валили в одну кучу с коммунистами. В целом же несложно было заметить, что возня с идеологическим смыканием или размежеванием его не очень интересовала.

В середине ноября Брежнев заявил, что коммунистов объединяет с западными социал-демократами борьба за разрядку, но это отнюдь не означает, что коммунисты готовы идти с ними на компромиссы в области идеологии.

Андропов против Андропова

Вскоре стало ясно, что гораздо больше, чем идеологические разногласия между германскими социал-демократами и советскими коммунистами, Брандта волновала судьба писателя Солженицына.

Это было как раз то время, когда набирала силу конфронтация между официальными властями и русским писателем — автором «Матрениного двора» и «Одного дня Ивана Денисовича».

Суслову не дано было понять, что любые репрессии против уже известного литератора лишь возведут его в ранг мученика в глазах мировой общественности. А значит, непременно усилят симпатии к нему, в особенности же в России, где трогательно жалеют как пьющих, так и гонимых.

Однажды Хайнц Латте, читавший Солженицына и много писавший о нем, неожиданно заключил:

— Не берусь судить о литературе, но уверен, что своей популярностью Солженицын в первую очередь обязан Суслову и руководству Союза писателей, где его так бесцеремонно отвергли.

Позже к двум названным Хайнцем силам не без оснований можно было причислить и третью — Андропова.

Неизвестно, был ли Вилли Брандт поклонником таланта Солженицына, но то, что он является человеком благородным, не вызывает сомнений. Он испытывал сострадание к преследуемым. Большое влияние оказали на него в этом немецкий писатель Генрих Бель и советский виолончелист Мстислав Ростропович. Известно, что Брандт преклонялся перед талантом обоих и не мог не прислушаться к их мнению.

В 1973 году на Западе получили хождение самые драматические прогнозы по поводу дальнейшей судьбы Солженицына. Бель постоянно обращался к Брандту с просьбой воспользоваться своим прямым контактом с Брежневым и отвести угрозу, нависшую над писателем. Брандт не остался глух к этим обращениям.

Теперь среди непрерывно обновлявшихся политических тем, которые обсуждали канцлер и генсек, появилась одна постоянная — Солженицын. С присущей ему последовательностью Брандт через равные промежутки времени вновь и вновь напоминал Брежневу о своей озабоченности. Однажды он сформулировал свой подход к вопросу следующим образом:

«Не представляю, как будут строиться наши отношения, если с писателем Солженицыным произойдет трагедия».

В Москве настойчивое заступничество канцлера в разное время воспринималось по-разному. До тех пор, пока конфронтация советской власти с писателем не касалась Андропова, а проходила преимущественно в плоскости борьбы с ним идеологов от партии и Союза писателей, Андропов при личных встречах и по телефону старательно информировал Генерального секретаря о каждом очередном заступничестве Брандта. Как и все остальные члены советского высшего руководства, он побаивался «серого кардинала» и надеялся, что, идя навстречу Брандту, Брежнев найдет способ заставить идеологов искать компромисс с писателем.

Андропов четко отдавал себе отчет, что в противном случае рано или поздно решение проблемы будет переложено на вверенное ему ведомство, иными словами, станет его проблемой и неизбежно столкнет его с интеллигенцией. Вот этого-то он стремился во что бы то ни стало избежать, ибо в его плане преобразования общества ей, интеллигенции, отводилась главная роль.

Эта убежденность Андропова явилась также результатом его восприятия событий 1956 года в Венгрии, событий, глубоко и на всю жизнь его травмировавших. Мне трудно определить, чего в его отношении к интеллигенции было больше — страха или уважения, но он часто говорил, что интеллигенция заслуживает самого серьезного и продуманного отношения, ибо именно она «формирует сознание масс».

И все же Суслов переиграл Андропова, убедив Брежнева, что Солженицын представляет серьезную угрозу для всего советского строя, а потому и обезопасить страну от его деятельности должно специально для того существующее ведомство. С того момента все совершенно переменилось.

Отныне, докладывая Брежневу об очередной просьбе о заступничестве, переданной Брандтом, Андропов практически действовал против самого себя. Особенно явственно это проявилось в дни подготовки визита Брежнева в ФРГ ранней весной 1973 года.

— Юра, давайте же, наконец, решать вопрос с Солженицыным! А то ведь получится ерунда. Судя по настроению Брандта, о котором ты мне регулярно докладываешь, он обязательно задаст мне вопрос о Солженицыне. И как я буду выглядеть?

Если Генеральный секретарь всерьез сомневался, будет ли он выглядеть блестяще во время своего долгожданного визита в Западную Германию и спрашивал об этом своего подчиненного, то для последнего это звучало как упрек, за которым могло

последовать все, что угодно.

Фраза «давайте решать» означала, что Генеральному надоело выслушивать разные мнения и больше всего на свете ему хотелось, чтобы эта проблема была снята, чем раньше, тем лучше. Уж во всяком случае, до его отъезда в Германию.

Как это сделать, не знал никто. Однако все прекрасно понимали, что карать интеллигенцию, да еще пишущую— занятие неблагодарное. А посему каждый старался перевалить ответственность с себя на другого: Союз писателей на идеологический отдел ЦК КПСС, а тот, в свою очередь, на карательный орган — КГБ.

Однажды в беседе с Ледневым Брандт поинтересовался, почему советское руководство не позволит выехать из страны всем не согласным с существующими порядками, но способным прекрасно реализовать себя на Западе. Солженицын, например, издается громадными тиражами и в Европе, и в Америке, а потому является человеком весьма состоятельным. Вот пусть и живет на свои гонорары, творя для всего человечества. А вместо этого он гоним и вынужден искать приюта у своих друзей на родине.

Идея сама по себе была не новой. Еще в 1922 году, во времена куда более жесткие, Луначарский, отвечавший в правительстве Ленина за вопросы просвещения, известный гуманист, воспользовался своей властью, чтобы организовать выезд за границу многих талантливых русских людей, сохранив им жизнь, а миру их таланты.

Роль Луначарского импонировала Андропову куда больше той, на которую его обрекли обстоятельства, но на пути ее реализации возникла серьезная трудность.

К 1973 году большая часть интеллектуалов, покинувших СССР по идейным, политическим и материальным соображениям, оказалась вынужденной искать себе применения на радиостанциях, в редакциях газет и журналов, созданных и финансируемых с целью ведения активной и массированной антисоветской пропаганды.

Суслов и подчиненные ему идеологи называли эмигрантов «пятой колонной» и категорически выступали против дальнейшей утечки на Запад умов, способных и впредь усиливать и питать интеллектуально пропагандистскую войну против СССР.

Сусловской же командой был выдвинут тезис: здесь мы можем воздействовать на них, а «оттуда» они станут воздействовать на нас.

Серьезным аргументом сусловцы сочли неизвестно кем подготовленный технический анализ перспектив развития

спутникового телевидения. Согласно докладу, в ближайшие годы небо над Советским Союзом должно было заполниться иностранными спутниками, передающими сплошь антисоветские программы, бороться с которыми никакой возможности не представлялось. Мысль о том, что в один прекрасный день на экране перед глазами отечественного телезрителя вместо привычной физиономии штатного пропагандиста появится борода проповедника Солженицына, шокировала не только идеологов.

Таким образом, размышления Брандта о предоставлении диссидентствующим советским интеллектуалам возможности переместиться в юдоль их грез накладывались на крайне неблагоприятно удобренную почву.

7 октября 1972 года в Москву прилетел Бар. Входе первой же встречи с Громыко они договорились по ряду вопросов, в том числе и об обмене военными атташе. Узнав об этом последнем обстоятельстве, я заочно возненавидел того, кто займет этот пост в Бонне, ибо мне было совершенно очевидно, что блистать на начищенном паркете дворца Петерсберг в роскошном, сверкающем позументом парадом мундире, должен был, по всем статьям, именно я, а не кто иной.

У Генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева, нужно признать, шансов поехать в Бонн имелось куда больше моего. Он знал, что немецкий гость привез для него приглашение от канцлера ФРГ посетить страну, и не прочь был услышать это из его, гостя, собственных уст. Добрая весть располагает думать благосклонно о гонце, ее принесшем. И наоборот.

Бар произвел на Брежнева прекрасное впечатление, несмотря на то, что в конце беседы попытался-таки вставить какую-то отсебятину во спасение Солженицына. После ухода гостя Брежнев принялся подробно расспрашивать Андропова, что значит пост статс-секретаря или министра, какой у него месячный оклад, какая положена ему машина и какими привилегиями он вообще пользуется.

Андропов позволил себе пошутить: уж не собирается ли Генеральный секретарь пригласить Бара к себе в аппарат, прицениваясь, во сколько это обойдется?

Вот о том-то он и подумывает, в тон ему ответил Брежнев, поскольку Бар кажется куда умнее многих секретарей ЦК. Обоим мысль эта страшно понравилась, и они долго еще перешучивались, представляя, что скажут другие члены Политбюро о таком назначении.

Хвалебную оценку, данную Брежневым, я Бару не передал, из опасения, что предпочтение, отданное ему перед иными

секретарями ЦК, вызовет «головокружение от успехов».

От официального приглашения до официального согласия прошло полгода. Визит мог и должен был стать только «эпохальным». Стало быть, требовал времени для подготовки. Кроме того, до его начала следовало основательно пересмотреть состав Политбюро, многие члены которого не слишком охотно поддерживали брежневские начинания.

В конце апреля 1974 года Пленум ЦК вывел из состава Политбюро Петра Шелеста и Геннадия Воронова, заменив их министром обороны Андреем Гречко, главой внешнеполитического ведомства Андреем Громыко и ведомства госбезопасности Юрием Андроповым. Двух последних Брежнев неизменно старался удерживать на одном уровне во всех отношениях. Они были его надежной опорой в партийном руководстве, однако отношения с каждым из них строились по-разному.

Что касается Громыко, то они оба принадлежали к одному поколению, в разное время занимали видные, пусть и совершенно различные, посты; иными словами, находились «в одной обойме», а потому обращались друг к другу на «ты». Близких отношений, впрочем, не поддерживали, «домами» не дружили, прежде всего из-за различия в темпераменте.

С Андроповым дело обстояло сложнее. Он был на поколение младше, знакомство по-настоящему давним назвать было нельзя, и в силу совокупности всех различий сложилось так, что Брежнев говорил ему «ты», даже и не предполагая, что услышит то же в ответ. Вместе с тем, Андропов был допущен в самые темные закоулки интимной жизни Генерального секретаря и его семьи.

Помню, как при мне позвонил Брежнев и долго жаловался Андропову на зубную боль под коронкой, на всех кремлевских врачей, просил выяснить, так ли уж хороша на деле новая знаменитость стоматолог Никитина и можно ли ей доверить свою больную челюсть.

После каждого выступления на съездах или пленумах он непременно звонил Андропову и интересовался его мнением. Это всякий раз, естественно, было для Андропова тяжелым испытанием. Речевой аппарат Генерального ветшал столь быстро, что он с каждым разом все хуже артикулировал слова, а потому оценка его выступлений неизменно превращалась в моральную пытку и становилась пробой дипломатического искусства.

5 апреля было официально объявлено о предстоящем в мае визите Брежнева в ФРГ. До его начала осталось, таким образом, менее полутора месяцев. Суматоха началась невообразимая. Больше всего хлопот досталось сотрудникам протокольной

службы с обеих сторон.

Брежнев должен был стать первым главой советского государства, приглашенным посетить Бонн с официальным визитом. Прежде в Бонне бывал только Анастас Микоян, но это — совершенно иной протокольный уровень. Основная сложность при организации визита заключалась в том, что состояние здоровья Генерального секретаря требовало особого распорядка дня.

Брежнев страдал бессонницей. Никакого систематического лечения не проводилось, а постоянно сопровождавший его повсюду врач имел при себе небольшой темный чемоданчик, набитый небольшими пакетиками со снотворными различной силы воздействия. В шутку саквояжик называли «черным ящиком». В случае, если желаемый эффект содержимым одного пакетика достичь не удавалось, из «черного ящика» извлекался следующий пакетик.

Очень скоро Брежнев оказался накрепко привязанным к этому чемоданчику. Помимо того, с целью повышения работоспособности, члены Политбюро порешили сделать обязательным для себя часовой ежедневный сон после обеда. Брежнев неукоснительно следовал этой партийной установке. Отобедав, он отправлялся в специально оборудованную для покойного сна комнату, смежную с рабочим кабинетом, принимал пакетик снотворного и укладывался на покой. Если Морфей медлил со своими объятиями, то Брежнев взывал недовольным голосом его лейб-медику: «Не берет, дай покрепче!»

После этого доктор послушно доставал из чемоданчика аккуратный пакетик под следующим номером и относил его страдающему дневной бессонницей генсеку.

Очнувшись от такого искусственно спровоцированного сна, Брежнев долго приходил в себя, нетвердыми шагами передвигаясь по кабинету, словно после похмелья. Естественно, что подобный режим должен быть сохранен и на время визита, причем Брежнева и Громыко следовало разместить рядом, но с учетом табели о рангах.

13 мая правительственный самолет совершил посадку в аэропорту Кёльн-Бонн. Отгремели гимны, Брандт и Брежнев обменялись речами и направились в Бонн.

Тем же вечером во дворце Петерсберг состоялся торжественный и пышный прием, данный немецкой стороной. На следующий день в здании Министерства иностранных дел ФРГ Брандтом, Громыко и Шеелем были подписаны договоры об экономическом, техническом и культурном сотрудничестве. Протокол об установлении прямых воздушных сообщений

подписал один из самых приближенных к Брежневу— министр гражданской авиации Борис Бугаев. Который, со слов Андропова, на одном из празднований дня рождения Брежнева, произнося тост за юбиляра, не удосужился заглянуть в толковый словарь и впервые назвал его не «генеральным», а «гениальным» секретарем и при этом не поперхнулся. Впоследствии, гениальным его называли все, включая ныне здравствующих.

Мужество летчика было вознаграждено: он стал маршалом авиации и получил очередную Золотую Звезду Героя.

В ходе подготовки к визиту встал вопрос: какое внимание должен генеральный секретарь уделить оппозиции? Наиболее проблематичной и вызвавшей максимум разногласий, оказалась идея его встречи со Штраусом. В те годы в Советском Союзе Штрауса воспринимали лишь как «поджигателя войны». Иных эпитетов он ни в периодических изданиях, ни в политической литературе ни разу удостоен не был.

Мнение советского посольства, советских внешнеполитических ведомств и индивидуальные воззрения экспертов-германистов далеко разошлись.

Одни считали встречу вполне допустимой, другие убеждали, что она совершенно непозволительна, и лишь немногие считали, что каждый дальновидный политик, нанося визит в страну, встречается не только с теми, кто правит ею сегодня, но и с теми, кто может встать «у руля» завтра.

Брежнев попросил нас выяснить мнение Брандта на этот счет, и был искренне удивлен, узнав, что канцлер с энтузиазмом высказался в пользу такой встречи.

Подобная открытость и непредвзятость в подходе были для Брежнева столь непривычными и удивительными, что надолго повергли его в размышления. Из этого состояния генсека вывела одна небольшая деталь. Она же, вполне возможно, послужила и той последней каплей, которая окончательно перевесила чашу весов в пользу встречи со Штраусом.

Однажды, выступая перед избирателями, Эгон Бар следующим образом охарактеризовал баварского лидера:

«Штраус представляет собой мощную атомную электростанцию с предохранителями от сельского электродвижка».

Услышав это, Брежнев долго смеялся, после чего решительно заявил:

— Я должен повидать этого человека!

Сказано — сделано. Брежнев встречался со Штраусом не только в рамках первого своего визита, но и позже. И Штраус ни разу не разочаровал его.

Одна из таких встреч Брежневу особенно запомнилась, но о ней — несколько позже.

О том, как проходил визит Брежнева в Западную Германию поздней весной 1973 года и какое впечатление он произвел на немцев, написано и рассказано немало. Здесь интереснее рассказать о том, какое впечатление на Брежнева произвела страна и люди, с которыми ему довелось встречаться.

22 мая Брежнев, завершая визит, во второй раз прослушал советский и немецкий гимны, стоя на летном поле аэропорта Кельн-Бонн, попрощался с канцлерской четой и всеми, кто явился для проводов, после чего вылетел в Москву, преисполненный самых положительных впечатлений.

Члены его семьи и люди из близкого окружения не раз вспоминали потом, что такого приподнятого настроения он никогда не привозил прежде из поездки за рубеж. Позже сам Брежнев так часто возвращался к эпизодам этой поездки, что рассказы эти поневоле со временем стали напоминать заезженную грампластинку с бесконечными повторами.

Любопытно, что привычных восторгов по поводу совершенства автострад, автомобилей и уютного достатка хорошо организованной жизни в его историях было очень мало. Куда больше его увлекали люди.

Брежнев отнюдь не был гением, как это утверждали в обмен на блага и звезды авиационные маршалы, не был он даже и выдающимся организатором, в чем его убеждали те, кто был чуть попорядочнее первых. Но было у него одно достойное качество, которое никто не хотел замечать: Брежнев был от природы наделен даром хорошо разбираться в людях. Благодаря ему он пришел к власти, благодаря ему же и удерживал ее до самой смерти.

В Германии на него наибольшее впечатление произвели три лидера: Брандт, Шмидт и Штраус. Брандта он назвал «благородным политиком», не способным на предательство, «которого, однако, легко предадут другие». С точки зрения Брежнева, опытного партийного руководителя, пришедшего к власти при помощи искусно построенной закулисной интриги, это была уничтожающая партийная характеристика политическому деятелю, к человеческим качествам которого он относился с величайшей симпатией.

В принципе же, тогда это высказывание прозвучало почти как пророчество Христа, вызвавшее лишь снисходительные улыбки, в том числе и у Андропова.

Ровно год спустя, когда преданный Венером Брандт был вынужден уйти в отставку, Андропов, желая утешить тяжело

переживавшего это событие Генерального секретаря, напомнил ему сказанные им слова.

Брежнев не удивился собственной прозорливости. Однако, пребывая в подавленном настроении, вместо благодарности за подтверждение его мудрости, судя по рассказу Андропова, сделал ему серьезный упрек: «Нужно было помочь Брандту как следует разобраться в ситуации, раз уж мы располагали информацией о его окружении». С канцлером Г. Шмидтом Брежнева очень сближал тот факт, что они оба были ветеранами Второй мировой войны. Брежнев, конечно, и близко не сыграл в ней той роли, которую ему приписали позднее биографы, но он действительно прошел ее до конца, и как у каждого человека с подобной судьбой война оставила в его душе свой след навсегда.

Политическая и человеческая мотивации позиции Гельмута Шмидта, совсем молодым человеком участвовавшим в тяжелейшей кампании против России, были ему понятны. Брежнев рассказывал, в частности, что как-то в разговоре Шмидт гипотетически предположил, что он и Брежнев могли стрелять друг в друга. Мысль о том, что Генеральный секретарь ЦК КПСС мог стрелять в канцлера ФРГ, либо быть застреленным его пулей, настолько поразила Брежнева, что, по его признанию, он готов был расплакаться от отчаяния.

Особенно же часто в рассказах о визите в Германию Брежнев возвращался к своей встрече со Штраусом. И всякий раз, как это часто происходит с пожилыми людьми, история дополнялась новыми красками и подробностями, хотя суть оставалась неизменно. Уже сформировавшаяся версия в последних пересказах Брежнева выглядела примерно так.

Во время одной из встреч по окончании деловой части разговора, Брежнев и Штраус вышли на улицу, и тут баварец, как бы на прощанье сказал:

— Господин Генеральный секретарь, может быть, я не слишком хороший политик, поскольку часто был близок к цели, но ни разу ее не достиг, оставаясь вечно вторым. Но, поверьте, я неплохой историк, а потому вот о чем хочу вам напомнить: в те времена, когда Россия и Германия были вместе, в Европе неизменно царили мир и порядок. Стоило им вступить в междоусобицу, и в Европе начинался полный хаос. Так было и так будет.

Брежнев, наоборот, был удачливым политиком и никудышным историком. Потому даже столь популярно-поверхностный анализ российско-германских отношений потряс его воображение. Это высказывание Штрауса он позже цитировал много раз по разным поводам и в первую очередь как

подтверждение верности выбранного им курса на сближение СССР и ФРГ.

Внутриполитический резонанс визита Брежнева в ФРГ свелся к развертыванию новой кампании его возвеличивания у нас в стране. Соперничество льстецов, как известно, не знает границ, а потому чаще всего приводит к абсурду.

В окружении Брежнева были люди, которые в силу обязанностей либо добровольно занимались подсчетом того, кто и сколько раз в своей речи поминал — понятно, комплиментарно — имя Генерального секретаря. После чего составлялась сравнительно-статистическая таблица, по которой можно было, опираясь на цифры, судить о степени верноподданничества.

Все высокопоставленные чины прекрасно осознавали комичность своего положения, однако выступать против или подсмеиваться над чудачествами и слабостями стареющего автократа позволяли себе немногие, да и то лишь наедине с собой и к тому же негромко…

Андропов не был исключением, и его несогласие находило выход в лучшем случае в форме косвенного недовольства некоторыми существовавшими при Брежневе порядками.

Аскет по натуре и образу жизни, он никак не мог, например, смириться с распространившимся при Брежневе ритуалом мужских затяжных поцелуев в губы при официальных встречах и проводах.

Однако все это не выходило за рамки брюзжания в кругу доверенных людей — и не больше.

Андропов мог рекомендовать Брежневу изменить внешнеполитический курс в отношении Америки, Германии, даже Израиля, но и он никогда не осмелился бы советовать ему отменить целовальную процедуру. Поцелуи — несомненно область интимная и вторгаться в нее не было разрешено никому. На сей раз, однако, судьба не осталась безразличной к привычному для политиков расхождению между словом и делом.

Мне довелось быть свидетелем, как она наказала Андропова за это дважды в один вечер.

Если бы судьба всегда была так бдительна, по крайней мере к тем, кто нами правит, мир наверняка выглядел много лучше, чем сегодня.

А дело было так.

Однажды перед очередной моей поездкой в Германию Андропов пожелал обсудить со мной ряд проблем, связанных с ФРГ, причем местом встречи на сей раз он выбрал не кабинет, а служебную квартиру, что случалось крайне редко.

Я прибыл за 5 минут до назначенного времени. Хозяйка любезно пригласила меня в гостиную и сообщила, что «сейчас позвонили из машины и просили передать «гостю», что Юрий Владимирович несколько задерживается в аэропорту Внуково-2, где встречает делегацию. Чтобы не было скучно коротать время, хозяйка предложила мне кресло, принесла чай и включила телевизор.

То было время, когда в Москву по разным юбилейным поводам регулярно слетались руководители братских компартий, и каждому члену Политбюро предписывалось встречать тех, с кем он ранее или в настоящее время поддерживал наиболее тесные отношения. Именно по этой логике Андропову всегда выпадали руководители соцстран.

Если память мне не изменяет, в тот вечер в Москву прибыл глава правительственной делегации Монголии. Андропов приехал минут через 30. По голосу, донесшемуся из прихожей, уже было ясно, что хозяин находится в дурном настроении и не собирается скрывать причин, выведших его из себя. Едва мы поздоровались, как он, еще стоя, разразился длинной тирадой.

— Это же надо себе представить! Выходит из самолета совершенно больной человек, из носу капает, глаза слезятся, весь в поту, и тут же целоваться лезет! Ну, извинись, скажи, что болен… Да и вообще, за каким дьяволом нужно мужчинам лобызать друг друга! За всю жизнь я не перецеловал столько женщин, сколько за эти дни мужиков. Вот уж поистине отвратительное зрелище…

Заговорили о деле, и Андропов невольно отключился от раздражавшей его темы, а когда подали чай, даже пошутил по поводу щедрости хозяйки, не пожалевшей для него сахара. Но тут-то все и произошло.

За чаем, как всегда ровно в 21 час последовали телевизионные новости, первой темой которых был приезд в Москву представителей братских коммунистических партий и встреча с некоторыми из них Генерального секретаря ЦК КПСС. Сюжет был не нов, но всегда торжественен. В золоченом кремлевском зале послушно, как пионеры, выстроились в одну шеренгу члены Политбюро. В этом варианте Андропову не за кого было спрятаться, хотя и удалось значительно сместиться вправо от почетной середины.

Но вот Брежнев двинулся вдоль шеренги навстречу гостю, который оказался проворнее хозяина, вследствие чего встреча их произошла не в центре, как запланировано, а правее, и по иронии судьбы прямо перед Андроповым. Руководители замерли в объятиях друг друга. Там же замерли и телекамеры, невыносимо

долго держа картинку с бесконечным театральным поцелуем. И все это на фоне счастливо улыбающегося и непрерывно аплодирующего Андропова.

Присутствие двух Андроповых— скептически осуждающего и лучезарно-аплодирующего по одному и тому же поводу — было слишком для одной гостиной.

— Черт знает что, — не выдержал он, встал и выдернул вилку телевизора из розетки. Наступила тягостная пауза. Мы с трудом завершили деловую часть разговора и скоро разошлись. Андропов уезжал в еще более подавленном настроении, чем прибыл.

Второе наказание последовало через три дня, когда он слег с тяжелейшим гриппом, из которого долго и не без потерь мучительно выкарабкивался.

Выключить телевизор и заразиться гриппом — вот все, что в ту пору мог позволить себе человек, которому предстояло сменить Брежнева на посту главы государства.

Герберт фон Караян вместо железного креста

Мир склонен периодически впадать в полосу тотального недоверия. Тогда любимым занятием людей становится подозревать друг друга в неверности и измене.

Из истории видно, что в России это увлечение порой приобретало эпидемический характер, и наступал момент, когда подозрительность становилась нормой. Человек никого ни в чем не подозревавший выглядел почти калекой с атрофией какого-то важного органа.

Очутившись в поле высокого политического притяжения между СССР и ФРГ, трудно было строить иллюзии, что эта полоса каким-то чудом минует нас. Более того, шансов быть заподозренным одной стороной было значительно меньше, чем несколькими сразу.

Нельзя сказать, чтобы это очень угнетало, но уж наверняка не слишком вдохновляло. Ошибка вкралась в расчет времени. Все произошло быстрее, чем можно было предполагать.

Однажды июльским днем 1973 года, подъезжая к предоставленной в наше распоряжение вилле в Карлсхорсте, я ощутил неприятную вибрацию руля машины. Доехав-таки до ворот, я убедился, что мои опасения не напрасны: переднее колесо было спущено. Причин для расстройства было достаточно, ведь вечером предстояла поездка в аэропорт за Лед-невым, а смена колеса — процедура не из приятных. Я стоял и, не мигая, сверлил колесо взглядом, словно от этого оно могло вновь наполниться воздухом.

Довести сеанс гипноза до конца не удалось, так как над ухом раздался мужской баритон, окликнувший меня по имени-отчеству.

— Не сокрушайтесь так по поводу постигшего вас несчастья, дело вполне поправимо. — Немолодой мужчина в летней рубашке с короткими рукавами сочувственно улыбался. — Вы, конечно, меня не помните?

Кто откажется от знакомства в столь критический момент?

Минут через пятнадцать, поменяв колесо и отмыв руки в большом количестве черно-мыльной пены, мы сидели за столом. Выяснилось, что мой спаситель, во-первых, много и с удовольствием пьет, а во-вторых, что он прежде работал в Управлении радиосвязи Генерального штаба и дважды сдавал мне экзамен по немецкому языку. К счастью, в обоих случаях я был

благосклонен и положительно оценил его знания, что открыло для него перспективу скорого выезда за границу и получения десятипроцентной надбавки к месячному окладу.

Таким образом, его усилия по смене колеса были оплачены как бы вперед и что немаловажно — из государственной казны.

— А здесь чем занимаетесь? — поинтересовался я.

— Да вот тут недалеко, — неопределенно махнул он рукой в сторону окна. — На радиоперехвате, прослушиваю Западный Берлин. Американцы, англичане, немцы — все там суетятся, а мы здесь эту суету фиксируем и анализируем.

Например, когда вы с вашим приятелем отсюда в западный сектор направляетесь, там в эфире начинается прямо-таки настоящая истерика! Все службы буквально из штанов выпрыгивают. Мы тут анализируем, чем это вы такой интерес к себе приковали?

— А откуда вы знаете, когда мы с приятелем выезжаем в западный сектор?

— Так для этого не только уши, но и глаза существуют. Нам сообщают, когда вы через стену проехали и когда вернулись, если вообще вернулись, — он подмигнул мне сразу обоими глазами.

По дороге из аэропорта мы с Ледневым заехали поужинать.

В небольшом итальянском ресторанчике мы уютно разместились за столиком рядом с открытой кухней, где на виду у публики демонстрировали свое волшебство два повара-итальянца. Никто не проявлял к нам интереса более, чем мы того заслуживали. Исключение составлял совсем юный черноволосый официант. Приняв заказ, он использовал любой повод, чтобы подольше задерживаться около нас, прислушиваясь к нашему разговору. Из-за отсутствия опыта юноша действовал непрофессионально, неумело скрывая проявляемый к нам интерес. После дневного разговора с радистом нетрудно было себе представить что творится в эфире, если официант готов пожертвовать своим ухом, положив его вместе с бифштексом на тарелку.

И все же напряжению не было суждено достигнуть кульминации.

— Простите, я с удовольствием услышал родную речь, — смущаясь, заговорил по-русски с сильным еврейско-украинским акцентом черноволосый юноша. — Четыре года как мы с дедушкой и папой переехали жить сюда из Черновиц.

Далее он коротко поведал нам трогательную историю о трудностях адаптации к немецкой жизни еврейского ребенка из Советской Украины, где у него остались дорогие сердцу школьные друзья и любимая девушка.

Рассказ юноши был настолько искренним и трогательным, что я почувствовал угрызение совести за то, что заподозрил его в чем-то дурном. Прощаясь, мы от души пожелали ему удачи в новой жизни. По поводу встречи со своим бывшим сослуживцем по Генштабу я пока Валерию не рассказывал. Было желание сначала самому разобраться, а кроме того не хотелось портить лучезарное настроение, привезенное им из Бонна.

Основанием для энтузиазма явилась дошедшая до него информация о том, что канцлер Брандт после получения Нобелевской премии мира склоняется к тому, чтобы отметить заслуги Лате, Леднева и мои в деле установления качественно новых отношений между нашими странами государственными наградами ФРГ.

Валерия распирало от гордости и нетерпения. Он постоянно выпячивал грудь, примеряясь к заслуженной награде.

Необыкновенная любовь к знакам отличия, званиям и значкам очень сближала его с нашим Генеральным секретарем. Как человек военный, я вовсе не был против декорирования одежды орденами, хотя не без чувства смятения представлял свое появление в здании КГБ на Лубянке в генеральской форме и с железным крестом на груди. Но в тот день меня больше занимала другая проблема — из головы не выходила встреча с моим бывшим экзаменуемым из Генерального штаба.

То, что за нами могли приглядывать в ФРГ и Западном Берлине, вполне укладывалось в существовавшие рамки «прохладных» отношений Запада с Востоком в период «холодных войн» и представление непрофессионального руководителя советской госбезопасности о том, что нам не удастся остаться «невидимками», курсируя систематически между Германией и СССР.

Несколько сложнее обстояло дело со «своими». Мысль о том, что и они не безразличны к нам, возникала у меня неоднократно по разным поводам. Более конкретно размышлять по этому поводу помог небольшой эпизод.

Несколько дней спустя, накануне очередного приезда в Берлин, Бар сообщил по телефону, что «везет нам большую радость». Утром, в день приезда Бара, Леднев, к которому в Берлин пожаловали его жена и дочь, сделал заявление, согласно которому Железный крест наиболее эффектно выглядит на желтоватом фоне, в связи с чем он уже присмотрел в магазине соответствующего цвета костюм, который и был тут же выкуплен по не очень высокой цене.

А вечером была вскрыта шкатулка с ожидавшим нас сюрпризом. Четверо русских и западногерманский министр с

женой стали участниками грандиозного события — выступления гениального дирижера Герберта фон Караяна в Берлинской филармонии. Дирижер превзошел ожидания. Исполнение было прекрасным.

В кругу своих домочадцев Валерий выглядел великолепно в новом, отливавшем желтизной костюме.

После концерта и китайского ресторана все разъехались: министр направился в свой особняк, чета Ледневых осталась ночевать в западноберлинском отеле, я поехал в Карлсхорст.

Подходя к вилле, я заметил метнувшуюся у входа в сад тень.

— Вячеслав Иванович, куда вы запропастились? Вас Москва с утра требует на провод. Мы сбились с ног, разыскиваем вас целый день, прочесали все магазины, кино и рестораны в Западном Берлине, которые вы обычно посещаете. Вы как провалились!

— Мы в филармонии были, — извинился я.

— В филармонии? Ну кто же мог до этого догадаться? Вы никогда туда не ходили!

— Верно. — Мне стало стыдно за свой образ жизни, и я решил успокоить парня. — Да вы не волнуйтесь, я утром все улажу.

— Уладите?.. — с надеждой глянул он на меня.

Я утвердительно кивнул головой. Бедняга находился в глупейшем положении, в которое его ставила система, работавшая по принципу «доверяй, но проверяй».

Похоже, что западные «соглядатаи» руководствовались другим паролем, но действовали в том же направлении.

На следующее утро, едва въехав в Западный Берлин, мы без труда заметили два автомобиля «сопровождения», укомплектованные тремя молодыми людьми и одной дамой. Эскорт не оставлял нас без внимания в течение всего дня. На другой день все повторилось сначала, а потом это стало правилом без исключений. Порою число сопровождавших нас машин доходило до трех. Держались они неизменно на небольшом расстоянии, ловко сокращая его до минимума, если мы заходили на почту или в телефонную будку.

Лица были одни и те же, к ним мы привыкли, а потому сразу замечали появление новых. Номера автомобилей менялись довольно часто, марки машин — реже. «Почерк» же работы оставался неизменным.

Поначалу мы надеялись, что не обнаружив в наших действиях ничего предосудительного, нас оставят в покое, может, даже извинятся. Этого, однако, не произошло. Шли месяцы, а знакомые лица в зеркале заднего обзора неустанно бдили.

Жизнь под посторонним взглядом становилась не в радость.

Тогда мы решили постоять за себя: составив описание наших преследователей, перечень автомашин с указанием их марок и сменных номерных знаков, мы вручили список с просьбой защитить наши права человека и «вернуть нам свободу» Уполномоченному по Западному Берлину.

Работа, надо сказать, нами была проделана достаточно трудоемкая. Ясно было лишь одно: чем полнее и правдивее будет представленный нами список, тем больше шансов на успех получит задуманный нами демарш.

Эгон Бар, взяв из наших рук тщательно выверенный список преследователей, вовсе не стал драматизировать ситуацию, а, выслушав рассказ и прочитав представленную нами бумагу, сунул ее в портфель со словами:

— В Западном Берлине нелегко понять, кто за кем и почему следит. В данном случае, я полагаю, это наши союзники. Но вы мои гости, и я сделаю все, чтобы вас оставили в покое.

Следующий приезд в Берлин окончательно убедил нас в том, что на Западе существует-таки свобода. Мы вновь почувствовали себя в приятном одиночестве, которое не было нарушено в течение нескольких последующих лет. До определенного момента.

О перипетиях со слежкой за нами я рассказал Андропову только после того, как инцидент был исчерпан. Из всей истории его почему-то больше всего заинтересовала оброненная Баром фраза: в Берлине трудно разобраться, кто за кем и с какой целью следит. Мне показалось, что все рассказанное было для него ново не более, чем наполовину, да и то на меньшую.

И тем не менее он задумался. Затем поменял позу в кресле и перевел взгляд с меня на верхнюю часть окна, где виднелся обрамленный в оконную раму кусок серовато-дождливого неба. Было видно, как обычно исправно и быстро работавший мозг напрягся, предлагая различные решения, которые он одно за другим отбрасывал. Наконец выкристаллизовалось что-то приемлемое, потому что он вернулся к исходному положению в кресле.

— Мне кажется, настало время как-то отрегулировать вопрос отношения между нами и руководством ФРГ с немецкими друзьями. Естественно, я имею в виду лишь форму, а не содержание.

— Как выяснилось, история эта не имеет отношения к немецким друзьям, а скорее к нашим бывшим союзникам, — попробовал уточнить я.

Он пропустил сказанное мимо ушей и продолжил:

— Насколько я осведомлен, у немецких друзей неплохие

информационные возможности в ФРГ, а еще лучше в Западном Берлине.

Естественно, люди Мильке фиксируют ваши контакты с западными немцами и проявляют по этому поводу понятную нервозность, предполагая самое худшее, то есть что мы плетем за их спиной какие-то интриги. Вот эти необоснованные подозрения сегодня надо было бы снять.

Он вновь сменил позу, глянул в окно и видимо под влиянием сгущавшихся там туч продолжил:

— Надо прислушаться к словам Бара: в Западном Берлине действительно не разберешь, кто против кого и по какой причине интригует. А в результате — стукнут тебя по голове чем-то тяжелым, сунут в мешок, а потом все дружно укажут пальцем друг на друга.

В результате его предложение сводилось к тому, чтобы я вместе с представителем советской госбезопасности в ГДР нанес несколько визитов к Мильке и объяснил ему лично, что наше общение с западными немцами ни с какой стороны не затрагивает интересов ГДР и преследует лишь цель разрешения сугубо двусторонних проблем между СССР и ФРГ.

В заключение Андропов попросил меня хорошенько подготовиться, по крайней мере, к первой встрече, сказав, что позже сообщит о сроках, когда она должна состояться и одновременно даст указания в Восточный Берлин.

Лучшего консультанта для подготовки визита к Мильке, чем Фадейкин я себе представить не мог и поэтому зачастил к нему, используя каждый удобный момент пребывания в Восточном Берлине. Несмотря на то что генерал пребывал последнее время преимущественно в плохом настроении, моих надежд он не обманул, выделив достаточно времени, чтобы просветить меня в дворцовых хитросплетениях восточногерманского руководства. Порой приходилось лишь удивляться, насколько хорошо он был осведомлен в этом вопросе.

— А как Москва реагирует на эту информацию? — поинтересовался я однажды.

— Никак, — усмехнулся он. — Москва постоянно требует, чтобы я не втягивал ее в местные интриги. Пусть немецкие друзья разбираются сами. Вот когда здесь рванет как в Венгрии или Чехословакии, тогда будут спрашивать, почему вовремя не информировали? Немцы, как ты знаешь, народ серьезный и заряд заложат посолиднее, чем чехи или венгры. А судя по всему, дело идет к этому.

Что касается Мильке, то Фадейкин вполне мог быть его биографом.

Он хорошо его знал и, как мне казалось, искренне и с удовольствием о нем рассказывал. Многое приходилось слышать от других, но из уст Фадейкина все сказанное выглядело особенно убедительно.

В Москве, в кругах, близких к госбезопасности, Мильке слыл человеком-легендой. Совсем молодым он активно боролся против прихода фашизма в Германии. Рассказывали, что позже он сражался в рядах республиканской армии с Франко, во время Второй мировой войны участвовал в сопротивлении. В результате объединения легенд с личностью Мильке и солидным постом, занимаемым им в ГДР, получалась колоритная фигура непреклонного идейного борца-интернационалиста, которую в школах КГБ выставляли перед молодыми офицерами как образец для подражания.

Фадейкин добавлял к этому несколько схематичному образу определенные человеческие черты. Он с большим уважением рассказывал, например, о том, что всякий раз, когда Мильке приезжал в Москву, он непременно посещал могилы своих покойных советских коллег, с которыми вместе работал. А также в обязательном порядке навещал их живых вдов и прежде всего тех из них, чьи мужья на исходе жизни попали в немилость. Учитывая трагическое положение отвергнутых, Мильке, по словам Фадейкина, многих из жен длительное время поддерживал материально.

Общение даже с мертвыми опальными душами всегда расценивалось часто сменявшимися руководителями государственной безопасности как проявление неблагонадежности. Мильке знал это, но ничего не менял в своем поведении, добавляя к своему положительному образу еще и черты независимо мыслящего человека.

Судя по всему, Мильке держался достаточно независимо и по отношению к восточногерманским руководителям. Правда, как говорили, в основном за счет того, что в сейфе у него лежали на некоторых из них компрометирующие материалы, и они об этом догадывались.

В беседах с Фадейкиным неоднократно возникала тема несогласия Мильке с Хонеккером. Дело, по словам Фадейкина, доходило до того, что Мильке в разговоре с ним высказал однажды готовность открыто выступить против диктаторских замашек Хонеккера, если, конечно, Москва поддержит его. От себя Фадейкин, улыбаясь, добавил, что для такого шага у Мильке были не только «аргументы, но и документы».

Москва Мильке не поддержала. Андропов через своего заместителя посоветовал Фадейкину не вмешиваться в интриги

«немецких друзей».

Надо сказать, что осуждал своего партийного секретаря Мильке не только с политической точки зрения, но часто и с морально-этической, особенно когда это касалось непосредственно его службы.

Случилось так, что однажды Хонеккер нарушил железное правило, гласящее, что адюльтера с супругой стоматолога, у которого лечишь зубы, следует избегать. Он однако позволил себе флирт с одной из пользовавших его врачих, муж которой состоял его телохранителем. По мере улучшения состояния здоровья самого руководителя СЕПГ, поступательно шло движение вверх по служебной лестнице и супруга его исцелительницы.

Несомненно, процесс этот развивался бы и дальше, если бы вдруг дело не обернулось таким образом, что под угрозой оказалось не только здоровье главы партии и государства, но и сама его жизнь.

На определенном этапе лечения Хонеккер понял, что муж может неверно истолковать суть терапевтического метода, применяемого его супругой к своему высокопоставленному пациенту, а потому обратился к Мильке с просьбой найти предлог, чтобы лишить охранника права носить личное оружие. Понятно, что с одним телохранителем такое проделать нельзя. И для руководителя государственной безопасности это означало отдать приказ разоружить всю охрану первого человека в государстве.

Свой справедливый гнев по адресу Хонеккера Мильке вложил в прочувственный монолог.

— Как теперь прикажете инструктировать охрану? Защищайте первого секретаря партии палками!

От смешного до смешного еще ближе, чем от великого. В другой раз пришла пора возмущаться уже Фадейкину.

Кто застрелил Эрика?

Однажды в моем присутствии ему позвонил Мильке или, возможно, кто-то из его окружения и передал личную просьбу Хонеккера найти и строго наказать советских военнослужащих, подстреливших в лесах Бранденбурга именно того кабана, которого длительное время пестовали и кормили для охотничьих утех «самого». Я был свидетелем того, как, проклиная все на свете в выражениях новых даже для меня, Фадейкин обзванивал одного за другим командиров воинских подразделений, силясь пролить свет на это драматическое происшествие.

Неописуемы были счастье и торжество Фадейкина, выяснившего в результате профессионально проведенного расследования, что кабан-таки сам оказался виновником происшедшей трагедии. А дело было так.

С давних пор кабан взял в привычку еженощно вырываться за пределы своего элитарного обиталища и, преодолев солидное расстояние, а также серьезные препятствия, включая заграждения из колючей проволоки, прибегал регулярно на задворки кухни в расположении советской воинской части.

Закончив трапезу, он на рассвете проделывал обратный путь, и в течение дня беззастенчиво пользовался привилегированной кабаньей столовой охотничьих угодий руководства СЕПГ. Усиленное питание и продолжительные ночные марш-броски позволили кабану достичь почти совершенной физической формы, что, в свою очередь, обратило на него внимание высокопоставленных егерей. Он был занесен в почетный список зверей, уготованных для отстрела начальством ГДР.

Бойцы советской воинской части поначалу искренне возмущались наглостью дикой свиньи, что ни ночь подкапывавшей возведенные ими проволочные заграждения. Позже, однако свыклись, как свыкается всякий русский с привычным злом, и дали наглецу кличку «Эрик», словно бы признавая легитимность его поступков и подчеркивая его исключительность, как выходца из правительственного заповедника. Скоро к нему все привыкли, и сердобольные поварихи стали регулярно оставлять упитанному зверю все не съеденное солдатами в течение дня.

Идиллию испортил бестолковый новобранец. Дело в том, что как раз в то время участились случаи проникновения в расположение советских воинских частей непонятных визитеров, то ли разведчиков под видом журналистов, то ли наоборот, старавшихся разглядеть, что за техника находится под чехлами.

Так или иначе, солдат неустанно призывали всемерно усиливать бдительность.

Вот и новобранец, впервые заступивший на караульную службу и мысленно повторявший наставления младших офицеров, вскоре заметил лазутчика. Тот, несмотря на уставные окрики караульного, завершив подкоп заграждений из колючей проволоки, начал продвижение в глубь территории воинской части. Часовой окрикнул вторично. Безрезультатно. Молодому солдату и в голову не могло прийти, что нарушитель может не понимать по-русски. Он выстрелил, промахнулся. Не готовый к такому недружелюбному приему кабан бросился наутек, но было поздно. Вторая пуля настигла его уже за забором.

Сточки зрения политической, «Эрик» был, несомненно, причислен к жертвам холодной войны. Сточки зрения военной — действия солдата-новобранца были оправданы.

Военные юристы дали разъяснение по поводу того, что немецкая сторона может претендовать лишь на полтуши, так как в откармливании животного принимали участие две стороны.

С самого начала нашего общения с Фадейкиным в Берлине я передал ему разговор с Андроповым и его рекомендации относительно посещения Мильке. Теперь каждый раз, едва войдя в его кабинет, я непременно спрашивал, не поступила ли команда о начале нашего визита. Наконец хозяину эта неопределенность надоела: «Успокойся ты, пожалуйста. Пока я здесь, этого распоряжения не поступит».

Генерал знал, что говорил. Указание пришло много позже, когда на его месте уже довольно хорошо освоился генерал Шумилов, человек очень разумный, интеллигентный и симпатичный, из бывших ленинградских партийных работников.

Ясным солнечным утром шумная «татра» подрулила к воротам виллы, где я провел ночь, и мы вместе какими-то окраинными улицами направились в ведомство Мильке.

Я знал, что в распоряжении Шумилова находились как минимум два солидных «мерседеса», и полюбопытствовал, отчего же мы в «татре» едем к столь высокорангированному официальному лицу. Усмехнувшись, Шумилов пояснил, что в «мерседесах» дозволено ездить по всяким частным делам, в гости, на охоту либо в сауну, а вот в официальных случаях, в соответствии с соцморалью позволительно выезжать лишь в автомобилях производства стран — членов СЭВ. В рамках официального протокола СЭВ представительской машиной была признана «татра».

Часовой на воротах ведомства Мильке сверил наши лица, номера автомашин и пропустил внутрь здания. Вернее сказать,

часовой сверил лишь фотографию на пропуске с лицом Шумилова, а я вполне вписался в рамки отметки «и с ним один человек».

Лифт в виде заимствованной из Москвы тридцатых годов непрерывно движущейся «ленты Карбюзье» поднял нас наверх. Небольшого роста очень подвижная женщина в приемной попросила нас немного подождать. Когда мы некоторое время спустя вошли в кабинет, то застали Мильке в прекрасном расположении духа, безоговорочно приняли извинения за задержку и приглашение сесть.

Задержка, как выяснилось, объяснялась чересчур дотошным обследованием в поликлинике, которое он именно в тот день завершил. Заразительно подсмеиваясь над кем-то, он пересказал нам врачебное заключение, в соответствии с которым пациент, то есть Мильке, несколько лет назад перешедший шестидесятилетний рубеж, вполне вписывался в рамки медстандартов, соответствующих мужчинам сорока пяти лет от роду.

Такая реклама заставила меня приглядеться внимательнее.

Мильке и впрямь выглядел моложаво. Хорошо сбитая, коренастая его приземистая крестьянская фигура, розовое, неотечное лицо выдавали человека подвижного, не склонного к перееданию или прочим излишествам. И все же, присмотревшись повнимательнее, можно было прийти к заключению, что поправка почти на двадцать лет была сделана министерским врачом скорее из желания сохранить свой пост, нежели из стремления быть верным клятве Гиппократа.

Тем не менее подобное медицинское заключение не могло не стать причиной душевного подъема для любого мужчины.

Пожаловался он лишь на одно досадное обстоятельство: подагру суставов. При этом Мильке протянул нам кисти обеих рук и с надеждой добавил, что теперь опухоль суставов научились разбивать при помощи электротока. Таким образом, можно надеяться, что в ближайшее время он избавится и от этого недуга и обретет форму, соответствующую представлениям о тридцатилетнем мужчине.

Непосредственность высокопоставленного хозяина в общении с незнакомыми и незнатными визитерами подчеркивает его демократичность, а потому подкупает. Не успела эта мысль пронестись в моей голове, как вошла секретарша и поставила на стол поднос с чаем, кофе и печеньем.

Это могло означать лишь одно: пора переходить к делу.

— Ну, что говорят о нас на Западе, товарищ…?

Я поспешил упредить министра и сам произнес свою

труднопроизносимую фамилию, желая избавить министра от досадной необходимости ее выговаривать.

— …всем ли там довольны, после того как мы пошли им на уступки в области упрощения межчеловеческих контактов? Или быстро привыкнут и к этому и вновь станут требовать от соцлагеря дальнейших уступок? Наверное, наседают, когда приезжают в Москву?

Изложив коротко ситуацию, сложившуюся после подписания Московских договоров, и оставаясь под впечатлением от тона, которым вопрос был задан, я рассказал о встречах Брандта и Брежнева в Москве, упомянув невзначай несколько полуинтимных моментов их общения.

Министр слушал рассеянно, поглядывая по сторонам и нетерпеливо постукивая пальцами по краю стола. Не было сомнений, что в отличие от своего русского коллеги он не умеет и не любит слушать, а предпочитает говорить сам. К тому же рассказ мой, видимо, не блистал информативностью, и министр жестом прервал поток красноречия, введя его в более конкретное русло. Он поинтересовался, какой особняк был отведен канцлеру в Москве, и тут же добавил, что любит Ленинские горы, откуда открывается прекрасная панорама Москвы. Его интересовало, какое впечатление на Громыко произвел тогдашний министр иностранных дел ФРГ Вальтер Шеель, при этом он заметил, что они совершенно разные по темпераменту люди, после чего Мильке принялся рассказывать о переговорах между ГДР и ФРГ относительно ослабления пограничного режима и о трудностях, возникающих при организации новых контрольно-пропускных пунктов.

— А как чувствует себя Эгон Бар? — неожиданно прервал он сам себя.

— Я виделся с ним недавно и, как мне показалось, состояние его здоровья не вызывает никакой тревоги.

Вопреки моему желанию, ответ приобрел несколько саркастический оттенок.

Мильке недобро усмехнулся.

— Вот что, товарищ… — Теперь он прочел мою фамилию по бумажке, лежавшей перед ним на столе. — То, что вы виделись с Баром на днях, мне доподлинно известно. И давайте договоримся о следующем: то, что вы систематически встречаетесь с западными немцами в Западном Берлине и ФРГ, я прекрасно знаю. Буду с вами откровенен, я знаю не только с кем, когда и где вы встречаетесь, я также знаю, о чем вы говорите и какими бумагами обмениваетесь, так что… Да и то сказать, подумайте сами: каков бы я был министр госбезопасности, если бы не ведал,

что происходит у меня под носом? — Мильке улыбнулся, но теперь уже добродушно. — Каждый должен делать свое дело хорошо. Вот и я стараюсь, чтобы мое начальство было мною довольно, не так ли? — адресовал он неожиданно вопрос сидевшему все это время молча Шумилову.

Тот без колебаний согласился.

— Все работа моя крайне проста: все знать, все видеть и все слышать — большего от меня никто не требует.

Мильке заразительно захохотал.

Столь концентрированное психологическое воздействие дало эффект. Хотелось каяться и в содеянном, и в том, о чем даже не помышлял.

И все же прием «признание облегчает наказание» более пристал следователю, чем министру.

Был тут и один довольно запутанный этический момент. Из престижно-профессиональных соображений он не мог себе позволить оставаться в неведении по поводу того, что у него происходило «под носом». Согласно существовавшей этике, однако, он не должен был осуществлять слежку за «друзьями», да еще действующими с благословения всемогущего Андропова. А потому нельзя не отдать должное изобретательности Мильке: он замешал в текст своего монолога желаемое, действительное и демагогию для связки, так что акценты могли расставляться в любом порядке.

С другой стороны, такая постановка вопроса очевидно упрощала мою задачу. Ведь если человек утверждает, что все знает, нет необходимости заставлять выслушивать уже известное ему еще раз.

Мне же тем самым предоставлялась возможность действовать аналогичным безотказным способом.

— Естественно, товарищ министр, — начал я изложение главной мысли, — никто не сомневается, что вы в курсе всех событий, а поэтому прекрасно знаете, что наши встречи не выходят за рамки советско-западногерманских отношений и ни с какой стороны интересов ГДР не затрагивают.

Это была сущая правда. Немецко-немецкие отношения никогда не были предметом специального обмена мнениями между нашими лидерами.

Тому было две причины. Во-первых, с самого начала Брандт и Бар дали понять, что эти отношения представляют собой интимную сферу, куда, как в будуар, не след вторгаться посторонним. Правда, должен констатировать, никто таких попыток и не делал.

Брежнева проблема немецко-немецких отношений никогда не

занимала. С другой стороны, в Москву буквально каждый день наведывались партийно-правительственные чиновники ГДР различных рангов, каждый из которых, соответственно рангу и должности, спешил проинформировать своего московского коллегу о том, что и как у них происходит, в том числе и в отношениях с западными немцами. Таким образом, информации на эту тему в Москве имелось более чем достаточно.

На определенном этапе подобная информация стала вызывать у Андропова аллергическую реакцию. Закончилось дело тем, что он бросил как-то в лицо подчиненным, явившимся с подобного рода «информацией»: «Займитесь же делом, а не сбором сплетен!»

У нас эта тема прозвучала лишь однажды, да и то не по нашей инициативе.

Как-то раз мы увиделись с Баром вскоре после того, как он вернулся из Восточного Берлина, после встречи с руководством ГДР. Бар бросил на стол газету и ткнул пальцем в колонку, которую, очевидно, нам следовало тут же прочесть. Публикация не радовала ни информативностью, ни литературным вкусом, и повышенное внимание к ней требовало комментариев. Они не замедлили последовать.

Дело заключалось в том, что ГДР в тот период испытывала сложности с обувью, которой катастрофически не хватало. Возник очередной «дефицит». Кто-то из ответственных руководителей, кажется, Миттаг, обратился к западным немцам с просьбой помочь. Западные братья тут же откликнулись.

Однако, когда вся партия обуви была поставлена, одна из восточногерманских газет напечатала отчет о том, что промышленность ГДР перевыполнила плановые задания и полностью обеспечила восточногерманское население обувью.

Нас, знавших пропагандистские трюки и похлеще, эта рядовая инсинуация не впечатлила. Бар же плавился от ярости.

— Как можно такое позволять! Вам сделали добро, ваши люди не останутся босыми. Так и скажите тихое спасибо! Или промолчите. Зачем же распространять громогласную ложь?!

Мы ведь за это никакой платы не требуем, как, впрочем, и за все остальное, например, за многие миллионы марок, которые мы предоставляем каждый год просто так, не требуя ничего обратно.

— А почему вы «просто так» отчисляете колоссальные суммы ГДР, а не, например, голодающим Абиссинии?

Нервно ходивший по комнате Бар вдруг остановился, растерянно-удивленно глянул на нас, словно я поинтересовался ни с того ни с сего, откуда берутся дети, выпрямился и сухо отрезал:

— Wir sind doch alle Deutsche! (Мы же все немцы!)

В конце своего проникновенного монолога я все же не удержался и решил забить гвоздь по самую шляпку.

— А во избежание каких-либо недопониманий, Юрий Владимирович поручил нам информировать вас лично по всем возникающим вопросам.

Надежда на то, что упоминание грозной фамилии Андропова обратит в бегство младшего по братству министра, оказалась тщетной.

Наоборот, имя это привело его в сильное возбуждение, он резко встал и прошелся по кабинету, громко приговаривая:

— Информировать, информировать! Терпеть не могу этой казенщины. Мы же друзья, должны вот так сидеть за столом и делиться идеями ради общего дела, а не информировать друг друга. У друзей должна быть в этом внутренняя потребность, общаться и откровенно разговаривать друг с другом. Откровенно!

Министр был прав: подозрительность, чаще всего необоснованная, была завезена нашими соотечественниками в Берлин из Москвы, и тут, словно инфекция, бурно распространилась, приобретая порой самые неожиданные формы.

Немного успокоившись, он вернулся на место.

— Пейте кофе.

Кофепитие немыслимо без сливок и светской беседы, которая у нас никак не складывалась. Министр это почувствовал и сделал последнюю попытку придать ей светский тон.

— Скажите, вы не в курсе того, как прошло шестидесятилетие Брандта?

Я был готов съязвить по поводу того, что не нашел себя в списке приглашенных гостей, но он не дождался моего ответа.

— В каком-то журнале, кажется, в «Шпигеле», была маленькая информация по поводу того, что ко дню рождения Вилли Брандта русские вручили ему свой традиционный подарок: большую банку черной икры. Это ваша акция?

Припертый ссылкой на солидный журнал, я признался. Но этого оказалось недостаточно.

— Это понятно. Меня интересует, чья это была инициатива — ваша или…

— Это был подарок Генерального секретаря КПСС Леонида Ильича Брежнева, — четко с артикулировал я, имитируя скрытую гордость своей близостью к интимным сторонам отношений людей высокостоящих.

Министр оказался меньшим подхалимом, чем его лекарь, и не стал изображать на лице восторга. Вместо этого он встал, давая понять, что аудиенция окончена.

— Мне было приятно познакомиться с вами, товарищ министр, — произнес я пустую светскую фразу, пожимая его руку.

— Да-да, конечно, — согласился он.

Возвращались мы молча. Громыхавший где-то сзади, в багажнике, мотор «татры» не располагал к обмену мнениями.

Не знаю, о чем думал мой спутник, но я был огорчен тем, что не пришелся по душе человеку, о котором за последнее время узнал столько интересного, а мог бы. С Мильке мне довелось встретиться и позже, но изменить его прохладное отношение к себе я так и не смог, о чем сегодня, много лет спустя, сожалею. Каждый человек сам по себе интересен, много повидавший и переживший — уникален.

Виктория

В один из морозных предновогодних дней уходящего, 1973, года я был вызван к шефу, которого застал стоящим за рабочим столом, как в тот памятный день выяснения отношений с Громыко. Щеки непривычно розовели, то ли от мороза, то ли от волнения. Поздоровавшись, он еще прошелся в полном молчании по кабинету, как всегда на прямых ногах и сильно раскачиваясь.

— Я только что вернулся от Леонида Ильича, — медленно заговорил он, опускаясь в кресло и указывая мне на стул.

Из дальнейшего рассказа выяснилось, что Брежнев и Андропов в течение нескольких часов подводили итоги четырехлетних усилий по стабилизации советско-западногерманских отношений.

Большую часть несомненных заслуг Брежнев приписывал «коллективному руководству», что в те времена означало — себе самому.

— Мы очень мудро поступили, что в 69-м году, вопреки мнению некоторых, пошли на этот смелый шаг, — резюмировал он. — И ты, Юра, был абсолютно прав, когда настоял на форсировании процесса. А главное, включился в него сам. Иначе дело растянулось бы на многие десятилетия, как переговоры с американцами по разоружению: шаг вперед, два назад, два вперед, три назад!.. И все это сопровождается шумом в конгрессе, в прессе. Президент— за, оппозиция — против, пустая говорильня! Разве в такой обстановке можно решить что-либо путное?

— Подвесить проблему и бесконечно долго мусолить ее — это как раз то, к чему сегодня стремятся американцы, — не преминул вставить Андропов.

К слову, Брежнев вспомнил, как в разговоре с ним Брандт в шутку позавидовал тому, что у Генерального секретаря отсутствует оппозиция. Канцлер пожаловался, что одну треть рабочего времени он тратит на уговоры партнеров по коалиции, две трети на урезонивание оппозиции.

— Ведь с оппозицией как получается! — увлеченно пересказывал Брежнев Брандта. — Не поставишь ее в известность — тут же припишут закулисный сговор, лучше всего с Москвой, проинформируешь — на другой день все будет в газетах! Кто после этого будет с тобой вести переговоры?

Возбужденный Андропов хотел как можно детальнее передать все только что происшедшее у Брежнева с тем, чтобы еще раз пережить приятные минуты. Несомненно, я был для него в этом

смысле оптимальным слушателем, стоявшим у истоков событий, о которых шло повествование.

— А ты знаешь, что самое интересное? Кто-то подбросил Леониду Ильичу заключение, сделанное самими западными немцами. Так вот, согласно их подсчетам, за время наших с ними переговоров в рамках «восточной политики» из министерства иностранных дел Германии утекло только в прессу более 60 информаций по поводу предварительного обмена мнениями, не подлежавших публикации.

Леонид Ильич справедливо заметил: «Какие могут быть переговоры с участием газет? Это же всенародное обсуждение!» Я полностью согласен. В данном случае образуется порочный круг: предположим, у Громыко информация не утекает, но зато вылезает на том конце, из МИДа Германии, а оттуда распространяется по всему миру. Кому от этого легче? Естественно, при таком хаосе и всемирном ажиотаже ни о чем путном договориться невозможно.

Леонид Ильич прямо сказал: «Я по твоему каналу почти пять лет напрямую и быстро с Брандтом все вопросы решаю. И никакой утечки. Не будь его, мы бы с немцами, как с американцами застряли бы на многие десятки лет.

Так что поздравь себя с прекрасной идеей, а ребят с отличной работой. И скажи, чтобы темпов не сбавляли».

Голос Андропова звенел от торжества, а лицо сияло. Возможно, это был самый светлый день в жизни шефа. Своими недвусмысленными оценками его деятельности Генеральный секретарь дал ему понять, что изнурительный марафон соперничества с Громыко закончился в его пользу.

Очень скоро признал это и сам Громыко, посторонившись и пропустив соперника вперед.

Укреплению положения Андропова в значительной степени содействовала реализация поддерживаемой им идеи переместить центр тяжести советской внешней политики из Америки в Европу.

В данном случае первостепенную роль сыграли не только его собственные убеждения, но и, в первую очередь, то, что он сумел убедить в своей правоте Брежнева.

С самого начала установления канала с немецким канцлером Генеральный секретарь понял, что передаваемую и получаемую информацию надежнее всего пропускать через голову Андропова, которую он считал более светлой, чем у остальных приближенных, да и у него самого. Человек, признающий чье-либо умственное превосходство, уже не дурак.

Андропову такая постановка вопроса давала серьезные преимущества перед остальными, обеспечивая ему постоянный

доступ к Генеральному секретарю и возможность еще более доверительного с ним общения.

И тем не менее, в планах Андропова это несомненно важное обстоятельство постепенно уступало место еще более значительному.

Наделенный от природы качествами, необходимыми для крупного политического лидера и готовясь встать во главе мировой державы, он еще будучи на вторых ролях уже серьезно обдумывал, какое место в хитросплетенных отношениях между Востоком и Западом должно быть отведено СССР и ему лично.

Конфронтацию и гонку вооружений он называл «азартными играми в игорных домах», принадлежащих ВПК: «В конечном счете все проигрывают, кроме хозяев».

Выход из порочного круга он видел в устранении недоверия между лидерами ведущих стран Востока и Запада. И как ни парадоксально, будучи человеком крайне недоверчивым, наибольшие надежды он возлагал на установление доверительных отношений между ними.

Исходя из этих соображений, Андропов соглашался на неофициальные встречи с влиятельными американскими политиками, сенаторами, которым, кстати, удалось хоть и незначительно, но все же развеять его недоверие к США. Много больший вклад по сравнению с именитыми американскими сенаторами сделал в этом направлении человек, известный лишь немногим — резидент советской разведки в США Дмитрий Якушкин.

Выходец из благородного дворянского русского рода, удивительно чистый человек, он долгие годы прожил в США и благодаря незаурядным способностям преуспел не столько в проникновении в американские государственные секреты, сколько в распознании главных политических сил, приводящих в движение гигантский американский государственный маховик.

Главное же, он сумел хорошенько разобраться в людях, стоящих у его пульта.

Андропов очень быстро понял, что именно это ему и нужно, и не жалел времени на встречи с резидентом, стремясь, как он говорил, «подпитаться американским духом из первых уст».

Будучи человеком не только чистых кровей, но и чистых помыслов, Якушкин не опускался до угодничества, малюя американскую картину черным, по моде того времени, но и не впадал в эйфорию по поводу американского образа жизни, как это происходит со многими сегодня. Он оставался сам и удерживал собеседника в рамках реальностей, часто неприятных. В этом он видел свою задачу, и это принесло полезные плоды.

Трудно быть категоричным, но мне кажется, что наиболее важными стали беседы Якушкина с Андроповым, относящиеся к началу восьмидесятых годов. Как раз в это время Громыко, раздраженный тем, что американцы затягивали с ратификацией договора ОСВ-2 и перспективой размещения американских ракет в Европе, начал активно убеждать Брежнева и членов Политбюро в том, что «ресурсы США тоже небезграничны» и что СССР нужно еще немного продержаться в противостоянии американцам, чтобы они пошли на более приемлемые для СССР условия переговоров.

Вопреки позиции Громыко, Якушкин использовал каждый свой приезд в Москву для того, чтобы доказать Андропову бессмысленность экономического, и тем более, военного противостояния США. Советский резидент убеждал своего шефа в том, что в Соединенных Штатах есть весьма солидные силы, способные препятствовать нагнетанию военной лихорадки в стране, но для этого СССР не должен помогать их оппонентам и отказаться от бряцания оружием, а также от своих «несгибаемых» позиций на переговорах. Необходимо рассеять страх простых американцев перед советской военной угрозой. Усилия резидента не прошли даром.

Используя среди прочего и его аргументацию, Андропов сумел удержать Л.Брежнева от углубления конфронтации с США и Германией в тот самый острый момент, когда в НАТО принимались Брюссельские решения 1979 года «о довооружении», а в голосе некоторых членов Политбюро зазвучали весьма воинственные нотки. Правда, и эту акцию он провел по-андроповски. Не выступив на Политбюро с критикой предложенной Громыко жесткой формулировки, исключающей возможность ведения дальнейших переговоров в случае положительного решения вопроса о довооружении, он даже проголосовал за нее. Однако, выждав некоторое время он направился к Брежневу и изложил свою точку зрения, согласно которой в дипломатии вообще недопустима постановка вопроса «или-или», чем совсем не улучшил и без того незавидное положение, в котором находился Громыко.

«Наш резидент постоянно склоняет меня к сотрудничеству с американской администрацией», — пошутил Андропов как-то после встречи с Якушкиным.

Что же касается самого Якушкина, то и здесь не обошлось без парадокса. Как раз в то время, когда резидент склонял своего шефа в сторону более лояльного отношения к США, американские спецслужбы готовились к тому, чтобы склонить самого Якушкина к сотрудничеству с ними. Словно в упрек утвердившейся сегодня в России морали, согласно которой любые

ценности легко пересчитываются на доллары, итальянская газета «Ла Стампа» опубликовала отрывки из книги американского автора Рональда Кесслера «Внутри ЦРУ». На страницах 21 и 22 автор рассказал о предложении ЦРУ (на деле — ФБР) убедить резидента советской разведки в США Дмитрия Якушкина работать на них. За согласие перейти в противоположный лагерь ему выделялось 20 млн. долларов. Предложение он отверг.

Появление книги Кесслера в Москве имело для Якушкина неожиданные последствия. Связанные с его именем отрывки из книги перепечатали русские газеты, о нем вспомнили и спустя десять лет после его отставки наградили медалью «За службу в разведке». В Российском телеграфном агентстве ИТАР-ТАСС, где все последние годы Якушкин работал обозревателем, представители старшего поколения восприняли эти события с пиететом к герою, младшего — с недоумением. Многие из тех, кто сегодня занят пробиванием новых дорог в новое будущее, с нескрываемым удивлением и любопытством разглядывали чудака, силясь понять причины, побудившие его отказаться от неземной благодати — долларов.

Признаться, уподобился многим и я. Используя наши добрые отношения, летом 1994-го года, незадолго до его смерти, я задал Якушкину вопрос, который интересовал многих. Он, словно сочувствуя человеческим слабостям, снисходительно улыбнулся: «Логика тут простая. Взять деньги нетрудно. Но вот жить после этого невозможно».

Пока он произносил эти слова, я попытался мысленно набросать перечень преступлений, на которые не отважился бы сегодня наш, не только русский, современник в обмен на 20 млн. долларов. Признаюсь, список этот оказался недлинным.

Среди германских политических лидеров Андропов мечтал о личной встрече с Брандтом и особенно со Шмидтом, которого считал наиболее значительной фигурой среди европейских политиков своего времени. Но эти встречи всегда откладывались «на потом», — до той поры, пока он покинет здание Комитета государственной безопасности. Встретиться же ему довелось только с канцлером Г. Колем, да и то уже на исходе сил.

Успешное и продолжительное функционирование конфиденциального канала между западногерманскими канцлерами и Генеральным секретарем было лучшим примером реализации его идей.

— Мне бы 5–7 таких каналов, — он расставил пальцы кисти правой руки, как бы указывая направление, — с главами ведущих государств и мы бы в течение года решили самые злободневные проблемы, терзающие сегодняшний мир, — как-то обронил он в

сердцах.

Кроме того, разговор с Л. Брежневым укрепил в нем надежду представить подчиненную ему службу как инструмент, не запутывающий проблемы, разделяющие противостоящие стороны, а вносящий в них ясность.

Как-то Андропов показал мне отчет советского переводчика о приеме, который дал американский президент Дж. Картер в честь главы советского государства Л. Брежнева. Во время приема советскому лидеру был представлен тогдашний директор ЦРУ Дж. Буш.

— Ах, вот вы какой, наш «главный противник» (так было принято называть в официальных советских учреждениях официальную Америку), — приветствовал директора русский гость.

— Напротив, я ваш главный союзник, — парировал Буш. — Чем больше мы узнаем друг о друге, тем легче нам будет договориться.

Реплика директора ЦРУ была подчеркнута жирным красным карандашом и обрамлена с двух сторон толстыми восклицательными знаками на полях. Это значило, что «главный противник» не пожалел бальзама на раны своего советского коллеги.

Разговор с Брежневым вдохновил Андропова на то, чтобы серьезно задуматься о пересмотре задач, стоящих перед подчиненными ему людьми. Однажды он даже попытался сформулировать свои мысли по этому поводу в довольно нелестной для подчиненных форме. «Мне не нужны пинкертоны, взламывающие посольские сейфы и взрывающие мосты. Сегодня требуются люди, умеющие их наводить».

Заключительным аккордом на эту тему могла бы быть брошенная им однажды фраза: «Многим сегодня госбезопасность представляется в виде хирургического кабинета, в котором оперируют до смерти. Придет время, когда люди узнают, что там были и хирурги, спасавшие жизни».

Закончив рассказ о встрече с Брежневым, Андропов предался размышлениям вслух:

— Ив самом деле, подумай: почти пять лет и ни одной утечки или публикации! Случись такое, у Брандта и Бара были бы большие неприятности.

Ради справедливости я признался, что в одной западногерманской газете было сообщение с намеком на то, что Э.Бар поддерживает постоянные и не очень понятные контакты с представителями советского посольства. Андропов отмахнулся: намекать уместно дамам, и не более, и тут же продолжил

размышления вслух:

— Несомненно, они — смелые политики. Недоброжелатели уже сегодня называют Брандта «рукой Москвы». Помяни мое слово, пройдет время и Бара окрестят «пальцами КГБ». На него выльют столько грязи, что до конца жизни придется отмываться. Я часто думаю: ради чего он так рискует?

— Однажды я спросил его об этом.

— И каков был ответ?

— «Ради Германии», — сказал он.

Андропов нахмурился, и мне показалось, что я знаю, по какому поводу. Война по-своему и надолго определила представления людей о плохом и хорошем в полном соответствии с образовавшимися политическими и военными коалициями.

Если русский, англичанин или американец выражал согласие отдать жизнь за свою родину — это справедливо считалось патриотизмом. Если же немец четверть века после войны признавался, что он готов чем-то пожертвовать ради Германии — это невольно вызывало дурные воспоминания о временах господства немецкого национал-социализма.

— Звучит очень по-реваншистски, — заключил он. И мы оба рассмеялись. Серьезно говорить об этом в середине 70-х годов было уже трудно. Думать иначе — еще немного рано.

Возвращаясь от шефа и вечно путаясь в замысловатой системе коридоров, я продолжал улыбаться, но не последней мысли о реваншизме, а по поводу брошенной им фразы, что «кто-то подбросил Леониду Ильичу заключение западных немцев по поводу утечки из немецкого МИД служебной информации».

Меня часто занимала мысль, почему даже талантливые люди, взобравшись наверх, не могли заставить себя мыслить реальными категориями.

Ведь будь я осведомлен о событиях того времени менее, чем на самом деле, все равно мне не составило бы большого труда назвать имя скрывавшегося под псевдонимом «кто-то». Труднее было бы объяснить, для чего Андропову этот псевдоним понадобился.

Перед грозой

Как-то поздней осенью 1973 года, согласно предварительной договоренности, мы приехали на Пюклерштрассе, 14, и были поражены количеством автомобилей и людей, заполнивших обычно ухоженно-пустое пространство за оградой перед домом. Внутрь нам позволили войти лишь после того, как Эгон Бар лично вышел к воротам.

Он сообщил, что накануне неожиданно приехал канцлер и остался здесь ночевать.

Мы пошли в гостиную и уселись, как обычно, за стол обсудить наши проблемы. Разговор подходил к концу, когда наверху хлопнула дверь и на лестнице, отделанной панелями из темного дерева, показался Брандт.

Вид у него был утомленный, под глазами мешки, лицо осунувшееся. Поздоровавшись, он присел к нам, поинтересовался делами в Советском Союзе и здоровьем Брежнева. Затем, бросив взгляд на лежавшие перед нами бумаги, заметил:

— Я вижу, вы тут погружены в работу, не стану мешать, подышу свежим воздухом… Потом ведь снова — в самолет. Увидите Брежнева, передайте мой привет. Желаю и вам, и нам успехов!

Дождливое и серое берлинское утро было почти невыносимым, и против него, видимо, восстали все сосуды Брандта.

Он встал из кресла, далеко не так легко, как того можно было ожидать от его необремененной излишним весом фигуры, и вышел.

Обсудив все дела, мы тоже покинули дом. Канцлера не было видно, он прогуливался где-то в саду. У машин сгрудились охранники. Двое из них доброжелательным взглядом, улыбаясь, проводили нас до ворот.

Подавленное настроение Брандта передалось и нам. Способствовала тому и погода: когда мы вышли, дождь еще не хлынул, но удушливая тяжесть делала воздух густым, почти непригодным для дыхания. В центр мы решили не ехать, а, свернув в парковую зону, зашли в небольшую типично берлинскую пивную на окраине кладбища. Тогда я и представить себе не мог, что спустя двадцать лет именно сюда приду, чтобы попрощаться с Вилли Брандтом.

Народ в пивной был особенный: могильщики, кладбищенские садовники и служки из часовни. Их было немного, но настроение общества они представляли достаточно полно для того, чтобы не

было необходимости прибегать к социологическим исследованиям.

Ругали на чем свет стоит всех абсолютно, в первую же очередь руководителей профсоюза работников коммунального хозяйства и общественного транспорта за то, что те не могут выбить из правительства повышения зарплаты представителям общественных служб, поносили министра экономики, который из-за нефтяного кризиса решил, видите ли, ограничить скорость на автострадах. Материли правительство за неспособность найти общий язык с бастующими авиадиспетчерами. Канцлер Брандт тоже получил свою солидную долю, соответствующую его высокому положению.

Ночевать мы остались в гостинице в Западном Берлине, а наутро, в воскресенье, по дороге в аэропорт, ехали непривычно пустынными улицами, обычно донельзя забитыми транспортом. Немцы скрупулезно соблюдали наложенный властями запрет на пользование автомобильным транспортом по воскресеньям, исходя из соображений экономии бензина. Притихший город производил какое-то предгрозовое впечатление…

И предчувствие оправдалось, правда, полгода спустя, поздней весной, когда и положено греметь грозам.

Тогда же, зимой, мы почувствовали вокруг себя какую-то возню. Невидимые призраки искали способы подступиться к кабинетам Брежнева и Андропова, силясь доказать, что и они могут быть небесполезны. «Конкурирующие фирмы», прежде всего Международный отдел ЦК КПСС, по делу и без оного нагнетали обстановку складывавшуюся в ФРГ.

Это крайне нервировало Брежнева, далекого от желания вникать в межведомственную суету. Он раздражался, звонил Андропову, требуя выяснить напрямую, насколько серьезно положение у Брандта.

Задача «отсеивания зерен от плевел» и была возложена на нас. По каждой из поступающих на «немецкую тему» бумаг я должен был составлять краткие аналитические записки, фиксируя сведения, которые соответствовали действительности, и отбрасывая те, которые обнаруживали лишь потуги авторов сгустить краски или выдать желаемое за действительное.

Моим лучшим помощником оказался сам Брежнев.

Почувствовав свое могущество, он постарался предельно персонифицировать внешнюю политику СССР, вопреки всем канонам дипломатии.

Вначале он проникся необыкновенным доверием к Брандту, а затем в полной мере перенес его и на преемника Брандта Гельмута Шмидта. Внешне это должно было выглядеть как дань

уважения всей немецкой нации, ее экономическим и внешнеполитическим успехам. Однако его неприязненное отношение к Вальтеру Ульбрихту и весьма прохладное к Эрику Хонеккеру заставляли отбросить это предположение: ведь не мог же он не считать их обоих немцами.

Попытки поколебать веру Брежнева в Брандта, а затем в канцлера Шмидта, и стало быть, в проводившуюся ими политику, неоднократно предпринимались не только честолюбивыми карьеристами у нас, но и довольно серьезными политиками в других странах.

В начале 1971 года Громыко доложил Брежневу о результатах конфиденциальных бесед с представителями Франции и Англии, высказавшими серьезные опасения и предостережения по поводу столь внезапного и стремительного сближения СССР и ФРГ. Англичане, естественно, говорили намеками, французы выражались более определенно.

В целом же, суть масштабной дипломатической акции двух крупных европейских держав сводилась к призыву не забывать, что в Германии регулярно каждые четыре года происходят выборы, в результате которых у руля могут оказаться и реваншистские силы, якобы до сих пор имеющие там серьезное влияние.

Брежнев довольно долго обсуждал эту бумагу с Андроповым по телефону, после чего разговор на ту же тему состоялся уже втроем, при участии Громыко.

В конце 1971 года Брежнев посетил Париж, и в разговоре с президентом страны Жоржем Помпиду весьма своеобразно сформулировал свое отношение к немецкой проблеме, сказав, что не может поручиться за всю Западную Германию, но лично Вилли Брандту он безусловно доверяет.

Экспромт, судя по всему, не вызвал восторга у канцлера. Тот с трудно скрываемым раздражением относился к проявлениям завышенной самооценки Генерального секретаря.

Мудрый Лате «вступился» за Брежнева: «Если бы канцлера Брандта с высокой трибуны хоть однажды сравнили с Сократом или Спинозой, уверяю вас, он тут же бы перестал здороваться с садовником, ухаживающим за цветами в саду ведомства канцлера».

Однажды, как мне показалось, без всякого к тому очевидного повода, Андропов поинтересовался моим мнением о весьма малозаметной, с высоты его положения, фигуре — о председателе фракции в бундестаге Герберте Венере. Более всего меня поразило, что Андропов вообще упомянул его имя. Правда, с самого начала он назвал его Венером, и, несмотря на

неоднократные поправки с моей стороны, упорно придерживался этого варианта до конца. Так ему было почему-то удобнее.

Ответ свой я начал было с биографической справки, но тут же был остановлен:

— Прошлое этого человека нам хорошо известно. Меня интересуют сегодняшние отношения Венера с Брандтом.

Тут я оказался не слишком силен, ибо мог вспомнить лишь один эпизод, рассказанный самим же Брандтом.

Накануне отъезда в Москву в августе 1970 года Брандт встречался с Венером. Тот спросил его, улыбаясь, не испытывает ли Брандт перед поездкой чисто физического страха. Венер, дескать слишком хорошо знает «московских товарищей» и предупреждает, что общение с ними может быть чревато любыми неожиданностями.

В тот момент Брандт воспринял это как безвкусную шутку, чем вообще Венер был славен, замешанную на зависти и ностальгии по московской молодости, отданной работе в Коминтерне.

Ничего более я припомнить не мог. Тогда Андропов протянул мне бумагу из Международного отдела ЦК КПСС, в которой излагалось следующее.

Осенью минувшего года Москву посетила делегация бундестага ФРГ во главе с Гербертом Венером. Он отправился в гостиницу «Центральная» (бывшая «Люкс») на улице Горького, где жил в период жесточайших сталинских репрессий 1939 года, и навестил заведующего Международным отделом ЦК КПСС Бориса Пономарева, с которым работал в Коминтерне.

Пономареву Венер доверительно сообщил, что нынешний канцлер ФРГ Вилли Брандт давно исчерпал себя как политический лидер, полностью утратил авторитет в партии, много пьет и волочится за дамами. Венер сказал, кроме того, что и Хонеккер, с которым он поддерживает постоянный и доверительный контакт, придерживается того же мнения, и оба они недоумевают, с чего это в Москве так носятся с этим «политическим трупом».

Я молча вернул бумагу в обмен на комментарий шефа:

— Как может Брандт полагаться на коллег, так люто его ненавидящих? Ведь неумение разбираться в людях наносит ущерб прежде всего делу! Зачем плодить неверных?

Андропов не без видимого удовольствия, внятно произносил свои назидания. Его тоже обвиняли в неспособности разбираться в людях, а потому столь могущественный человек, как Брандт, обремененный теми же слабостями, мог быть немалым утешением и для него. Всегда наедине с собой можно было

произнести: «Да ведь не я один!»

Далее он пустился по излюбленному пути, а именно, взялся просчитывать, чем коварство Венера могло обернуться для канцлера.

Вывод был неутешителен: самой большой угрозой становился вполне реальный союз между Венером и Хонеккером.

Бросалась в глаза степень осведомленности Андропова в этом вопросе, хотя, по понятиям тех лет, личность председателя фракции Венера была настолько мелка для его «уровня», что он и вовсе не должен был держать эту фамилию в голове. Когда же он точно назвал дату встречи Венера с Хонеккером в ГДР и место их встречи на озере Вандлиц — я просто растерялся. Это было неслыханно.

Затем Андропов вновь пустился критиковать Брандта, сделавшего, по его мнению, непростительную для политика тактическую ошибку, поспешив в семидесятом году посетить ГДР, лишь с целью стяжать лавры. Он должен был просчитать, что восторженный прием, который, конечно, гарантирован был ему в Эрфурте, никогда не будет прощен Хонеккером, и не только им.

Практически, одним этим тщеславным жестом он объединил против себя всех завистников и противников в обеих частях Германии.

Из ада в рай, минуя чистилище

В конце 1973-го и в начале 1974 года вновь всплыла тема Солженицына. Заручившись самой широкой поддержкой на Западе, писатель верно просчитал, что может себе позволить открытую и беспроигрышную конфронтацию с советским руководством, публикуя на Западе все более критические произведения.

При первом же после Нового года свидании Бар передал нам несколько вырезок из немецких газет, представлявших собой либо изложение, либо прямые перепечатки публикаций в нашей прессе. Советские трудящиеся клеймили писателя за антикоммунистический, клеветнический характер появившихся на Западе его произведений. Они призывали советское руководство немедля «принять самые строгие меры» против клеветника. Схожестью и нелогичностью публикаций «почерк» безошибочно выдавал руку «серого кардинала» — Суслова. Мистические «советские люди», осуждавшие произведения, которых никогда не читали, были неисчерпаемой темой для вышучиваний и издевок.

Что же касается самого Солженицына, то вследствие пропагандистской кампании реальная опасность грозила ему теперь не со стороны властей, — которые к этому времени расписались в своем бессилии, — а со стороны распропагандированных и психически неуравновешенных людей. Именно на эту сторону проблемы обратил наше внимание Бар, передавая газетные вырезки и напомнив, насколько уже заангажирован Брандт в глазах немецкой интеллигенции как защитник Солженицына.

В разговоре Бар не забыл, конечно, упомянуть и Беля, который в то время был одним из наиболее переводимых и широко печатаемых немецких авторов в Советском Союзе.

Итак, проблема Солженицына зависла над советским руководством в виде крепкого кокоса на высокой пальме. Колоть его никто не отваживался, но и жить под угрозой его непредсказуемого падения мало кого устраивало. Долго так продолжаться не могло.

Однако учитывая консерватизм Суслова, за которым твердо закрепилась кличка «окостеневшего мозга партии», созревшая «беременность» властей в сложившейся ситуации могла разрешиться лишь уродцем, что и свершилось.

В этой истории меня серьезно удручало подчинение Андропова воле Суслова, которого он люто ненавидел, что,

однако, тщательно скрывал от посторонних. Не знаю как с остальными, но в моем присутствии он позволил себе лишь несколько «выбросов» переполнявшего его негодования по поводу некоторых шагов, предпринимавшихся главным идеологом партии, о чем, наверняка, позже пожалел. И в этом был свой резон. Дойди что-то подобное до ушей «кардинала», Андропов был бы тут же сметен с политической арены очередной дьявольской интригой. И это при том, что он был умнее, сильнее и много современнее Суслова. Грустно было наблюдать, как более прогрессивное пасовало перед ортодоксальностью.

Пребывая большую часть времени за границей, я имел возможность рано познакомиться лишь с двумя произведениями Солженицына — «Один день Ивана Денисовича» и «Раковый корпус». Воспитанный на русской классике, я не пришел в восторг от уровня беллетристики, но и не обнаружил в обеих вещах ни одного места, которые бы могли хоть как-то подорвать железобетонные устои советского строя.

О Солженицыне шеф со мной практически разговоров не вел.

Что касается писателей в целом, то к ним он испытывал смешанное чувство страха и уважения. В каждом отдельном случае одно превалировало над другим. Но во всех случаях он стремился, если это не противоречило его положению, сохранять хотя бы тонкую нить человеческих отношений с ними.

Я видел его глубоко расстроенным в день, когда неожиданно умер по-настоящему талантливый русский писатель, актер и режиссер Василий Шукшин. Андропов названивал в различные партийные и государственные инстанции, добиваясь достойных похорон и увековечивания имени покойного.

Говорили, что он настоял на выдаче из государственной казны выдворяемому Солженицыну трехсот западногерманских марок «на дорогу», несмотря на постоянные напоминания со всех сторон о том, что у писателя на счету в Швейцарии скопилось не менее десятка миллионов гонорарных денег.

Андропов был весьма доволен, когда ему рассказали, что Солженицын поблагодарил вручившего ему эту незначительную сумму перед приземлением во Франкфурте, обещая вернуть ее, как только представится возможность.

Однажды вечером в первых числах февраля 1974 г., возвратившись на виллу в Восточном Берлине, я нашел на столе записку, в которой мне предписывалось срочно связаться с Москвой.

Рано утром я связался с Москвой по аппарату шифрованной телефонной связи. На сей раз все происходило как-то необычно, телефонисты бесконечное число раз перепроверяли надежность

связи, полноту звучания, адъютанты просили ни в коем случае не отходить от аппарата, повторяя, что вот-вот соединят с шефом.

Шло время. То и дело перезванивали дежурные, чтобы убедиться, не исчез ли я снова. Было ясно, что частые, длительные и безуспешные поиски подорвали их доверие ко мне.

Как выяснилось позже, говорил он со мной из приемной Брежнева, где его перехватили дотошные помощники. Сухим, официальным голосом он, словно по бумажке, зачитал заранее заготовленный текст.

«Принято решение о лишении гражданства А.Солженицына со всеми вытекающими последствиями. Поинтересуйтесь у Брандта, не захочет ли он оказать честь и принять у себя в Германии писателя, к судьбе которого он проявлял постоянный интерес. В противном случае Солженицын будет выдворен в одну из восточных стран, что связано с определенным риском для него. Одним словом, как только проясните вопрос, немедленно информируйте».

Официальный текст закончился, и уже более человеческим голосом он добавил: «Постарайтесь сделать это побыстрее, а то здесь вокруг него разгораются страсти! Нам нужна любая ясность, чтобы знать, в каком направлении действовать дальше. Повторяю, решение уже принято, так что… остается его выполнять».

Два дня спустя, когда писатель уже твердо стоял на немецкой земле и вкушал сладкий запах свободы и одержанной им победы, сознавая, что у него есть слава, деньги и возможность писать как ему заблагорассудится, т. е. все, о чем только может мечтать всякий, взявшийся за перо, Ю.Андропов поведал мне о событиях, непосредственно предшествовавших принятию решения по Солженицыну.

В конце января 1974 г. на заседании Политбюро разгорелась жаркая дискуссия по поводу писателя. Все выступавшие дружно предали его анафеме как врага Советского Союза, который, опираясь на поддержку Запада и осознавая в связи с этим безнаказанность своих действий, мажет грязью советскую действительность. В данном случае он злоупотребляет человеческим к нему отношением, выдавая проявляемый гуманизм за слабость советской власти.

Крайне резко выступили на заседании президент Н.Подгорный и премьер А.Косыгин, который к тому времени ухитрился создать в глазах мировой общественности образ наиболее либерально настроенного советского руководителя. Каждый из них стремился доказать Брежневу, что именно он является наиболее непримиримым борцом с каждым, кто покушается на устои советской власти. Предложение Андропова ограничиться

высылкой А.Солженицына из страны, президент Н.Подгорный квалифицировал как признак слабости, проявляемой советской властью к ее врагам. При этом, явно намекая на расправу с противниками режимов, он напомнил о том, что в Китае до сих пор существует публичная казнь, а в Чили людей просто расстреливают без суда.

Премьер А.Косыгин в своем выступлении против предложения руководителя советской госбезопасности был более предметен. Он предложил арестовать Солженицына и сослать его в наиболее холодные районы Советского Заполярья, где температура поддерживается на уровне -60°. Столь низкая температура должна была, по мнению премьера, охладить пыл ретивых иностранных журналистов, которые пожелали бы наведаться к нему. Последняя фраза, без сомнения, настраивала присутствовавших на юмористически-прагматический лад.

Оба выступления не на шутку напугали Андропова и, рассказывая об уже свершившемся, он нервничал так, как будто все неприятное предстояло ему пережить еще раз.

Дело в том, что Политбюро со времен Сталина представляло собой универсальный орган коллективной ответственности, обладавший самыми широкими полномочиями при решении вопросов во всех областях жизни страны — от культуры до суда в последней инстанции. Как всякому собранию людей Политбюро не было чуждо ничто человеческое, в связи с чем не все его заседания были свободны от сведения личных счетов между его членами. При этом все выступавшие убеждали друг друга, что заботятся лишь о пользе дела, о котором тут же забывали, решая первостепенную задачу взаимоотношений друг с другом.

В данном случае речь шла об устойчивой неприязни премьера А.Косыгина, а также президента Н. Подгорного к Генеральному секретарю Л.Брежневу и его ставленнику Ю. Андропову. Очевидным было и желание первых двух потеснить на политической арене последнего.

В общем идеально воспроизводилась ситуация четырехлетней давности, когда в начале 1970 г. Громыко выступил перед членами Политбюро и попытался вытеснить Ю. Андропова из внешнеполитической зоны «своего влияния». Тогда тоже говорили о советско-западногерманских отношениях о судьбе Германии, ключ от которой затерялся где-то за океаном.

Присутствовавшие, однако, прекрасно осознавали, что Германия в данном случае была лишь полем битвы, на котором выясняли отношения сильные мира социалистического и не более.

История с писателем выглядела одновременно и трагедией и

фарсом. Трагедией в жизни и фарсом на заседании Политбюро. Президент и премьер видели в Андропове сильную политическую фигуру, которая становилась реальной угрозой их политическим и административным амбициям. Однако поскольку он был приближенным лицом Л. Брежнева, имевшим на него сильное влияние, то прямое выступление против него могло повлечь за собой конфронтацию с Генеральным секретарем, а это было уже опасно.

Поэтому президент и премьер избрали тактику дезавуирования дееспособности Ю. Андропова.

В истории с Солженицыным им представлялся великолепный случай поставить его в достаточно сложное положение как члена Политбюро и еще больше как руководителя госбезопасности.

Для этого требовалось навязать Политбюро принятие в отношении писателя наиболее жесткого решения: арест с последующей ссылкой в лагерь с особым режимом и тяжелыми климатическими условиями, откуда мало кто возвращался живым.

При всей примитивности предлагавшаяся схема отличалась универсальностью.

Согласись Андропов выполнить подобное решение Политбюро в отношении всемирно известного писателя, он навсегда должен был распрощаться с лаврами гуманиста Луначарского и, минуя Бенкендорфа, превратиться в злодея Л. Берия — сталинского палача, методы которого он был призван искоренять.

Уклонившись от выполнения подобного решения Политбюро, он погребал себя заживо как «карающий врагов меч», который ему вручила партия.

Итак, создавалась парадоксальная ситуация: для того, чтобы спасти себя, руководитель карательного органа должен был спасать писателя, которого преследовал.

В чем, в чем, а в аппаратных играх Л.Брежнев был искушен более, чем все участники заседания Политбюро, вместе взятые.

Как и в 1970 г., вынося свой вердикт, он вновь «поднялся» над распрями сторон и успокоил членов Политбюро, заявив, что советская власть переживала и более серьезные потрясения, переживет и это менее значительное.

Не выступая прямо в поддержку предложения своего любимца, Генеральный секретарь все же напомнил присутствовавшим о том, что в свое время дочери Сталина Светлане Аллилуевой был разрешен выезд из СССР, и хотя она не вернулась обратно, ничего страшного не произошло.

И тем не менее почти сразу же после заседания Политбюро

Андропов направился к Генеральному секретарю и, беседуя с глазу на глаз, убедил его в том, что любая «жесткая» мера в отношении писателя нанесет вред международному престижу страны и ее руководителя.

Склоняя Брежнева на свою сторону, Андропов использовал не только логику, но главным образом антипатию, которую испытывал Генеральный секретарь к президенту и премьеру.

В результате Брежнев согласился со всеми приведенными доводами и попросил Андропова представить ему письменно соображения по тактике решения проблемы с писателем, что и было незамедлительно сделано.

Может быть, кому-нибудь после всего изложенного может закрасться подозрение, что действуя таким образом в отношении Солженицына, Андропов все же руководствовался какой-то тайной симпатией к писателю или его творчеству. Нет. Скажем прямо, симпатий к писателю он не испытывал. Что касается творчества, то в отличие от остальных членов Политбюро он читал много и с книгами Солженицына, выпускаемыми на Западе, был хорошо знаком. Сточки зрения литературы ценил их невысоко и, по его словам, дочитывал каждую из них с большим трудом. Единственной силой, двигавшей им в этом направлении, было желание остаться незапятнанным после непомерно затянувшегося пребывания на посту руководителя госбезопасности. Желание это было настолько велико, что очень скоро превратилось в комплекс, развитию которого способствовали многие обстоятельства, в том числе и одно, казалось бы, малозначительное событие.

Александр Шелепин, весьма заметный советский политический деятель, во время своей поездки в Англию был освистан английской общественностью только за то, что менее четырех лет стоял во главе советской государственной безопасности.

Легко спроецировав имевший место инцидент на себя, Андропов невольно пришел к печальному выводу и неоднократно возвращался к этой истории, трактуя ее каждый раз не в свою пользу в соответствии с открывавшимися новыми обстоятельствами. Он не скрыл радости, когда вице-президентом США стал бывший директор ЦРУ Буш. Таким образом создавался благоприятный для него прецедент. Жизнь показала, что в данном случае, как и во многих других, шеф явно перестраховывался. В наше время высокий пост главы государства гарантирует избраннику надежную дистанцию от его прошлого, если даже это прошлое небезупречно.

Естественно, я направился по хорошо известному мне адресу

и ровно в полдень сидел за обеденным столом на Пюклерштрассе. Меню было традиционно немецким: пиво ко всем блюдам, суп с плавающей в нем сосиской, несколько ломтиков мяса с шариками обжаренного в жиру картофельного пюре.

Обменявшись светскими новостями, мы перешли к обсуждению политической ситуации в Советском Союзе и Западной Германии.

Положение Брежнева, который без особого труда вывел из состава Политбюро своих недоброжелателей, становилось весьма устойчивым. Позиции же Брандта, ведшего борьбу с оппозицией внутри партии и вне ее, были шаткими. Чтобы хоть как-то стабилизировать его положение, желательно было оживить с нашей стороны «восточную политику», а точнее, подхлестнуть процесс, который тогда принято было называть «наполнением содержанием Восточных договоров».

Несколько представителей крупных западногерманских концернов обратились к Брандту с жалобой на то, что они не в силах более ориентироваться в путаных коридорах нашей «византийской» бюрократии, царящей в министерствах и внешнеторговых объединениях, и просили канцлера использовать свои отношения с Брежневым, чтобы изменить положение к лучшему.

Мне ситуация была хорошо знакома. Как раз накануне я обедал с солидным немецким промышленником, который часто бывал в Москве, где его фирма имела постоянное представительство. Так вот он поведал мне, что в надежде сдвинуть дело с места, они решили устроить в Москве прием и пригласили на него министра внешней торговли Патоличева. Прием удался на славу, но делового разговора не получилось. Зато министр, давно впавший в маразм, прочувствованно пропел гостям громким голосом несколько песен времен гражданской войны. На том и разошлись.

Свежие воспоминания немного отвлекли меня от создававшей тягостное настроение картины, висевшей над столом прямо против меня. Насколько я помню, это был пейзаж, написанный в удивительно мрачных тонах отчаяния. Совершенно очевидно, художник был депрессивным ипохондриком, видевшим вокруг себя лишь мрак: небо и землю, залитые холодным серым дождем, лишенные всего живого, попрятавшегося от пронзительного ветра и холодных струй. Лишь вдалеке угадывалась миниатюрная фигурка дрожащей от холода женщины в промокшей и тяжелой ярко-красной юбке. Это было единственным красочным пятном на полотне, неожиданным для общего настроения картины упованием на то, что все еще

образуется и мир не захлебнется в промозглом водовороте зла и ненависти.

Наконец, я понял, что дождь на картине будет лить бесконечно, и пересказал Бару почти слово в слово все услышанное мною в тот день по телефону из Москвы. Реакция Бара была обычной. Он передаст все Брандту, тот переговорит с Белем, другими писателями, после чего сообщит нам свое решение.

Еще через день Бар информировал нас, что немецкие коллеги будут рады приветствовать Солженицына в свободном мире. Брандт придерживается того же мнения. Для упрощения чисто формальной стороны дела Бар попросил меня заранее поставить его в известность, когда выезжает или вылетает писатель.

Как и было условлено, ответ этот я немедленно передал в Москву. Быстрой реакции, однако, не последовало.

Я постоянно связывался с Москвой, интересуясь, как мне поступить дальше: возвращаться или ждать в Берлине. Поначалу меня склоняли к терпению, ссылаясь на то, что «вопрос находится в стадии решения». Однако в дальнейшем и от этого отказались, пустив, как это часто бывало, дело на самотек. С Андроповым меня тоже не соединяли по причине его «сильной занятости», что было не так уж ново. Он обладал одним отвратительным не мужским качеством: избегал объяснений с людьми, которым в данный момент ему нечего было сказать.

Хорошо изучив нрав своего руководителя, я решил лететь в Москву, не дожидаясь чьих-либо решений.

— Вы с ума сошли! — стала урезонивать хозяйка виллы, перехватив меня с чемоданом в коридоре. — Разве можно 13-го числа в такой далекий путь, да еще самолетом?! У вас ничего сегодня не сладится. Напрасно будете тратить время и рисковать.

В человеке был заложен грандиозный талант предсказателя. Не успела она пересказать мне все неудачные истории, приключившиеся с ней и ее знакомыми именно 13-го числа, как зазвонил телефон, и незнакомый голос произнес:

— Вам просили передать, что самолет с писателем на борту находится в воздухе, в аэропорту Франкфурта-на-Май-не он должен приземлиться в… по местному времени.

Я не поверил ушам и попросил повторить. Голос, словно записанный на магнитофонную ленту, слово в слово повторил тот же текст. Растерявшись, я задал какой-то несуразный вопрос, к чему голос был, видимо, также готов, и ответил мне вполне в традициях министра иностранных дел Громыко: к сказанному ему нечего добавить.

Оставалось лишь мчаться в Западный Берлин, чтобы

уведомить Бара, как он того просил. Его секретарь, фройляйн Кирш, ответила, что он и Брандт находятся на заседании бундестага. Но, видимо, поняв по голосу, что дело чрезвычайное, попросила не вешать трубку. Скоро раздался голос Бара.

Я сказал, в чем дело. Ответом было длительное молчание, закончившееся фразой, которую на русский язык, избегая идиоматики, можно перевести: «Так дела не делаются!»

Как выяснилось позже, положив трубку, Бар вернулся в зал заседаний и сообщил новость Брандту.

Тот тут же распорядился известить Беля и связаться с властями во Франкфурте. После чего Бар покинул зал и о том, что произошло затем, достоверно свидетельствовать не мог.

Фройляйн Кирш уверяла, что в следующую же минуту Брандт взял слово и сообщил депутатам, что с минуты на минуту ожидается прилет Солженицына в Германию.

Новость эта, по свидетельству Кирш, была встречена депутатами аплодисментами.

Брандт никогда к этой теме больше не возвращался. То ли она была ему не слишком приятна, то ли он считал ее исчерпанной. Андропов тоже и, видимо, по тем же соображениям.

«Cherchez la femm» у канцлера

В конце апреля 1974 года западногерманская пресса захлебнулась сенсацией: в ближайшем окружении канцлера Вилли Брандта разоблачен шпион!

Как все люди его профессии, шпион носил темные очки и звучащую на французский лад фамилию Гийом. Явился шпион не «из холода» и не «с любовью из России», а прибыл из ГДР, как выяснилось позже, вопреки желанию советского руководства.

Как ни странно, расследование дела с самого начала компетентные органы повели совместно с прессой. В этом тандеме журналисты оказались, естественно, более усердными. По публикациям становилось ясно, что целью совместного расследования было не столько разоблачения шпиона, выяснение обстоятельств и причин утечки государственных секретов, сколько выявление и смакование фактов супружеской неверности самого канцлера.

В нескольких публикациях, правда, мелькнула мысль, что, сопровождая Брандта на отдыхе в Норвегии, шпион мог прочесть пару другую шифрованных телеграмм, но в сравнении с амурными досье эта информация выглядела невыносимо скучной, а потому была тут же забыта в пользу скрупулезного изучения неисчерпаемой темы отношений между полами.

Какая-то газета попробовал было вступиться за Брандта, высказав предположение, что дееспособный канцлер все же лучше, чем импотент. Спорить с этим никто не стал, но антибрандтовская кампания от этого ничуть не утихла, а даже наоборот— все более принимала форму истерии с ярко выраженным бульварно-сексуальным оттенком. На страницах газет замелькали лица охранников Брандта, в том числе и тех, которые добродушно улыбались нам во дворе на Пюклерштрассе во время приезда туда канцлера. Теперь лица их были сосредоточены. Им приходилось неимоверно напрягать память, давая бесконечные показания по поводу каждого, кто вступал когда-либо в контакт с Брандтом. И тут главное внимание следователей было сосредоточено на дамах, с которыми канцлер поддерживал какие-либо отношения.

Мы были готовы ко всему. Однако, как ни странно, нами в этой связи никто не заинтересовался.

Думается, у немецкого правосудия и без того оказалось достаточно доказательств, что Леднев и я не принадлежим к женскому полу.

В первых числах мая Бар предупредил, что дело приобретает

серьезный оборот. Брандт крайне подавлен незаслуженно раздутым прессой скандалом, а еще более тем, как ведется следствие, которое, допрашивая охранников, выясняет не обстоятельства по факту дела, а роется в несвежем белье. В этой же связи всплывала и фамилия Герберта Венера. Он, ссылаясь на тесные отношения с главой Ведомства по охране конституции Нолау, постоянно говорит о существовании каких-то крайне компрометирующих канцлера фотографий, запечатлевших его в дамском обществе.

Одним словом, создавалось впечатление, что, несмотря на поддержку, оказываемую Гельмутом Шмидтом и другими близкими по партии людьми, Брандт может не выдержать напряжения и подать в отставку.

Тем же вечером я вылетел в Москву, а наутро уже докладывал шефу, как шло развитие кризиса в последние дни. Андропов был подавлен, слушал молча, лишь незадолго до конца моего монолога прервал:

— Вот результат небрежного отношения к своему окружению! Еще осенью прошлого года история с Венером в Москве расставила все по местам. Чего было ждать? Ну, а теперь посиди тихо, я доложу Леониду Ильичу…

Брежнев оказался на месте, и Андропов приступил к пересказу, но затем, взглянув на меня, на мгновенье замолк.

— Леонид Ильич, передо мной сидит Кеворков, он только что прилетел из Германии. Есть смысл послушать из первых уст.

— Приветствую тебя, — зазвучал в трубке дружелюбный бас. — Что там происходит с моим другом Брандтом?

Я вновь повторил в деталях только что рассказанное.

В трубке повисла тишина, затем раздалось пощелкивание языком. Когда же я приступил к рассказу о ходе следствия, он перебил:

— Подожди, подожди… Я в толк не возьму… Ты говоришь, охранники рассказывают про женщин, которые бывали у Брандта, так я тебя понял?

— Так.

Из последовавшего затем диалога становилось ясно, что Брежнев не просто близко к сердцу воспринял все происшедшее с Брандтом, но невольно отождествил в несчастии себя с ним. А представив себя в роли преследуемого, обиделся, затем возмутился и дал волю своим чувствам.

— Ты мне объясни, кому нужны охранники, которые вместо того, чтобы заботиться о безопасности, подглядывают в замочную скважину?! Гнать их надо, да не вон, а под суд за нарушение должностных инструкций! И потом, что за следствие, которое не

понимает, что бабы существуют не затем, чтобы им рассказывать государственные секреты, а совершенно для других целей? Ведь это же не детективный роман, а жизнь!

— Леонид Ильич, немецкая госбезопасность считает, что…

— А немецкая безопасность вообще сидит в заднице, где ей и место, — с яростью в голосе перебил он меня, — и если там есть приличные люди, они обязаны пустить себе пулю в лоб, а не следствие против канцлера вести, которого не смогли уберечь! Получается, что канцлер должен ходить по кабинетам, открывать двери, заглядывать своим сотрудникам в лица и по глазам выяснять, кто из них шпион, а кто нет. А безопасность за что деньги получает? Не знаешь? И я не понимаю.

Во рту от волнения пересохло, и наступила пауза. Было слышно, как Брежнев сделал несколько глотков из стоявшего перед ним стакана и затем не спеша продолжил:

— Юрий Владимирович говорил, что Брандта какими-то фотографиями с девицами пугают, если он не подаст в отставку? Ты их не видел?

— Да их скорее всего нет в природе.

— Вот и я так думаю. А предположим и есть, так я бы за них еще деньги приплатил, особенно если я на них настоящим мужчиной выгляжу. И уж никак не в отставку.

— Там пресса очень рьяно взялась за это… Что ни день — новая сенсация. Одним словом, обстановка нагнетается. Брандт находится в центре этой газетной истерии, и вынести ее нелегко…

— А ты вот что ему скажи: газетная бумаги — сродни туалетной, только грязнее, вот из этого ему и надо исходить. И передай: я друзей в беде не бросаю. Нужно будет — мы все перевернем, а его в обиду не дадим. Я вот думаю: может, мне письмо ему ободряющее написать или устное послание передать? Решите с Юрием Владимировичем, как лучше…

Через день я вылетел в Германию.

В нагрудном кармане моего пиджака топорщился конверт с личным посланием Брежнева к Брандту. Оно было действительно ободряющим и дружелюбным. Было в нем что-то чисто «брежневское»: искреннее недоумение главы почти трехсотмиллионной ядерной державы по поводу существования неких непонятных сил, способных с помощью никем не виденных фотографий заставить главу могущественного государства добровольно отказаться от власти… Послание завершалось предложением самой разносторонней помощи.

К сожалению, письмо оказалось не более чем запоздалым лекарством.

5 мая 1974 года, когда оно было вручено Брандту, тот уже направил президенту Хайнеманну просьбу об отставке. 7 мая Брандт лично подтвердил свое намерение в разговоре с президентом, а немного спустя заявил об этом коллегам по партии. Небезынтересно, что взявший сразу после этого слово Герберт Венер заявил, что относится к принятому канцлером решению с уважением и одобрением. В подтверждение своих слов он опустил на стол перед канцлером, словно на мраморную плиту надгробия, букет красных роз…

Бар, закрыв лицо руками, зарыдал. Этот драматический момент, запечатленный во множестве раз на кино- и фотопленке, и по сей день часто извлекается из архивов по самым различным поводам, и толкуется самым противоречивым образом.

Брандт принял хвалу и цветы по случаю своей отставки с одинаковым выражением лица. Оно застыло в тот момент, когда разразилась эта унизительная драма, и осталось неподвижным до конца. То была трагическая маска, вобравшая сарказм, горечь и растерянность. Думаю, в те дни своей жизни он не снимал ее даже на ночь. Несколько фотографий Брандта, сделанные как раз в те дни, долго стояли на моем письменном столе.

Один знакомый московский врач, убежденный сторонник теории возникновения рака как результата сильного стресса, увидев фотографии, пристально и долго вглядывался в них, после чего сказал мне:

— Вот типичное лицо человека, находящегося в состоянии сильного потрясения. Стресс заблокирован и не находит выхода… Ему нужно срочно изменить образ жизни. В противном случае через 12–14 лет у него разовьется рак желудка. Человеческий организм не рассчитан на такие психологические перегрузки. Если у тебя есть возможность, порекомендуй ему не реже одно-двух раз в год показываться онкологу…

Вскоре после получения известия об отставке Брандта в Кремле разразилась гроза. Генеральный секретарь метал громы и молнии, требуя объяснений происшедшему, прежде всего у Андропова.

— Вот растолкуй мне, пожалуйста, Юра, что происходит? Генеральный секретарь ЦК КПСС в течение нескольких лет делает все, чтобы совместно с канцлером ФРГ построить новые отношения между нашими странами, которые могут изменить ситуацию во всем мире, а вокруг вдруг начинается какая-то мышиная возня, сплетни про девиц и фотографии… И кто затеял это? Представь себе, наши немецкие друзья! А вот как я буду выглядеть при этом, «друзей» совершенно не интересует, они сводят счеты!

В тот день неукротимый гнев Генерального не обошел и самого канцлера, теперь уже бывшего. Брежнев очень высоко ценил советы, которые давал, а потому был глубоко травмирован, узнав, что Брандт пренебрег его призывами выстоять и не сдаваться. Он расценил это как слабость, как малодушие, равносильное трусости.

Как-то в те дни он прочел перевод из немецкой газеты, где говорилось, что поступок Брандта был расценен как смелый шаг и что он ушел достойно, высоко подняв голову.

— С высоко поднятой головой от противников бежит только олень, так у него для этой осанки множество рогов на голове вырастает.

Брежнев, человек своего поколения, не без оснований считал войну истинной кузницей характера.

— Вот сразу видно, что Брандт не воевал! Пройди он через эту кровавую мясорубку, он отнесся бы к интригам окружающей его камарильи, как к назойливости осенней мухи: прихлопнул бы ее голой рукой.

Позже, побеседовав с преемником Брандта, канцлером Шмидтом и обменявшись с ним фронтовыми воспоминаниями, Брежнев заметил:

— Вот этот в отставку добровольно не подаст! Он прошел фронт и знает, что на завоеванных позициях надо держаться до конца.

Для столь категоричного обвинения Брандта в трусости у Брежнева были определенные основания. Сам он был человеком не робким, умел рисковать и не только во время войны, где рисковали все, но и много позже, когда вступил в борьбу за власть.

Абстрагируясь от морального аспекта проблемы, следует отметить, что задуманная и осуществленная Брежневым операция по отстранению от власти могущественного в то время Никиты Хрущева была проведена по всем правилам дворцовых переворотов. А ведь риск, учитывая личные качества Хрущева и пройденную им школу кровавых репрессий, был смертельным.

Брежнев понимал, что в случае провала для Хрущева, который подписал за свою жизнь больше смертных приговоров, чем прочел книжных страниц, подписать еще один не составило бы особого труда. Он не пощадил бы инсургента, организовав пышный показательный процесс с гарантированным концом…

Именно поэтому Брежнев тщательно, по секундам отработал весь план путча, оставив Хрущеву лишь один шанс — подписать самоотречение. Кстати, по рассказам самого Брежнева, все дни переворота он провел в своем кабинете, спал не раздеваясь, да и

то с пистолем под подушкой. Кому предназначались пули в обойме пистолета, Брежнев не уточнял.

И тем не менее он стал первым советским лидером, проявившем к низложенному предшественнику великодушие.

Он не только не репрессировал Хрущева, как это прежде водилось, он распорядился оставить ему до конца жизни все полагающиеся бытовые привилегии, включая загородный дом, личного шофера и повара.

Обстоятельствами отставки Брандта Брежнев был глубоко лично травмирован, обижен и подавлен. Тень легла и на Андропова. К нему был обращен в данном случае двоякий упрек: как к партийному деятелю, отвечавшему за отношения с социалистическими странами, и как к руководителю государственной безопасности, ответственному за координацию деятельности советской и восточногерманской разведок. Этика отношений предусматривала, безусловно, что после установления близких контактов между главами СССР и ФРГ восточногерманские шпионы из окружения канцлера должны были быть отведены.

Люди, находящиеся на гребне волны успеха, не терпят разговоров по поводу их неудач. Тема отставки Брандта, в особенности в сочетании с подставленным к нему Восточной Германией шпионом, стала надолго закрытой у нас. (Как и сюжет с американскими супругами Розенбергами, казненными за атомный шпионаж в пользу СССР, были надолго запрещены для обсуждения в стенах КГБ.) Вследствие чего я не знаю, каковым было объяснение Мильке с Андроповым по этому поводу и было ли оно вообще. Рассказывали, однако, что Хонеккер не однажды пытался начать разговор на эту тему с Брежневым, но тот всякий раз уходил от объяснений.

Иначе и быть не могло. В силу склада характера, Брежнев перенес все происшедшее с Брандтом, как личную драму, у него было ощущение, что с фотоаппаратами лезли не в постель Брандта, а в его собственную, чего могущественный автократ и давний поклонник «слабого пола» не мог простить никому. А тем более Хонеккеру!

Сложнее всего пришлось в этой ситуации окружению Брежнева. Убедить его теперь в необходимости поехать с визитом в Восточный Берлин было почти невозможно.

Хонеккеру было куда проще: ему оставалось лишь ждать, пока время сотрет либо остроту конфликта, либо самого Брежнева с лица земли.

И он ждал, порой, теряя контроль над собой и забывая, что пожелание кому-либо кончины может только продлить

последнему жизнь.

Время от времени по Восточному Берлину распространялись «достоверные» слухи о безвременной и скрываемой окружением кончине Генерального секретаря, либо о его очередной и тяжелой болезни. Особенно «достоверными» и отягощенными самыми страшными физиологическими подробностями становились слухи после каждой встречи Генерального секретаря с представителями западногерманского руководства.

Партийные функционеры СЕПГ, непрестанно курсировавшие между Берлином и Москвой, сообщали своим коллегам в ЦК КПСС, с какой радостью Хонеккер рассказывал им «совершенно конфиденциально» об очередном и обширном инфаркте Брежнева.

По политическим, гуманным и прочим соображениям подобная информация Брежневу не докладывалась, Андропов строжайшим образом запрещал собирать, а тем более пересылать в какие-либо инстанции подобные инсинуации, поступившие из Восточной Германии.

И тем не менее однажды Андропов по каким-то только ему известным мотивам показал мне нечто подобное.

Это была выдержка из сообщения некоего доверенного лица, поступившая, судя по дате, из Восточного Берлина накануне. Справа в верхнем углу стоял гриф: «Сов. секретно» и «перевод с немецкого». Слева на полях два жирных восклицательных знака, сделанных, судя по всему, рукой, а вернее карандашом Андропова.

Начиналось сообщение с прямого цитирования Хонеккера:

— На днях у меня был один очень надежный товарищ из Москвы, всегда хорошо осведомленный о том, что происходит там «наверху». Он рассказал, что с этой «генеральной развалиной» все кончено. Паралич всей правой стороны. Врачи говорят, что положение безнадежно и он вряд ли оправится.

Как следовало из бумаги, при последних словах Хонеккер не без удовольствия потер руки.

Жизнь полна трагикомических сюрпризов.

Всего за час до этого у кремлевской клиники, на престижной улице Грановского, где проживала партийно-государственная элита, я встретил Галину Брежневу, с которой был знаком еще во времена, когда молодые люди обращали на нее внимание совсем не потому, что она была дочерью малоизвестного провинциального партийного функционера Леонида Брежнева, а потому, что являлась молодой, очаровательной женщиной, с большими добро улыбающимися глазами и красивой пышной копной каштановых волос. О родителях она говорила всегда с

уважением, но и с некоторой иронией. «У отца что-то произошло со вставной челюстью и он вторую неделю сидит на даче, стесняется показываться на людях. Выезжает только в поликлинику на примерку протеза, как к портному». Остальное время Брежнев проводил в кинозале, просматривая вместе с любимой внучкой Викторией — названной по имени его жены, — один за другим фильмы, прежде всего американские.

Сравнивая услышанное и прочитанное, можно было только удивляться насколько «ненависть туманит разум» и как недальновиден в стремлении выдать желаемое за действительное был Хонеккер.

Ведь закончив свой вынужденный отпуск, Брежнев рано или поздно должен был появиться или на трибуне Мавзолея на Красной площади в честь наступающего праздника или на телевизионных экранах по поводу вручения очередных наград. И тогда нужно было признавать, как говорил великий сатирик, что «распространяемые (в первую очередь Хонеккером) слухи о близкой смерти Генерального секретаря ЦК КПСС сильно преувеличены».

Высказывая все, что я думал по поводу циничного поведения Хонеккера в отношении Брежнева, я тут же рассказал о только что состоявшемся разговоре с Галиной. Тема не была новостью для Андропова.

— Только что перед твоим приходом звонил из машины Генеральный секретарь. Едет на дачу, из поликлиники, жалуется на новый зубной протез. Говорит, очень толстая пластина сушит ему рот. Просил поинтересоваться, нет ли у немцев чего-нибудь поудобнее. Что же касается Хонеккера, то я поражаюсь, откуда такая животная ненависть?

— Боязнь, что мы обменяем ГДР на какие-то отношения с ФРГ.

— Политическое извращение! Думаю, время очень скоро расставит все по своим местам… А пока нам приходится с ним считаться и быть очень осторожными. Другого выхода я не вижу.

Время, действительно, расставило многое по местам, хотя и не так, как мы могли предполагать. В одном оно однако оказалось последовательным— по-разному, но постоянно напоминало людям о содеянном ими.

Стоило больному Хонеккер на короткое время попасть в тюрьму, немецкая пресса проявила к нему максимум внимания, публикуя ежедневно материалы о его ухудшающемся состоянии здоровья, вплоть до рентгеновских снимков его искаженной раком печени.

Когда же смертельно больного экс-секретаря

Социалистической единой партии Германии по гуманным соображениям освободили из заключения, то перед его вылетом к дочери в Чили один из немецких журналистов спросил Хонеккера, какой момент из пребывания в тюрьме он считает наиболее тяжелым.

— Трудно жить, когда тебе со всех сторон предсказывают скорую смерть, постоянно подсчитывают оставшиеся тебе для жизни дни, — мрачно констатировал бывший восточногерманский лидер.

Возвращаясь на 15 лет назад, надо признать, что многие знавшие ситуацию в нашем руководстве, не могли понять логику Хонеккера. Ведь он наверняка знал, что на смену Брежневу придет Андропов, человек более изощренный в политике и прекрасно осведомленный о его поступках, а главное — способный делать серьезные выводы из получаемой информации.

Хонеккер мог бы догадаться также, что не менее, чем сам Брежнев ставку на «восточную политику» Брандта, новые отношения с ФРГ сделал и Андропов, а потому после истории с Гийомом восточногерманскому руководителю рассчитывать на сколько-нибудь положительную перспективу в отношениях с ним было трудно.

Добровольная отставка Брандта трансформировала отношение к нему не только Брежнева, но и в еще большей степени Андропова. Этот шаг канцлера он квалифицировал не иначе, как малодушие.

Еще более тяжелое впечатление на него произвело поведение министра Э.Бара во время заявления Брандта об отставке или как он зло назвал «плач Бара перед телевизионными камерами». «Брандту требовалась поддержка, а не сочувствие. Ему нужны были аргументы, которые бы удержали его от малодушия, а не слезы», — осуждающе заключил шеф.

Король умер, да здравствует король!

В середине мая 1974 года канцлерское кресло в ФРГ занял Гельмут Шмидт, заместитель Брандта по партии, в прошлом — министр обороны, на тот день — министр финансов и экономики.

Их отношения с Брандтом не были гладкими. Это и не удивительно, если учесть, о каких ярких личностях идет речь. Перед Брежневым и Андроповым встала проблема: захочет ли Шмидт перенять правила игры, установленные Брандтом или будет добиваться установления своих, новых?

Оба они мысли не допускали об отступлении от начатой перестройки внешней политики в отношениях с Западной Европой, сулившей принести реальный и столь желанный результат— стабильность в этом важнейшем регионе. Кроме того, поворот призван был преобразить привычный образ Брежнева как политика, которого историки до сих пор почему-то относят к категории «ястребов», приписывая ему авторство в формулировании «агрессивной советской внешнеполитической доктрины».

На самом деле ни о каких агрессивных доктринах, с точки зрения увеличения советских территорий, Брежнев в силу личных качеств и складывавшихся обстоятельств, естественно, и не помышлял.

Идея «мировой революции» сошла в могилу вместе со Сталиным. Его преемники видели свою задачу лишь в том, чтобы не растерять наследство, собранное воедино Рюриковичами, Романовыми и Сталиным, значительно расширившим зону влияния СССР после победы во Второй мировой войне.

Брежнев не был исключением. Сохранить унаследованное — составляло максимум и минимум его внешней и внутренней политики.

К сожалению, в Москве о Шмидте знали очень мало, а имевшаяся информация была крайне противоречивой.

Одни говорили, что он настроен откровенно проамерикански, другие утверждали, что он — немецкий националист. То, что в те времена эти две стороны могли полезно сочетаться, никому в голову не приходило. В двух информациях, поступивших из противоположных точек, я обнаружил однажды одинаковую оценку: «Шмидт— твердый орешек». Она оказалась самой близкой к истине.

У Брежнева к этому времени было две вставные челюсти и положение непререкаемого руководителя одной из двух мировых держав. Так что колоть орехи ему было незачем и нечем. Он

слишком уверовал в мощь (в первую очередь, военную) стоявшего за ним государства, и поэтому не относился очень серьезно к дипломатическим телеграммам и нашептываниям партийных германистов по поводу антикоммунистической непримиримости Шмидта, его прагматизма и весьма непростых отношениях, сложившихся между ним и Брандтом. Более сильное впечатление на Брежнева произвел тот факт, что Шмидт в период кризиса, предшествовавшего отставке Брандта, благородно подставил ему свое плечо, и до последнего момента убеждал его не совершать этого шага.

После долгих часов обсуждения с Андроповым того немногого, что он знал о Шмидте, Брежнев решил направить ему личное письмо с предложением продолжить налаженный его предшественником способ обмена напрямую доверительной информацией. С целью сохранения конфиденциальности, Брежнев предлагал новому канцлеру не менять и тех, кто в течение многих лет сумел сделать канал надежным. В первую очередь это, естественно, касалось Эгона Бара.

Мне предлагалось подготовить проект письма, под которым Генеральный секретарь поставит свою подпись.

Брежнева не слишком раздирали сомнения по поводу, будет ли принято его предложение новым канцлером.

Передавая послание Андропову, Генеральный секретарь, видимо, имея в виду рассказы о непростых отношениях Брандта и Шмидта, глубокомысленно заключил:

— Шмидт— государственный деятель, и легко поднимется над всякого рода предрассудками и дворцовыми интригами.

Он оказался прав. Сочтя прямой канал с лидером СССР полезным, Гельмут Шмидт принял его предложение.

Мы были уверены, что Шмидт продолжит «восточную политику» Брандта. Однако с самого начала стало очевидно, что это не станет простым повторением пути, пройденного его предшественником.

Различие в подходе ощутимее всего сказалось на том, что Шмидт перенес основной акцент с взаимоотношений между нашими странами на проблему военного противостояния между Востоком и Западом.

Брежнев посчитал первое важнее второго и поэтому отнесся к переменам сравнительно спокойно. Андропов объяснял позицию Шмидта непременным желанием канцлера отличаться от Брандта и быть на виду у мировой общественности. Министр обороны СССР Дмитрий Устинов трактовал обращение Шмидта к военной тематике как ностальгию по прошлому, когда канцлер был военным министром ФРГ.

Что касается нас, то смещение акцентов значительно осложняло нашу посредническую миссию: отныне многие вопросы требовалось решать, помимо МИДа, и с Министерством обороны. А в этом ведомстве, как известно, все бумаги, включая туалетную, всегда были строго засекречены.

Брежневу же не терпелось получить доказательства того, что начатое им и Брандтом дело не только не погибло, но и получило дальнейшее развитие.

По просьбе Генерального секретаря, при первой же встрече с новым канцлером ему был задан вопрос, не желает ли он посетить Советский Союз еще в этом году по личному приглашению Брежнева. Приглашение канцлер принял.

Эту, на первый взгляд не столь ошеломляющую новость, Андропов докладывал Брежневу лично. Тот с нескрываемым удовольствием выслушал ответ Шмидта и тут же соединился по телефону с Громыко.

— Послушай, Андрей, — с энтузиазмом начал он, словно идея родилась у него секунду назад, — я думаю, хорошо было бы пригласить нового канцлера посетить нас еще в этом году. Подпишем документы о наполнении «восточных договоров», обозначим, так сказать, преемственность политики со стороны нового канцлера и двинемся дальше…

В середине лета 1974 года помощник Генерального секретаря Александров-Агентов попросил меня зайти к нему. Мы достаточно активно поддерживали связь накануне и в ходе встречи Брежнева и Брандта в Крыму.

Этот сухощавый, небольшого роста человек, глядевший на мир сквозь толстые линзы очков, неизменно поражал всех недюжинной эрудицией. Обстоятельство, выделявшее Александрова среди брежневской команды и делавшее его бесспорным ее украшением.

Не менее, чем образованность и эрудиция, восхищали присущие ему такт и воспитанность. Он безукоризненно находил верный стиль поведения в присутствии «сильных мира сего», в первую очередь, Брежнева. В отличие от остальных царедворцев его отнюдь не распирало верноподданичество, отчего и отношение к нему Брежнева было более уважительным, чем к остальным.

Мне всегда казалось, что наблюдение за поведением людей, входящих в окружение любого могущественного автократа, чрезвычайно полезно для расширения жизненного кругозора.

По отношениям, складывающимся между обслугой и объектом их профессиональной заботы, нетрудно, например, судить о человеческих достоинствах опекаемого.

Брежнев относился к обслуживавшим его людям достаточно демократично, точнее, по-человечески.

Однажды, когда Генеральный секретарь въезжал в Спасские ворота Кремля, некто Ильин, человек душевнобольной, выстрелил по брежневской машине. Шофер был убит. Генеральный секретарь остался невредим. Злоумышленника схватили. Сталин в этой ситуации репрессировал бы «за потерю бдительности» всю охрану вместе с ее руководителем. Склонный к реформаторству Хрущев ограничился бы половиной, отправив вторую часть на пенсию. Брежнев отказался от обоих вариантов. Это была заслуга не столько его, сколько изменившегося времени.

И тем не менее, само происшествие по тем временам выглядело столь неслыханным, что Андропов решил сам поехать в тюрьму, чтобы выяснить у преступника истинные мотивы его поступка. Николаев с готовностью объяснил ему, что хотел устранить Брежнева лишь с тем, чтобы открыть дорогу к власти Суслову.

Историю эту мне рассказал один из заместителей Андропова, с которым я как-то столкнулся на улице. «В данный момент, — добавил он, — преступника Николаева обследуют самые яркие «светила» советской психиатрии». Не слишком раздумывая над своими словами, я махнул рукой: если человек предпочитает Суслова Брежневу, то он явный «псих» и нечего врачам, не говоря уж о «светилах», тратить попусту время.

Минут через тридцать, войдя в кабинет, я был тут же вызван «на провод», и раздраженный голос Андропова в трубке настоятельно порекомендовал мне четче формулировать мысли в разговорах с его заместителями.

Уверен, Юпитер прогневался не потому, что я был неправ, а как раз наоборот.

Впрочем, доносить при малейшей возможности шефу и бояться Суслова входило в правила игры, которых никто не в силах был изменить.

На сей раз мы с Александровым-Агентовым уже более часа обсуждали самые общие проблемы советско-западногерманских отношений. По всем вопросам у него было заведомо больше информации, чем у меня, да и анализировать ее он умел куда лучше. А потому, высказывая свое мнение и выслушивая его, я напряженно старался понять, зачем он пригласил меня.

Очевидно, заметив мое смятение, Александров решил не терять больше времени:

— Я хотел сообщить вам сугубо конфиденциально, что нами от немецких друзей получена информация о том, что между Шмидтом и Брандтом существовали и существуют глубокие

разногласия по многим вопросам, в том числе и во взглядах на перспективу отношений между нашими странами. Одним словом, друзья осторожно предупреждают, что если визит Шмидта в Москву состоится, он может выступить с острой критикой Брандта.

Александрова интересовал вопрос, стоит ли готовить Генерального секретаря к такому повороту дел. Единственный аргумент с моей стороны, убедивший и успокоивший Александрова, сводился к тому, что даже при наличии противоречий нынешний канцлер вряд ли станет сводить счеты со своим предшественником в Москве в присутствии Брежнева.

Мне было странно, что даже такому мыслящему политику, как Александров, не пришла в голову простая мысль, что в большинстве государств вновь пришедшему к власти лидеру совсем не обязательно уничтожать ни физически, ни морально своего предшественника. Мудрые политики чаше поступают как раз наоборот.

Как бы то ни было, 28 октября 1974 года самолет с канцлером ФРГ Гельмутом Шмидтом на борту приземлился в московском аэропорту «Внуково-2».

Гостя принимали на самом высоком из всех мыслимых уровне: Брежнев, Косыгин и Громыко лично подошли к трапу самолета. Следом, на положенном расстоянии, двигались почти все члены советского кабинета министров. Ясно, была дана команда: «патронов не жалеть».

Учитывая, что Гельмут Шмидт прилетел с супругой, на летное поле, помимо почетного караула, были выведены жены высшего руководства. Редчайший случай — среди них были даже Виктория Брежнева, обремененная множеством комплексов и малоподвижная дама, с большим удовольствием отсиживавшаяся дома.

Присутствовала, конечно, Лидия Громыко, начисто лишенная каких бы то ни было комплексов и придерживавшаяся противоположных взглядов.

Супруга самого долговечного в ту пору министра иностранных дел отдавала себе ясный отчет в том, какие нечеловеческие перегрузки приходится испытывать ее мужу, вследствие чего немалую долю его служебных забот взяла на себя.

В свое время было много разговоров о влиянии Нэнси Рейган на расстановку кадров в Белом доме. В том, что касалось кадровых вопросов МИД СССР, Лидия Громыко ни на йоту не уступала Нэнси, не говоря уже о том, что ее «забота» о советских дипломатических кадрах в СССР длилась многие десятилетия.

Ее нашествия в советские посольства, главным образом в индустриально развитых странах, воспринимались сотрудниками этих представительств и их глав как стихийные бедствия, сравнимые разве что с многолетней засухой и неурожаем в среднеразвитой аграрной стране.

Вдовца Косыгина при встрече Шмидта сопровождала дочь — Людмила Гвишиани. После смерти жены советский премьер во всех протокольных случаях появлялся исключительно в ее обществе.

Визит подробно освещался и советской, и западногерманской прессой, с большим количеством фотоснимков и подробным описанием деталей не только политического, но также и светского характера.

30 октября в Кремле было подписано совместное заявление о визите Шмидта и Геншера в Советский Союз. Брежнев и Громыко, Шмидт и Геншер поставили подписи под Соглашением между Правительствами СССР и ФРГ. Косыгину было отведено третье место при подписании. Список приглашенных, составленный согласно алфавиту, возглавлял Андропов.

31 октября состоялись проводы западногерманского канцлера, не менее пышные, чем встреча.

Согласно протоколу, канцлер обошел почетный караул, включавший представителей всех родов войск. Среди выстроившихся не было, впрочем, представителей ракетных войск, к которым у канцлера было больше всего вопросов. А жаль. Возможно, взглянув в открытые лица молодых людей, представляющих одновременно и военную и интеллектуальную элиту страны, Шмидт отказался бы от изрядной части предубеждений, которые он испытывал по поводу угрозы, воплощенной в ракетах СС-20, размещенных в западной части СССР. Им, увы, суждено было стать «яблоком раздора» между Западом и Востоком до конца десятилетия.

Справедливости ради надо сказать, что Шмидт попытался было заговорить на тему о ракетах средней дальности с Брежневым, но тот, не вдаваясь в суть проблемы, сказал что-то о «примерном равновесии между Варшавским пактом и НАТО», после чего счел тему исчерпанной.

Ракетный джинн

Простившись с провожавшими, канцлер Шмидт с супругой поднялись на борт самолета, который тут же вырулил на взлетную полосу и, немного пробежав по русской земле, легко оттолкнулся от нее, взяв курс на Запад.

Шмидт и Геншер увозили в своих портфелях согласованные документы о мирном сотрудничестве, а также неразвеянные сомнения по поводу размещаемых в западной части СССР ракет СС-20.

Сомнения их разделяли далеко не все. Внимание человечества было приковано к противостоянию двух основных соперников — СССР и США. Две державы, вволю попугав друг друга и изрядно на этом поиздержавшись, решили несколько поумерить свои амбиции, успокоить расшалившиеся нервы и поправить материальное положение.

В результате был подписан договор ОСВ-1, дело шло к подписанию ОСВ-2. Отвлечение внимания от этой увлекательной темы воспринималось с раздражением. Выслушав доводы и опасения Гельмута Шмидта, Генеральный секретарь, не задумываясь, от них отмахнулся.

Пять лет спустя, в июне 1979 года в Вене, куда он прибыл по случаю подписания ОСВ-2, президент США Картер позволил себе в разговоре с Брежневым упомянуть о новых советских ракетах.

Разговор происходил почему-то в лифте. Вероятно, мгновенное ощущение невесомости при начале движения подъемника навели президента на мысль о космосе и ракетах. Косвенно подтверждением тому служит тот факт, что стоило лифту остановиться, а президенту и генсеку вновь ступить на твердую почву, как тема была сменена.

С другой стороны, наивно было бы предположить, что короткого путешествия по вертикали могло оказаться достаточным для решения вопроса, окончательно урегулировать который их преемники смогли лишь по истечении пяти лет. Почувствовав настрой советского руководства, а может быть, по иной причине, Шмидт на некоторое время чуть ослабил нажим в этой области. Поначалу это вызвало у нас некоторое недоумение, прояснившееся лишь осенью 1977 года, когда канцлер откупорил бутылку и выпустил из нее «ракетного джинна».

Выступая в сентябре 1977 года перед солидной и высокопрофессиональной аудиторией в престижном лондонском Институте стратегических исследований, Гельмут Шмидт известил присутствующих о своем открытии. Он обнаружил

некую «серую зону», образовавшуюся в переговорах между СССР и США по стратегическим ракетам и на Венских раундах переговоров по разоружению.

«Серая зона» включала в себя, грубо говоря, два основных элемента. В начале семидесятых годов советская сторона начала замену изрядно подзаржавевших за пятнадцать лет прежних ракет СС-4 и СС-5, по западной терминологии, на более современные — СС-20.

Люди, отвечавшие за сохранение секретов в нашей стране, долго были горды тем, что основные тактико-технические данные новой ракеты, не говоря уже о ее фотоснимках, долгое время оставались тайной.

Специалисты на Западе считали ее мобильной, способной нести три разделяющиеся боеголовки и покрывать расстояние до пяти тысяч километров.

В «серую зону» попал также советский бомбардировщик Ту-22, «бэкфайер», примерно с таким же радиусом действия, как и СС-20, но с 4–5 атомными бомбами на борту.

Развернутая Шмидтом кампания создала благоприятную почву, на которой советские послы могли блеснуть своим дипломатическим интеллектом. В Москву хлынул поток телеграмм с записями бесед, соображениями и рекомендациями по выходу из надвигавшегося конфликта между НАТО и Варшавским пактом. Оценивались поступавшие из заграницы мысли не только по их содержанию, сколько по отношению, складывавшемуся в Москве к их авторам.

В начале 1978 года я был свидетелем любопытного телефонного разговора, в котором Громыко поинтересовался у Андропова читает ли тот пространные телеграммы советского посла в Бонне Фалина, и не дождавшись ответа продолжил:

— У меня от них начинается аллергический насморк, как от свежего сена. У Фалина, понимаешь ли, рецидив старой болезни: драматизировать все до последней крайности и обязательно на самом высоком уровне. Притом, обрати внимание, какая писучесть! И все в поучительном тоне. А ведь посылая его в страну, надеялись, посидит-подумает, образумится, так нет… Хочет быть святее папы.

Положив тогда трубку, Андропов пояснил мне причину столь резко-критической тирады министра в адрес своего посла.

История была типичной для министерства иностранных дел и банальной для многих советских учреждений.

Как и следовало ожидать, неординарное мышление, повышенная активность и фривольное толкование Фалиным некоторых аспектов проводимой Громыко внешнеполитической

линии доходило до ушей министра и явилось причиной отправки первого в Бонн.

Теперь выяснялось, что ссыльный посол оказался не столь робким, как его коллеги, очутившиеся в изгнании. Он не сделал из происшедшего выводов, на которые рассчитывал министр, и, используя один из визитов Генерального секретаря в Германию, постарался изложить ему свое видение активизации деятельности советского внешнеполитического ведомства, и в первую очередь на немецком направлении.

При этом он посетовал на то, что его многочисленные телеграммы порой не достигают адресатов, оседают в министерстве, а на часть из них он не получает ответа.

По возвращении в Москву Брежнев, со свойственной ему прямотой, поинтересовался у Громыко, насколько справедливы высказывания боннского посла в адрес министерства иностранных дел.

Думается, Громыко пришлось пережить несколько неприятных минут, подыскивая аргументы в свое оправдание.

— Запомни, этим твой друг Фалин поставил точку в своей дипломатической карьере. Откровенно говоря, я и представить себе не мог, что он, опытный аппаратчик, страдает «синдромом кенгуру».

Я подумал, что ослышался и вопросительно глянул на Андропова.

— Прыгает через голову непосредственного начальства, — пояснил он.

Мне приходилось бывать в Австралии и наблюдать за повадками кенгуру на воле, но вот прыжков их через голову начальства я не наблюдал, а потому метафора Андропова показалась мне не слишком удачной, хотя неодобрение поведения посла было понятно.

Управленческая структура того времени была выстроена в строжайшем соответствии с принципом вертикального подчинения, и какие-либо отклонения от этой вертикали, не говоря уж о прыжках через голову, беспощадно наказывались. Печальные перипетии, связанные с профессиональной карьерой Фалина на этом этапе — лучшее тому подтверждение.

Вернувшись в 1978 году из Бонна в Москву, он долгое время подвергался остракизму. Мне приходилось неоднократно навещать его в невзрачном тесном кабинете полито-бозревателя газеты «Известия». Теперь он сидел за столом, сложившись втрое, и готовил очередной материал по проблеме разоружения, которая в ту пору становилась не только актуальной, но и модной.

Прошло несколько лет, прежде чем очередная волна вынесла

его вновь на гребень и усадила в кресло заведующего Международным отделом ЦК, о чем он сегодня вспоминает не без сожаления, ибо эта волна явилась для него «девятым валом».

Что касается мнения Андропова о Фалине, то оно оставалось для меня долгое время непонятным, пока случай не прояснил его. А заодно и несколько малоприятных деталей, касающихся меня, после чего стало очевидным, что в отношениях с шефом я не мог рассчитывать на роль жены Цезаря, которая, как известно, во всех случаях жизни оставалась вне подозрений.

— Послушай, — поинтересовался как-то в разговоре уже упоминавшийся руководитель аппарата КГБ в ГДР Иван Фадейкин, — давно хотел тебя спросить, как закончилась история, когда ты возил Фалина в Западный Берлин к Бару? Юрий Владимирович рвал и метал молнии по поводу твоих несогласованных с ним действий. Как ты мог так опрометчиво поступить? Ведь тебе же было наверняка известно его отношение к Фалину.

В этом он ошибался. Сама же история, как мне тогда казалось, не стоила выеденного яйца и гнева столь высокопоставленного лица в государстве. И тем не менее…

Как-то еще до своего отъезда в Бонн, Фалин разыскал меня в Берлине и обратился с просьбой познакомить его поближе с Э.Баром. Ранее они встречались в Москве во время официальных переговоров. Теперь же он хотел в конфиденциальной обстановке обсудить с западногерманским министром ряд конкретных моментов готовившихся к подписанию соглашений.

Договорившись с Баром, я серым берлинским промозглым утром, оставлявшим лишь выбор между мокрым снегом и холодным дождем, подъехал к советскому посольству у Бранденбургских ворот.

Фалин ждал меня в вестибюле, и когда мы уже вышли на улицу, неожиданно спросил, нельзя ли взять с собой Ю.Квицинского. Я посчитал, что об этом лучше всего поинтересоваться у Бара. В результате мы сели в машину и отправились в путь.

В связи с регулярными переездами через стену, мой скромный темно-синий «форд» был хорошо известен на контрольно-пропускном пункте «Чек-пойнт Чарли». Машину никогда не останавливали, не подвергали досмотру, а главное, не интересовались, кто находится внутри.

На сей раз никаких отклонений от обычного ритуала не произошло. Едва завидев нас, пограничник разрешающим жестом пригласил нас без задержки проследовать в «свободный мир». Вскоре мы благополучно добрались до Пюклерштрассе, 14.

Почти трехчасовая дипломатическая беседа с обсуждением формулировок возможных договоренностей, под кофе и апельсиновый сок для Фалина, были нам наградой за «мужественное» преодоление стены, разделявшей две Германии.

Когда же результат встречи совпал с целью и Фалин смог перейти с Баром на «ты», мы поблагодарили гостеприимного хозяина и отправились в обратный путь.

Если бы велась протокольная запись состоявшейся беседы, то в ней следовало бы отметить, что встреча прошла в «духе полного взаимопонимания сторон».

К сожалению, эту формулировку нельзя было распространить на события, последовавшие после нее.

— Скажи, пожалуйста, зачем ты занимаешься самодеятельностью? Что это за сватовство Фалина с Баром в Западном Берлине? — поинтересовался Андропов подчеркнуто вежливо, с трудом сдерживая распиравшее его раздражение.

Застигнутый врасплох, я не сразу нашел необходимые слова. В растерянность меня повергла не суть дела, в котором я не видел никакого криминала, а лишь тон, каким был задан вопрос.

Возражать сильным мира сего— вещь неблагодарная. В этом случае слух их притупляется, а речь обостряется. Выдвигаемые аргументы, ударившись в стену, возвращаются к вам в виде упреков.

Если я не знаю обстановки и не имею достаточно полного представления о людях, то мне следует посоветоваться с теми, кто разбирается в том и другом, с раздражением выговаривал мне Андропов. Он достаточно проработал в МИДе и хорошо представлял себе, кто из чиновников на что способен ради карьеры.

На приведенную мною затертую временем армейскую сентенцию о том, что каждый солдат должен стремиться в генералы, из которой вытекало, что и я не прочь был бы сделать карьеру, он реагировал по-своему. Существуют, оказывается, карьеристы «полезные» и «циничные». К первым Фалина он не причислил.

В этом вопросе и после беседы каждый из нас остался при своем мнении. Для Фалина негативное отношение к нему Андропова не было секретом, и, как мне казалось, он искал возможность, чтобы объясниться с ним, чего Андропов старался избежать.

Меня же после состоявшегося объяснения с шефом волновала совсем иная проблема. Из того, что Андропову тут же стала известна такая незначительная деталь, как наша поездка в Западный Берлин с казалось бы анонимным пассажиром, можно

было сделать вывод, что и в Восточном Берлине к нам относились не совсем безразлично. Важно было знать, делалось ли это с санкции шефа или это была самодеятельность его заместителей. И какую роль при этом играли «немецкие друзья»?

Беседа с Фадейкиным не исключала ни одного из вариантов.

Тем временем кампания по ликвидации «серой зоны» все более приобретала контуры, заложенные в популярной «теории устрашения». Сторонники теории пропагандировали ее как вклад в дело удержания мира от ядерной катастрофы, не упоминая о том, какое количество тотального недоверия она породила между странами, и без того переполненными подозрениями друг к другу. Не упоминалось также имя Хрущева, одного из величайших поклонников «теории устрашения», который проверил ее на практике во время Карибского кризиса. Хрущев был единственным, кому удалось в послевоенное время так близко подтолкнуть человечество к атомной пропасти и при этом квалифицировать безумный шаг как величайшее благо для своего народа.

Однажды, во время дружеского застолья, в кругу вполне доверявших друг другу людей, я слышал рассказ зятя Никиты Хрущева, Алексея Аджубея, о том, что для пущего устрашения американцев количеством вывозимых на Кубу ракет во время Карибского кризиса на палубы некоторых советских кораблей, шедших к «Острову Свободы», укладывали вместо настоящих ракет надувные баллоны, точно воспроизводящие их по форме.

По прибытии в Гавану, воздух из этих «ракет» выпускали, и в обратный путь суда шли с пустой палубой. По возвращении в один из советских портов, воздух в баллоны закачивался вновь и все повторялось сначала.

Так, напугав американцев надувными ракетами, подобно тому, как в «Диснейленде» пугают надувными резиновыми зверями детей, Никита Сергеевич отстоял независимость Кубы.

Алексей Аджубей был талантливым журналистом и одержимым пропагандистом своего тестя. Он считал карибскую ракетную эпопею одной из самых блестящих внешнеполитических операций Хрущева.

— В обмен на воздух — независимость молодого социалистического государства! — восклицал Аджубей.

Звучало и впрямь прекрасно. Кто-то возразил, резонно заметив, что пугать детей — нехорошо, а взрослых, да еще президентов — опасно. Одним словом, сидевшие за столом сошлись на том, что Алексей явно выпил лишнего.

Прочитав очередную телеграмму из Бонна о позиции канцлера Шмидта в вопросе о ракетах, Брежнев позвонил

Андропову и, совершенно очевидно находясь в скверном расположении духа, попросил подумать, стоит ли ему и вовсе лететь в Бонн и проводить официальный визит в Германию, намечавшийся на май 1978 г.

Андропов непривычно легко отнесся к вероятности подобного демарша, в буквальном смысле, махнув рукой: дескать, не стоит обращать внимания…

Это, однако, не было проявлением излишней самоуверенности или безрассудности. Андропов просто хорошо знал обстановку, сложившуюся в личном кругу близких и очень близких к Брежневу людей. Он знал, например, что из-за некорректного, мягко говоря, поведения его экстравагантной дочери и пьяницы-сына, Брежнев все чаще стал впадать в депрессию, заявляя домочадцам о том, что он устал, не находя отдыха ни дома, ни на работе, и решил уйти на пенсию, желая в покое дожить отпущенный ему судьбой срок.

При этих словах домочадцы окружали Генерального секретаря плотным кольцом и, выстраивая в ряд испытанные и неопровержимые аргументы, старались убедить его, что без Леонида Ильича клан придет в упадок, а с ним — все государство советское.

Оба довода были неотразимы. Поэтому, выдержав традиционную паузу, Брежнев всякий раз «сдавался», уступая настояниям близких выполнять и впредь неблагодарную и обременительную миссию по управлению государством.

Андропов прекрасно понимал, что капризная угроза отказаться от визита в ФРГ сродни этим сценам в домашнем театре, а потому не придавал ей никакого значения, зная, что она будет забыта к исходу дня.

Так оно и произошло.

Кажется в январе 1978 года Шмидт высказал пожелание лично познакомиться с советской частью уже функционировавшего между ним и Брежневым канала. Для встречи было выбрано время завтрака. Поскольку в своем письме Брежнев предлагал сохранить канал в первозданном виде, было принято решение на встречу со Шмидтом направить Леднева.

В принципе приглашение к столу со стороны канцлера повергло нас в уныние. Нами оно воспринималось не иначе, как продолжение разговора о пресловутых ракетах, но, как бы сказал Клаузевиц, «иными средствами». К подобному повороту в ходе событий мы не были готовы ни практически, ни теоретически.

Валерий был решительно во всех отношениях сугубо гражданским человеком. Единственным видом оружия, с которым

ему отродясь пришлось иметь дело, был шанцевый инструмент, а именно, саперная лопатка. Ею он, будучи студентом, рыл в военные годы окопы вокруг Москвы.

Мои знания в военной области в силу длительной оторванности от армии также безнадежно устарели. Надежды на помощь в освежении моих познаний можно было возлагать лишь на давних приятелей по военной академии. Многие из них за прошедшие со времени совместной учебы годы сильно поднаторели как «разоруженцы», прочно оседлав «венские раунды» — переговоры по взаимному разоружению и сокращению вооружений в Европе.

Люди эти представляли примечательную плеяду военных профессионалов-теоретиков, вся жизнь которых на многие годы оказалась очерченной исключительно рамками Венских переговоров, к проведению которых они были привлечены еще совсем молодыми людьми, сразу по окончании Академии.

С годами у них появлялись жены, дети, седина в волосах. Затем — новые жены, и новые дети, а там и пенсионная пора. Но «раунды» все продолжались…

К счастью, даже будучи уже «вне службы», они оставались прекрасными специалистами своего дела. Разбуди любого из них среди ночи и он мог сказать, не просыпаясь, сколько разделяющихся боеголовок несет американская ракета «Посейдон» или назвать радиус действия устаревшего бомбардировщика «В-2», находящегося на вооружении у англичан, а кроме того, в доступной форме объяснить, почему те так спешат заменить его новым истребителем-бомбардировщиком типа «Торнадо».

Правда, ситуация с ракетами СС-20 была даже им не очень ясна, и тем не менее, каждый раз, находясь в Москве, я старался проконсультироваться с кем-нибудь из них, понимая, насколько недопустимо быть профаном, когда военные аспекты начинают играть решающую роль в «высокой политике».

Накануне визита Валерия Леднева к канцлеру, я, в свою очередь, попытался сыграть роль просветителя, но в очередной раз убедился, как безнадежно учить тому, что сам нетвердо знаешь.

Параллельно на мне лежала также задача экипировки моего друга, немаловажная в свете предстоящего утреннего застолья на столь высоком уровне.

Она была максимально осложнена полным и тотальным пренебрежением Валерия к своему внешнему виду, что никак не вязалось ни с рамками протокола, ни, конечно, с представлением о приличиях неизменно элегантного до изысканности Гельмута

Шмидта.

Что-то срочно нужно было предпринимать. В не самом фешенебельном универмаге «C&A» на командировочные деньги мы купили Валерию новый, на наше счастье, вполовину уцененный и по виду роскошный, серый визитный костюм.

Для приведения в порядок прически Леднев воспользовался известной ему уже парикмахерской вблизи западноберлинского вокзала «Ам Цоо». Престижной ее назвать было трудно, но о выборе мы ничуть не пожалели.

Мастером, взявшимся облагородить едва заметный ободок волос на тыльной стороне черепа моего друга, оказался пожилой прибалтийский еврей, переместившийся по окончании войны в Германию. Звучно щелкая большими ножницами почти исключительно в воздухе, он ни на секунду не закрывал рта, рассказывая то трагичные, то смешные истории из времен гитлеровской оккупации Риги.

Лейтмотивом повествования была мысль о том, что не красота, а цирульное ремесло спасет мир, как оно спасло ему жизнь во время оккупации. Немцы были так зачарованы его искусством придавать их головам человеческий вид, что вместо концлагеря оставили его в родной Риге, где он обслуживал всю немецкую комендатуру.

— А, может быть, они просто не догадывались, что вы еврей? — осторожно предположил я.

Мое замечание было воспринято, как умаление национального достоинства. От обиды ножницы замерли в воздухе.

— Вы посмотрите на меня в зеркало, и сомнения тут же покинут вас, молодой человек.

Сколько чувств было в этом восклицании! Цирюльник всю жизнь воспринимал людей и себя лишь в их зеркальном отражении, и только его считал истинным.

С Валерием и со мной происходило нечто подобное. Зачастую мы тоже жили больше в наших зеркальных отражениях, нежели в реальном мире.

В тот момент, когда мы вели переговоры с нашими немецкими партнерами, мы стремились заглянуть в советское зеркало, чтобы лучше представить, как очередное послание немцев будет воспринято в Москве.

И наоборот. Сидя в кабинете Андропова и получая от него что-то для передачи немцам, я пристально вглядывался в немецкое зеркало, стараясь предугадать реакцию Брандта и Бара на московское послание.

А для тех, кто усомнился бы в нашей лояльности как

посредников, у нас была заготовлена фраза, произнесенная берлинским Фигаро: Взгляните в оба зеркала одновременно и ваши сомнения моментально развеются.

Не берусь сказать, что обеспечило успех — искусство несостоявшегося узника концлагеря, мой безупречный вкус при выборе уцененного костюма или, может быть, седьмое, политическое, чутье искушенного политика Шмидта, но Леднев вернулся после завтрака в полном восторге от канцлера, от состоявшейся беседы и, конечно, от самого себя. Как у всех талантливых людей, у Валерия были некоторые недостатки. Но комплексом неполноценности он отнюдь не страдал.

И все же из рассказа четко вытекало, что благоприятный исход беседы был заложен в политическом такте Шмидта. Он не стал обременять беседу ракетной тематикой, а лишь подтвердил свою позицию в этом вопросе, но тут же попросил передать Брежневу, что опасается, как бы «ракетная дискуссия» не повредила позитивному развитию отношений между ФРГ и Советским Союзом. Большего подарка от судьбы на этом этапе мы ожидать не могли.

Из разговора становилось ясно также, что канцлеру очень не хотелось, чтобы «ракетная тема» отрицательно повлияла на их отношения с Брежневым, а уж тем более, на подготовку визита Генерального секретаря в ФРГ. Учитывая настроения Брежнева, последнее обстоятельство показалось нам крайне важным.

Андропов тут же позвонил генсеку, передал пожелания Шмидта, и добавил от себя, что визит непременно должен состояться. Брежнев в ответ неожиданно спросил:

— А что, Юра, кто-нибудь из членов Политбюро сомневается в целесообразности моей поездки в Шмидту?

Андропов промолчал, чтобы не называть имя сомневавшегося.

Во время завтрака канцлер просил также передать Брежневу, что для создания более благоприятного климата было бы полезно вывести ракеты СС-20 за Урал.

Этому пожеланию Шмидта не суждено было сбыться, хотя оно однажды обсуждалось Брежневым, Андроповым и министром обороны Д. Устиновым. Последний, кроме прочих профессиональных доводов, привел собеседникам такую астрономическую цифру стоимости передислокации ракет, что дальнейшее обсуждение этой проблемы стало бессмысленным.

И тем не менее каждая новая информация, полученная от Шмидта по каналу, делала канцлера все более привлекательным для Брежнева и особенно Андропова.

Однажды, касаясь проблемы гонки вооружений, канцлер

сформулировал свою позицию следующим образом: в положении СССР и США есть существенное различие, а именно, русские постоянно думают, где взять деньги, американцы же— куда их вложить. Деньги уже давно приобрели не только экономическую, но и политическую силу, размышлял канцлер, поэтому, если вы мне скажете, куда и сколько денег вложено, я берусь вам с достаточной точностью предсказать, какие события произойдут там в ближайшее время.

Брежнев отнесся к политэкономическим обобщениям Шмидта как к пожеланиям в свой адрес более настойчиво вести переговоры с американцами по проблеме стратегического разоружения. Андропов, в свою очередь, особо оценил «элегантность формы», в которую Шмидт облек свою мысль, показавшуюся мне, прямо скажем, не слишком оригинальной.

Как-то в разговоре с Андроповым мы затронули тему о том, что после войны Западная Германия выдвинула целую плеяду талантливых политиков: Аденауэра, Эрхарда, Брандта, Шмидта, каждый из которых был личностью, пусть разной по яркости.

Невольная параллель привела нас к заключению, что по каким-то причинам в нашей стране послевоенное время выдвинуло на роль руководителей совсем не самые светлые умы: Маленкова, Булганина, Хрущева.

Обойдя осторожно Брежнева, Андропов неожиданно признал, что вряд ли кого-либо и из нынешних государственных и партийных деятелей можно отнести к разряду талантливых руководителей, способных решать стоящие перед страной трудности.

Однако он тут же спохватился и, словно обидевшись за сложившуюся ситуацию, принялся убеждать себя в том, что грядет лучшее будущее. Подросла целая плеяда молодых коммунистов, понимающих необходимость внесения корректив в нашу жизнь. Уже сформировался где-то в глубинке лидер, способный взять на себя тяжелейшую ношу перестройки, самого главного для нас — запущенного сельского хозяйства. Надо, в первую очередь, накормить народ.

Тогда я впервые услышал слово «перестройка» в том смысле, в котором ему было суждено войти в мировой лексикон: впервые как взлет, а позже как начало распада второй мировой державы.

Зная, что Андропов предпочитает скрывать свои личные контакты, я не осмеливался поинтересоваться именем того, кто должен был накормить Россию, надеясь, что он в конце концов назовет его сам.

Еще задолго до этого разговора мне довелось неоднократно слышать рассказы очевидцев о том, что Андропова во время его

осенних отпусков, которые он проводил на водах в районе Железноводска, постоянно опекал секретарь Ставропольского краевого комитета партии. Их часто видели прогуливавшимися вместе по аллеям санатория.

Я знал, что Андропов не стал бы тратить напрасно время, даже отведенное для прогулок, на человека, на которого он не возлагал каких-либо надежд. Поэтому когда он заговорил о сформировавшемся лидере «из глубинки», я невольно вспомнил о ставропольском секретаре и насторожился.

— Это настоящий самородок, — продолжал Андропов, — великолепный организатор, прекрасно знает сельское хозяйство, долгое время трудился в поле, а оттуда перешел на партийную работу. Убежденный, последовательный и смелый коммунист! Одним словом, то, что сейчас необходимо: партийный организатор от земли.

К сожалению, идея выдвижения партруководителей «снизу» была далеко не оригинальной. Более того, существовало много примеров тому, когда выдвиженцы «из низов», обретя власть, быстрее других превращались в тупых, самодовольных и невежественных бюрократов.

— Так он от земли или от сохи?

Тут же я пожалел, что не сдержался, ибо глаза Андропова мгновенно остекленели и стали злыми, в тоне прозвучала обида:

— Знаешь что, в юности я плавал по Волге на небольшом суденышке. Так вот, мой боцман говорил иногда: бывают у некоторых людей языки, которыми хорошо старый лак с палубных досок снимать вместо наждачной бумаги, а не человеческие слова произносить.

Затем, стремясь скрыть раздражение, он взял первую попавшуюся папку и стал демонстративно читать какую-то телеграмму, подчеркивая остро отточенным карандашом отдельные слова. На языке общения с шефом это означало не только конец аудиенции, но нечто большее.

Мне следовало как можно быстрее покинуть кабинет и как можно дольше не переступать его порога, по крайней мере пока не позовут. Если позовут вообще.

Прошло несколько дней, но интереса ко мне сверху» никто решительно не проявлял. Миновавшие две недели тоже ничего не изменили. Не прояснились и причины болезненной реакции шефа на безадресный, пусть несколько легкомысленно сформулированный вопрос, не имевший отношения к какому-либо конкретному лицу.

Разгадка пришла позже, когда согласно посмертному духовному завещанию Андропова его место руководителя

государства занял бывший секретарь Ставропольского комитета Коммунистической партии Михаил Горбачев. Тогда стало ясно, что именно Горбачева имел в виду Андропов, когда говорил о «самородке от земли» и, обидевшись за него, как за своего избранника, подверг меня остракизму.

«Отлучение» продолжалось около месяца. Вновь допущенный в приемную, я тут же услышал своеобразную оценку случившемуся из уст искушенного в интригах и достаточно повидавшего на своем служебном веку дежурного секретаря:

— Давно вы у нас не были — радостно воскликнул он.

— Не приглашали, — неопределенно пожал я плечами.

— Значит, в чем-то провинились, и шеф таким образом воспитывал вас.

Андропов был одарен высоким интеллектом и лишен какого-либо воспитательного дара, поскольку страдал дальтонизмом при распознавании людей.

Лестница вверх и вниз

4 мая 1978 года самолет «Аэрофлота», имея на борту Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и сопровождающих его лиц, совершил посадку в немецком аэропорту Кельн-Бонн. Это была его вторая поездка в Германию. Как спустившиеся по трапу гости, так и твердо стоявшие на немецкой земле встречающие официальные лица достаточно уже хорошо знали друг друга, и поэтому, быстро перемешавшись, образовали на летном поле вблизи самолета довольно однородную серую толпу. Одни и те же помощники, советники, переводчики, знакомые друг другу дипломаты. Было лишь одно исключение, но существенное — вместо канцлера Брандта первым у трапа стоял теперь канцлер Шмидт. Представлял он, правда, ту же партию и возглавлял ту же коалицию, что и Брандт. В значительно усиленную по численности группу советских сопровождающих лиц входил неизменный министр авиации, уже упоминавшийся Бугаев, теперь, правда, в чине маршала. Инициатива приглашать в качестве гаранта безопасности перелета высокопоставленного представителя от авиации принадлежала не Брежневу. Его предшественник, Никита Хрущев, при длительных перелетах за границу брал с собой в качестве заложника конструктора самолетов Туполева. Брежнев считал министра авиации достаточно серьезным гарантом в этом отношении и поэтому постоянно таскал Бугаева с собой.

Перелет, однако, не представлялся организаторам визита с обеих сторон каким-то узким местом. Были трудности и посерьезнее, в частности, с размещением высоких гостей. Во время первого визита в Германию в 1973 году в распоряжение Брежнева была предоставлена правительственная резиденция Петерсберг на высокой горе, откуда окрестности Бонна и сам город можно разглядывать как на своей ладошке. Используя это географическое превосходство, Генеральный совершил свой знаменитый спуск с горы Петерсберг. На подаренном ему «мерседесе» он пронесся с недопустимой скоростью по крутому серпантину узкой дороги до живописного местечка Кенигсвинтер, протянувшегося вдоль Рейна. Поездка не обошлась без приключений. Стараясь избежать столкновения со состоявший на повороте полицейской машиной, Брежнев резко уклонился в сторону и, зацепив бордюрный камень, сорвал масляный картер с новенького «мерседеса».

Очнувшись от шока, брежневские охранники высказали про себя все, что они думали об охраняемом. Но дабы окружавшие их

немцы не догадались, о чем идет речь, сделали это исключительно на русском языке. Со своей стороны, немцы тоже извлекли урок из случившегося. Чтобы не искушать Генерального секретаря поместили его во время второго приезда в более спокойном, с точки зрения рельефа, районе. Замок Гимних, предложенный Брежневу в качестве резиденции, был построен, однако, в те времена, когда роскошь и удобство не были синонимами. Поэтому разместить Генерального секретаря и министра иностранных дел под одной крышей, как это было спланировано, оказалось задачей не из простых, поскольку надо было обеспечить в старом здании все многочисленные бытовые прихоти двух высокопоставленных стареющих гостей. Ситуация с главным из них составляла особую заботу всех его приближенных и особенно охраны.

Политика — вещь циничная. И для советской стороны было абсолютно очевидно, что руководители других стран будут строить свои отношения с Брежневым в значительной степени в зависимости от состояния его здоровья.

Внешний облик Брежнева настраивал их уже тогда на не очень оптимистичный лад. Естественно, они хотели точнее знать, сколько времени отпущено советскому руководителю, чтобы правильнее построить с ним отношения на ближайший период.

Незадолго до визита ко мне зашел мой старый знакомый, в то время заместитель начальника Управления охраны Виктор Самодуров, человек очень жизнерадостный, наделенный необыкновенным чувством юмора. Он рассказал, что, согласно полученной информации, службы некоторых государств стремятся добыть документы, медицинские анализы или исходные материалы для медицинских анализов, касающиеся советского руководителя. Для этого прибегают к различным ухищрениям, вплоть до подвода к унитазам, которыми пользуется высокопоставленное лицо, специальных труб.

Естественно, советские спецслужбы не могли уступить иностранным в изобретательности, препятствуя в данном случае всякими способами утечке к противнику «интимной» информации.

То было время повального увлечения дезинформацией, возникшее одновременно в стане противостоящих сторон — на Западе и на Востоке. Создавались грандиозные службы, вкладывались солидные деньги, выдвигались «талантливые лжецы». В общем, врали все по поводу и без такового. Наиболее ценным становилось не добывание правдивой информации, а распространение ложной.

В.Самодуров рассказал очень смешно и в лицах, как кто-то в

подразделении охраны Брежнева, не желая отставать от моды, предложил воспользоваться методами дезинформации, подсовывая во время визитов Генерального секретаря ложный материал.

Подобное копание в человеческих «душах» вызывает сегодня справедливое отвращение. В период холодных войн это выглядело совершенно нормально, как всякое средство, оправдывающее цель.

Порой прошлое настолько невкусно, что со временем хочется его забыть или, как минимум, поставить под сомнение.

Чтобы этого не происходило, живут на свете люди с хорошей памятью.

В марте 1994 г. бывший шеф французской спецслужбы де Маренш публично подтвердил информацию, которую управление охраны Брежнева получило 20 лет назад. Согласно де Мареншу, французская разведка действительно активно собирала сведения о здоровье Генерального секретаря, используя его заграничные поездки.

Малобрезгливые сотрудники французской спецслужбы дежурили в помещениях, расположенных под покоями, отведенными советскому руководителю, и там собирали информацию, поступавшую к ним по специально отведенным канализационным трубам. Их труд не прошел даром. На основании анализа собранного, французы пришли к выводу, что Л. Брежнев смертельно болен, страдает, как говорят на Западе, «алкогольной печенью», что, по их более позднему заключению, и явилось причиной его смерти в конце 1982 года.

Согласно же официальному медицинскому заключению, Л. Брежнев «страдал атеросклерозом аорты с развитием аневризмы ее брюшного отдела, стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий, ишемической болезнью сердца с нарушениями ритма, Рубцовыми изменениями миокарда после перенесенных инфарктов».

Итак, Л. Брежнев умер от внезапно остановившегося сердца, а вовсе не от разрушенной алкоголем печени, которая, как выяснилось, вполне соответствовала его возрасту.

Примечательно также, что если руководитель охраны Генерального секретаря В.Самодуров рассказывал о любопытстве, проявляемом западными спецслужбами к здоровью Л. Брежнева с улыбкой, то экс-руководителю французских спецслужб юмора не хватило и, судя по публикациям, он решил на полном серьезе представить события того времени как свою профессиональную победу.

Кроме необходимости тщательного сокрытия данных о

здоровье Генерального секретаря была и другая сложность. К моменту второго визита в Германию у Брежнева развился синдром лестницы. Он с большим трудом вскарабкивался по ступенькам вверх и с не меньшим спускался вниз. С течением времени синдром этот обострился, и стал серьезной проблемой во многих протокольных случаях, в частности, во время парадов на Красной площади, которые Брежнев должен был принимать, поднимаясь на Мавзолей по лестнице на глазах у многих тысяч людей, собравшихся на площади, и сотен миллионов, сидящих у экранов телевизоров. Дело в том, что строили и проектировали Мавзолей — памятник вождю Ленину — молодые революционеры, только что прошедшие через баррикады и окопы Гражданской войны. Им и в голову не приходило, что всего полстолетия спустя во главе коммунистической партии, победу которой они готовы были оплатить своей жизнью, окажется человек, неспособный преодолеть несколько ступенек.

В создавшейся ситуации, естественно, возникла мысль о сооружении подъемника, который бы возносил Генерального секретаря на Мавзолей невидимым для посторонних глаз способом. Во время государственных визитов за границу применялся другой метод: роль вспомогательного подъемно-опускающего механизма выполнял один из охранников, следующий по пятам за Брежневым и остававшийся невидимым для телевизионных камер. Должен сказать, что делалось это на высокопрофессиональном уровне.

После того, как советский лидер спустился по трапу на бетонное поле аэропорта Кёльн-Бонн, обошел в сопровождении президента ФРГ Вальтера Шеля, выстроившийся почетный караул, а затем отбыл в отведенную ему резиденцию, у советской стороны появились все основания считать, что полдела сделано. Вторая половина возлагалась на Громыко, но он чувствовал себя вполне уверенно, поскольку в портфеле его лежала тщательно согласованная между обеими сторонами совместная декларация из 10 пунктов, где взаимоотношения между нашими странами были разложены по полочкам.

Судя по всему, несколько сложнее было положение у канцлера Шмидта. Сказав в своей лондонской речи «а» по поводу ракет среднего радиуса, он обрек себя на то, чтобы назвать Западу и все остальные буквы алфавита. Однако джинн, выпущенный из бутылки, вышел из его подчинения и, вооружившись доктриной устрашения, стал угрожать новой конфронтацией между Востоком и Западом. Наряду с ракетами вылезла на поверхность и проблема доверия советским лидерам. В ту пору всех политиков, в том числе и самых крупных, было

принято разделять не на дураков и умных, а на «голубей» и «ястребов». Даже в связи с возникновением проблемы советских евроракет Запад был склонен скорее доверять Брежневу, однако, вроде бы, стал серьезно задумываться над тем, как распорядится этими ракетами его преемник. Мы изо всех сил намекали своим немецким собеседникам на то, что тот, кто придет после Брежнева, уже многие годы из-за его спины правит государством и поэтому никаких изменений к худшему быть не может. Что касается «голубей» и «ястребов», то приходилось постоянно твердить, что у нас страна руководима общим и строгим порядком, который точно предписывает, кому и в чьи перья рядиться.

Сегодня разговор на языке Эзопа выглядит малоубедительным. В те же времена разговоры о перемещениях в руководстве, а тем более о замене Брежнева, могли иметь самые неприятные последствия. У Брежнева не было уже сил править страной. Но до самого последнего момента у него оставалось достаточно власти, чтобы отвернуть голову любому, кто хотя бы в мыслях мог покушаться на его пост.

Чтобы не навредить делу, мы старались проявлять максимум осторожности, поскольку, проводя встречи в Германии, у нас никогда не было гарантии, что наши беседы не прослушиваются. Опасность эта значительно выросла с тех пор, как Бар покинул особняк Уполномоченного федерального правительства по Западному Берлину на Пюклерштрассе, 14, и нам пришлось перенести встречи на частную квартиру его школьного приятеля.

Кстати, и невидимками нам остаться не удалось. В одной незначительной западногерманской газетенке появилась информация в связи с тем, что советский журналист Леднев подозрительно часто посещает Бонн и, судя по всему, он делает это неспроста, а по чьему-то заданию. Мы хорошо знали, что подобные публикации не являются плодом журналистской проницательности. Кого-то наша деятельность по ФРГ явно раздражала. И судя по всему, этот кто-то совсем неплохо разбирался в советской действительности.

Получив эту информацию, Андропов не удержался, чтобы не похвалить самого себя за то, что мы с самого начала выдвинули на хорошо просматриваемую авансцену Леднева, отведя мне, как он сказал, роль «серого кардинала». Он считал, что если бы появилась моя фамилия даже в таком контексте и в такой незначительной газетенке, пришлось бы объяснять то, к чему «многие были не готовы», а, может быть, и перестраивать всю работу канала.

Возможно, он и прав. То были времена, когда люди строили

свои отношения на дезинформировании друг друга.

Как уже здесь говорилось, то было время, когда мозгами людей полностью владела идея дезинформации, поэтому заставить кого-либо поверить в искренность намерений было совсем не просто. А уж убедить, что глава могучего и зловещего монстра, каким слыл КГБ, всеми силами подталкивал высшее советское руководство к активному и честному сотрудничеству с Западной Германией — и подавно.

В «немецком вопросе» Андропов занимал позицию куда более честную, чем многие чиновники в Министерстве иностранных дел. Модную тогда идею «забивания клиньев» между ФРГ и ее союзниками он называл «бесполезными хлопотами» и обязательно рекомендовал «не поливать пластиковые цветы, они все равно не будут расти». Справедливости ради надо признать, что такую позицию он занимал не во всех случаях.

В отношении США, например, он вполне был готов руководствоваться старым принципом: «Divide et impera» — «разделяй и властвуй».

Но и в отношении ФРГ он старался не популяризировать свои взгляды, высказывая их лишь в узком кругу. И тем не менее ему удалось убедить Брежнева не драматизировать проблему размещения ракет в Европе ни во время визита Генерального секретаря в ФРГ, ни позже, что и помогло избежать ухудшения отношений между нашими странами. Значительную долю заслуг в предотвращении возможного кризиса в отношениях следует отнести на счет политической гибкости канцлера Гельмута Шмидта. Ему удалось достичь гармонии трех качеств интеллекта: жесткости, логики и личного обаяния, под воздействие которого так легко поддался Брежнев.

В итоге, Шмидт добился принятия решения о размещении ракет в Европе, не допустив ухудшения отношений с СССР. Цена за успех оказалась минимальной — неприязнь со стороны министра иностранных дел Громыко.

Однажды, если не изменяет мне память, Громыко в присутствии Фалина поинтересовался, какую цену потребовали бы западные немцы в ответ на предложение выйти из НАТО. Министр при этом просил с самого начала исключить из торгов Западный Берлин и ГДР. Андропов расценил этот разговор как намек на необходимость позондировать почву у немецкого руководства, и просил ни в коем случае этого не делать, окрестив саму постановку вопроса «политическим базаром».

6 мая 1978 года в Бонне Л.Брежневым и Г.Шмидтом была подписана Совместная декларация, в которой отмечалось, что обе стороны не должны добиваться военного превосходства.

Громыко представлялось, что такая формулировка снимает остроту проблемы ракет, и он успокоился.

Канцлер же декларацию подписал, но от идеи размещения ракет не отказался.

Вдень подписания декларации большая часть советской делегации вылетела по приглашению канцлера в его родной Гамбург. Это означало окончание официальной части визита, а потому перед вылетом в столичном аэропорту Кельн-Бонн Генеральному секретарю были отданы все положенные по протоколу почести.

В сопровождении президента страны Вальтера Шееля он обошел строй почетного караула и с удовольствием принял огромные букеты цветов, от чистого сердца преподнесенные детьми сотрудников советского посольства.

Сам же советский посол готовился к отъезду домой, ибо хорошо понимал, что по завершении этого визита закончится и его пребывание в Западной Германии, а, судя по тому, как складывались отношения с министром, и его служба в дипломатическом ведомстве.

В России люди способные и незаурядные во все времена проживали жизнь более сложную, чем посредственности.

В гамбургском аэропорту Брежнев, спустившись по трапу, вновь увидел выстроившийся почетный караул. Значит, опять придется его обходить?! Но ничего не поделаешь, работа…

Утомившись за день от переездов, перелетов и переходов по коридорам, Брежнев в тот вечер с аппетитом поужинал и тут же удалился в отведенные ему покои на отдых.

Позже, дома, без конца повторяя восторженные рассказы о своем пребывании в Германии, он никогда не забывал и эту историю.

То ли под влиянием чудесного климата, то ли поддавшись очарованию дружеской атмосферы, которой окружили его западногерманские руководители, но, по его собственным словам, он впервые за долгое время уснул без снотворного.

«Лейб-медик» Брежнева, который, как известно, не лечил, а усыплял его, был настолько потрясен и выбит из колеи этим обстоятельством, что, по рассказам охраны, впервые сам решил воспользоваться снотворным, чтобы уснуть.

На следующее утро Брежнев во главе группы помощников и министров, отправился на завтрак к канцлеру Шмидту домой. Уютная атмосфера и доброжелательность, с которыми хозяин дома встретил высокого гостя, расположили Брежнева к непринужденному общению.

Он сам был большим любителем застолий, умел и любил их организовывать, подкупая приглашенных искренней теплотой и радушием. А потому сумел до конца оценить вкус и изобретательность Шмидта.

Особую радость у Генерального секретаря вызвало появление среди гостей экс-канцлера Вилли Брандта. Надо отдать должное Л. Брежневу. Он редко изменял возникшей привязанности к людям, особенно если социальный статус их неожиданно падал. Наоборот, к прежней симпатии добавлялись сочувствие и сострадание, а эти прекрасные человеческие эмоции ему совсем не были чужды.

— Вилли нужно поддержать и почаще приглашать в Москву, — рассуждал он тогда, и повторил это уже по возвращении в Москву.

Со временем до нас стало доходить, что искренняя симпатия к нему Брежнева не вызвала ответных теплых чувств в душе Брандта. Экс-канцлер высказывался о Брежневе с некоторым пренебрежением. Его раздражала прямолинейность суждений и недопустимая фамильярность в обращении. К великому сожалению, Брандт не понял и не ощутил, что причиной тому были абсолютная искренность, полное доверие и отсутствие фальши. А ведь за эти качества прощают многое!

Что и говорить, в последние годы жизни Брежнев заметно деградировал, что стало не только его личной трагедией, но и трагедией всей страны. Во время войны и после нее Брежнев любил и подолгу слушал пластинки с записями известнейшего эстрадного певца Леонида Утесова.

Утесов был не только целой эпохой в отечественной эстраде, он являлся человеком, обладавшим необычайным чувством юмора и огромной житейской мудростью. Если бы Брежнев, возглавив государство, доставил себе труд и удовольствие хоть час провести в обществе этого незаурядного человека, ему наверняка удалось бы избежать многих из совершенных им ошибок. В первую же очередь, вовремя сойти с политической сцены, оставив по себе лишь самые лучшие воспоминания, о чем он всегда мечтал.

Мне посчастливилось побывать в гостях у Утесова уже после того, как он оставил сцену, и услышать от него мудрую фразу: «Актер и политик должны уйти со сцены, как минимум, за час до того, как их разлюбит публика».

Не надо заготавливать ракеты впрок, как сено на зиму

Вернувшись в Москву, Громыко каким-то образом умудрился убедить себя и окружающих в том, что в итоге визита ему удалось если не полностью решить проблему размещения ракет, то, по крайней мере, отодвинуть ее на второй план. Именно поэтому, когда я, в очередной раз прилетев из Германии, явился к Андропову и заговорил вновь о Шмидте в связи с ракетами, то был награжден столь изумленным взглядом, словно предложил эксгумировать уже давно и любовно захороненный труп.

Был вечер, в кабинете висел сумрак, лишь настольная лампа справа от шефа бросала круг света на пустое пространство зеленого сукна. Огромный, взятый в рамку из красного дерева, стол очень напоминал бильярдный. Казалось, на нем вот-вот появится аккуратный треугольник разноцветных шаров.

Андропов сидел, глубоко спрятавшись в кресло. Руки безвольно обвисли вдоль подлокотников. Впервые, увидев меня, он не встал, чтобы проделать традиционный путь к рукопожатию и обратно, а лишь слегка кивнул мне на стул.

Несколько мгновений мы сидели молча, затем он поднял подернутые мутной пеленой усталости глаза. Высокого роста, всегда впечатлявший монументальностью фигуры, он тогда вдруг показался мне маленьким, вернее, усохшим от свалившихся на него забот. Впервые на лицо легла тень медленно подкрадывавшейся роковой болезни. Мышцы лица ослабли, щеки ввалились, подбородок вытянулся и заострился.

Невероятно трудно было начинать деловой разговор с человеком, на лице которого обозначилась печать такой усталости не только от нелегко прожитого дня, но и оставшейся позади жизни.

Видя мое замешательство, он заговорил первым.

— Судя по твоему виду, — медленно начал Андропов, — Шмидт снова нажимает с нашими ракетами.

Мое молчание служило подтверждением.

Наконец он заговорил тише и медленнее обычного, словно тщательно экономил отведенные ему на весь день и быстро таявшие силы. Казалось, по этой же причине и мысли он формулировал точнее обычного. А сводились они к следующему. Он, Андропов, политик, а не военный, хотя по должности ему присвоено звание генерал-полковника и он иногда облачается в военный мундир.

К ношению военной формы Андропов относился крайне осторожно, как ко всякой неизбежной декорации, до крайности боясь выглядеть в ней смешным. В униформе его почти никто не видел, я — лишь однажды, во время празднования тридцатилетия победы СССР в Великой Отечественной войне.

Как ни странно, но по сравнению с мало подтянутым, лишенным выправки министром обороны Дмитрием Устиновым, он выглядел в форме просто импозантным гусаром.

Итак, вооружение — не его область, хотя он имеет на этот счет свою точку зрения, которую неоднократно высказывал Д. Устинову. СССР совершенно незачем соревноваться с американцами в заготовке по возможности большего количества ракет, как заготавливает крестьянин сено на зиму. Это верный способ разорить страну и пустить народ по миру. Деньги есть смысл вкладывать в фундаментальные исследования по вооружению. В соревновании мозгов мы можем соперничать с американцами. Но это его соображения, а за оборону страны отвечает Д. Устинов. Поэтому он считал целесообразным, чтобы я встретился с министром обороны и вместе с ним выработал бы аргументацию для западных немцев.

Андропов саркастически улыбнулся какому-то невидимо присутствовавшему при нашем разговоре оппоненту. Вдруг, не погасив еще улыбки, он поднял на меня взгляд и поинтересовался:

— Я только что подумал вот о чем: не будет ли лучше для дела, если ты по всем немецким делам будешь докладывать напрямую Леониду Ильичу? Он тебя хорошо знает… А то ведь получается у нас «испорченный телефон».

Это уже была задачка на сообразительность. Усталость не могла служить причиной, способной заставить его изменить привычной форме общения с людьми, которых он, может быть, подсознательно, но постоянно проверял на верность, порядочность и уровень интеллекта…

Соблазн относительно регулярно появляться пред очами Генерального секретаря со всеми вытекающими и манящими перспективами был новой, но, как мне показалось, достаточно примитивной «лакмусовой бумажкой». Андропов, конечно, прекрасно понимал, что является главным, несущим звеном в той сложной политической конструкции, которую представлял собой процесс реформирования отношений между СССР и Западной Германией, нацеленный в конечном итоге на достижение общей разрядки в Европе.

А потому я легко и без верноподданнических комментариев отверг его предложение.

Кажется, в разгар лета 1977 года в ФРГ, и особенно в Западном Берлине, достигла своего апогея кампания по досрочному освобождению последнего из осужденных пожизненно нацистских главарей Рудольфа Гесса.

Узника Шпандау, по мнению авторов инициативы, следовало незамедлительно освободить, исходя из самых гуманных соображений: по возрасту, за давностью лет и т. п.

Количество сторонников и противников росло пропорционально росту аргументов «за» и «против».

Хорошо помню, как один уличный оратор, потрудившийся подсчитать, во что обходится союзникам содержание «тюремного замка» для одной персоны — Гесса, охранявшегося посменно четырьмя командами держав-победительниц, предложил перейти на режим экономии, а для этого перестроить Шпандау под дом престарелых, оставив комнату Гесса вместе с ее обитателем в полной неприкосновенности.

— Посмотрите, в каких условиях доживают свой век наши старики! Один унитаз и пара умывальников на десятерых. А у Гесса — отдельный замок, все новенькое и строго индивидуальное, включая охрану!

Скоро в кампанию втянулись политики и их партии. Эгон Бар сообщил нам, что союзники — американцы, французы и англичане — не станут возражать против освобождения Гесса из тюрьмы, если согласится и Советский Союз. «Дайте старику умереть дома», была его аргументация.

Ну, а о том, что достижение договоренности с советским руководством об освобождении Р. Гесса вылило бы солидное количество воды на мельницу правящей коалиции, мы догадались сами.

Поначалу я без всякого энтузиазма оценил свои шансы склонить кого-то в Москве в пользу гуманного подхода к судьбе Гесса, отчетливо представляя себе контраргументы слушателей, однако чуть позже отбросил свои сомнения.

После разговора с Баром Леднев и я прогуливались по берлинской Кудамм. Под нещадным послеполуденным июльским солнцем дети непрерывно охлаждали себя изнутри мороженым, а взрослые ледяным пивом. На широком тротуаре напротив церкви Гедэхнис-кирхе, в том месте, где в Кудамм упирается Ранкештрассе, группа энтузиастов разложила на складных столиках листовки с призывами выразить свое сочувствие старику Гессу. Засовывая прохожим бумажки в карманы, агитаторы воспроизводили их текст устно и убеждали поставить свою подпись под воззванием, призывающим освободить «вечного узника» из тюрьмы. В суете людного перекрестка я потерял из

виду моего спутника, и в тот же момент почувствовал, как кто-то крепко взял меня за руку. Повернулся и обомлел: передо мной возникло существо неземной красоты. Хрупкая голубоглазая блондинка не старше восемнадцати лет сияла мне двумя рядами идеально подобранных по форме белоснежных зубов. В полном соответствии с погодой костюм ее был легок, если не легкомыслен, и скорее подчеркивал, чем скрывал ее достоинства.

Относительно них у юной дамы явно не было никаких сомнений, а потому действовала она на удивление решительно. Одной рукой крепко вцепившись в мой локоть, другой она увлеченно жестикулировала, увлекая к столику, где надлежало подписать воззвание о пощаде «дедушке Гессу». Это до смешного напомнило мне традиционное предвыборное американское шоу, агитирующее в пользу сытой жизни в окружении стройных ножек.

Сходство заставило меня поинтересоваться на полпути к столику, что она знает о человеке, чья печальная старость вызвала у нее столь активное сострадание, и почему уверена, что решение Нюрнбергского трибунала следует пересмотреть. Аргументация покорила меня не менее, чем внешность.

— Гесс стар и надо дать ему возможность умереть на свободе. Там, не опасаясь англичан, он, возможно, раскроет тайну своего перелета в Англию в начале Второй мировой войны.

Гесс слишком стар и дряхл, чтобы заниматься политической деятельностью и быть полезным для неонацистов. Смерть же в тюрьме превращает его в героя-великомученика, образ которого будет тут же идеализирован молодыми сторонниками возрождения фашизма в Германии.

Последний довод выглядел настолько убедительно, что вдохновил меня на активные действия.

Взглянув на нее и вспомнив в очередной раз сказанное Федором Достоевским по поводу того, что «красота спасет мир», я вынул ручку и поставил свою подпись под воззванием.

В Москве существовало особое мнение относительно способов спасти мир, а также по поводу того, как решить судьбу «дедушки Гесса». Аргументация о превращении Р. Гесса в «великомученика» подействовала не только на меня, но и на шефа. Не желая поначалу и слушать о каких-то гуманных мотивах, он быстро изменил свое мнение и попросил подготовить записку для Генерального секретаря, согласовав ее предварительно с А.Громыко.

Дважды переделав проект с учетом замечаний шефа я, с начисто перепечатанной бумагой в руках, поехал к министру иностранных дел.

— В честь какого же юбилея вы предлагаете амнистировать

военных преступников? — начал министр.

По опыту общения с Громыко я знал, что теперь нужно молчать, не препятствуя выходу сарказма.

— Судя по всему, акция эта нужна исключительно канцлеру Шмидту. Так пусть он и ставит свою подпись на первое место! Почему же вы поставили мою?

Против подписи Андропова он возражать не осмеливался, а потому и направил струю желчи в адрес канцлера.

— Подпись Шмидта не имеет для Политбюро того веса, что имеет ваша.

— То-то и оно! Именно потому я и не ставлю ее под чем попало. — С этими словами Громыко подчеркнул два предложения в проекте, против третьего поставил знак вопроса.

— Скажите Юрию Владимировичу, что я внимательно изучу вопрос, запрошу мнение нашего посла в Бонне, проконсультируюсь с юристами. Вот тогда придем к какому-то решению…

Все это он мог, безусловно, тут же сказать Андропову сам, сняв одну из многих телефонных трубок, разместившихся по его левую руку. Но, видимо, существовали соображения, заставлявшие его воздержаться в данном случае от этой упрощенной формы общения.

Андропов также не блеснул гибкостью, приняв предложенный Громыко эпистолярный вариант.

Очень скоро я почувствовал себя футбольным мячом, который пинают ногами, перебрасывая через центр Москвы от дверей одного ведомства к другим в надежде, что в конце концов он все же закатится в какие-либо ворота.

Так оно и произошло.

— Ну, что нового придумал ваш канцлер, какую новую дыру обнаружил в наших отношениях и какими нитками думает ее штопать? — Громыко дружелюбно пожал мне руку.

На сей раз, усвоив урок с публикацией беседы Аденауэра и посла А. Смирнова, я не спешил информировать западногерманских партнеров о прогрессе в решении судьбы Гесса. А потому ожидал развязки спокойно. Гурман оставляет самую вкусную часть блюда на конец. Громыко никогда не начинал беседу с главного. Однако, по тому, как весел он был поначалу, стало ясно, что финал разговора уже готов и с его точки зрения хорошо аргументирован.

— Что касается предложений в отношении освобождения Гесса, то с убедительно изложенной частью о гуманном подходе к его судьбе можно было бы согласиться, — перешел, наконец, к сути дела Громыко. — Если бы не одна маленькая деталь.

Рудольф Гесс и до сих пор не испытывает ни малейшего раскаяния по поводу всего содеянного фашистами. Более того, он оправдывает действия национал-социалистской партии, в руководстве которой он занимал отнюдь не последнее место. А теперь давайте представим себе, что вскоре он оказывается на свободе. Вокруг него собираются единомышленники, — а их в Германии достаточно, — и все начинается сначала!

Мое замечание о том, что Гессу уже за восемьдесят, и он в знамя неонацизма не годится, разве что в качестве великомученика, скончавшегося по вине жестоких русских в тюрьме после полувекового заточения, не было услышано.

— Вот именно! В такие годы люди убеждений не меняют! На это у них нет уже времени…

Он вернул мне многократно правленный проект.

— Наш гуманизм не будет понят ни членами Политбюро, ни советским народом. А потому не будем насиловать историю. Уверен, Юрий Владимирович поддержит нас.

Громыко не ошибся. Андропов и на сей раз принял его доводы. 17 августа 1987 года Гесса, 93-летним стариком, вынули из петли.

Несомненно, своим нежеланием санкционировать освобождение старца из пожизненного заключения оба советских руководителя лишили человечество возможности услышать из первоисточника одну из самых волнующих тайн Второй мировой войны, передав все авторские права англичанам, пообещавшим в будущем столетии все же раскрыть миру секрет загадочного визита Гесса на их остров в 1939 году.

Однако существует и более серьезный момент, нежели раскрытие тайны.

Каждый год накануне 17 августа в Германии и других странах люди выходят толпами на улицы, чтобы почтить память идейного страдальца, который предпочел мученическую смерть пожизненному заточению. Происходит то, чего хотели избежать.

История сама не делает выводов, предоставляя эту привилегию грядущим поколениям.

В 1990 году, когда одновременно и бурно протекали два процесса: распад Советского Союза и становление объединенной Германии, начались преследования бывших лидеров ГДР и ее главы — смертельно больного Эриха Хонеккера. Скоро он оказался за решеткой с перспективой остаться там пожизненно. Осведомленность в решении судьбы Гесса не дала возможности избежать навязчивой параллели. Дьявольская фантазия рисовала дьявольскую картину: Гесса не постигла трагическая смерть 17 августа 1987 г. в берлинской тюрьме Шпандау. Волею судеб он

прожил еще три года и тогда убежденный коммунист, долгие годы боровшийся с национал-социализмом, и не менее убежденный национал-социалист, свирепо ненавидевший коммунистов, оказались в одинаковой ситуации, а благодаря усердию какой-либо администрации могли очутиться даже в одной тюрьме.

Слава богу, этого не произошло. Р.Гесс ушел из жизни, не испытав на себе и части ненависти, которая была вылита на Э.Хонеккера через прессу. Когда толпа ослеплена злобой, о вкусах говорить не приходится.

В одной из газет тогда мне бросилось в глаза письмо читателя, предлагавшего выпустить рулоны туалетной бумаги с изображением Хонеккера. Возможно, какой-нибудь туалетно-бумажной фирме эта идея принесла бы доход. Но, к счастью, предприниматели больше, чем газета, заботились о своем престиже, и на призыв не откликнулись.

С убеждением, что история повторяется не только в виде фарса, но и в виде драмы, я в конце нового, 1992, года обратился к президенту ФРГ Рихарду фон Вайцзекеру с просьбой об интервью. Главный вопрос, как казалось, был упакован «хитро» среди других.

«В семидесятые годы советское руководство допустило ошибку, воспрепятствовав освобождению нацистского преступника Рудольфа Гесса из тюрьмы Шпандау. Существует, безусловно, разница между осужденным Нюрнбергским трибуналом и еще не представшим перед судом. Но возникает, тем не менее, вопрос, не допускает ли теперь немецкое руководство в случае Хонеккера аналогичной ошибки? Старость и болезнь, пояснял я свой вопрос, ограничивают юридическое искупление политической вины».

Хитрость не удалась. Вежливый голос помощника президента объяснил по телефону, что президент, к сожалению, перегружен работой. Собственно, этого следовало ожидать. Не мог же помощник сказать, что его шеф бездельничает. Такого с президентами вообще не бывает.

И все-таки меня не покидала надежда, что где-то в немецком руководстве должны быть разумные государственные деятели, которые не захотят повторить ошибок советских лидеров. Я не ошибся. Ни те, кто был в Германии ответственен за высокую политику, ни те, кто вершил высшее немецкое правосудие, не стали брать на себя греха и позволили Хонеккеру умереть на свободе, а прах его похоронить на родине.

Эмоции, как всякая эфемерная, нематериальная субстанция, улетучиваются быстро. Дела остаются. Пройдет совсем немного

времени и, наверняка, даже самые ярые нынешние сторонники решительных мер будут признательны им за проявленный гуманизм и мудрость.

Преимущество сумасшедших

Звонок из Министерства обороны вызвал нечто близкое к ностальгии. Из трубки пахнуло временами армейской службы. Не дожидаясь вопросов голос представился полковником, назвал свое имя, а также вопрос, по которому связался со мной.

— Министр обороны примет вас завтра в 16 часов 15 минут.

Не догадываясь, что я еще совсем юным офицером обегал все здания «советского Пентагона» на Гоголевском бульваре, полковник подробно объяснил мне, как и куда следует подойти, пообещав ждать меня у главного входа в 16.00.

Мне вспомнился преподаватель в военной академии, который постоянно повторял, что нули должны считать бухгалтеры, военным же не следует засорять речь словами, содержащими нулевую информацию. Наверное, полковник учился в другой академии…

Ровно в 16.00 я встретился перед указанной дверью с человеком в полковничьих погонах, среднего роста, средних лет, нормального телосложения, но с повышенной амбициозностью.

Не знаю, что сказал, предваряя мой визит к министру обороны, Андропов, но принимали меня отнюдь не как коллегу из «соседнего» ведомства. Все было обставлено так, словно я представлял из себя какое-то суперзаконспириро-ванное лицо. Атмосфера моего посещения более всего напомнила мне визит к Мильке.

Поздоровавшись, полковник сухо предложил мне следовать за ним, а часовому, показав удостоверение, тем же тоном добавил что-то, мною не расслышанное, и кивнул на меня. Тот сверил нас со своим кондуитом, отгороженным от любопытных глаз высокой стойкой, молча отдал честь и пропустил нас, не потребовав у меня никакой бумаги.

Я понял, что здесь прохожу под рубрикой «Полковник Н. и с ним один человек».

Поднявшись в лифте и пройдя по коридору, мы скоро очутились в просторной и светлой приемной. Атрибутами ее были знакомая ковровая дорожка цвета клубничного мусса и ряд телефонов под слоновую кость, большей частью украшенных гербом Советского Союза.

В следующую минуту я уже входил в кабинет министра, неотличимый от кабинетов других чиновников его ранга: деревянные панели на стенах, ковер, большой стол и портрет Брежнева над головой. Фотографическое изображение Генерального секретаря было так избыточно заретушировано, что

узнавалось оно скорее по орденам, чем по лицу.

Такие «официальные» портреты были неизбежным атрибутом в любом чиновничьем кабинете, и на раме, так же как на стульях и столах, непременно белел жестяной инвентарный номер.

Сточки зрения художественного вкуса, портрет совершенно никуда не годился. Знавшие Брежнева лично помнят, конечно, что до болезни это был человек, отнюдь не лишенный обаяния, с подвижным и добрым лицом. На цветной же фотографии в кабинете он выглядел так, словно ему недавно сделали подтяжку кожи, причем убрали ее гораздо больше, чем следовало, отчего лицо превратилось в вымученную парафиновую маску.

Снимок этот был, как тогда называлось, «утвержденным», по-русски говоря, одобренным самим Генеральным секретарем. Его могли вывешивать в кабинетах, печатать в журналах и газетах, не рискуя быть обвиненными в искажении истины. Почему было отдано предпочтение этому снимку, понять трудно.

Брежнев любил демонстрировать фотографии из своей жизни. Они были в большом количестве развешаны на стенах его московской квартиры в доме по Кутузовскому проспекту. Конечно, находиться постоянно в собственном окружении не так просто, но к этому можно привыкнуть. Тем более, что эти фотографии были совсем иными, нежели официальные. С них на вас смотрел живой, пребывающий всегда в хорошем настроении, обаятельно улыбающийся человек.

Автором почти всех снимков был его любимый фотограф, корреспондент информационного агентства ТАСС В. Мусаэльян. Каждый снимок говорил не только о мастерстве автора, и о его симпатии к человеку, за которым он наблюдал через объектив.

Сидевший под портретом министр встал при виде меня и вышел из-за стола, чтобы поздороваться. Затем отпустил полковника и вернулся в свое кресло за рабочим столом. И стол, и кресло также решительно ничем не отличались от множества подобных им в других кабинетах. Стремление подходить под одобренный стандарт проявлялось не только в схожести меблировки кабинетов, но и формы одежды.

Среди высшей партийной элиты существовала традиция заказывать в одном и том же «правительственном» ателье абсолютно одинаковые пальто серого сукна с темным каракулевым воротником. Сшиты они были неплохо, но, когда их собиралось так много одновременно, зрелище напоминало солдатскую казарму.

Однажды, в начале восьмидесятых годов, мне довелось наблюдать, как по окончании выступления знаменитой рок-группы «Бони-М» в раздевалке директорской ложи концертного

зала три члена ЦК вынуждены были вначале перемерить три одинаковых пальто, а затем три столь же неотличимые меховых шапки, прежде чем они разобрались, кому что принадлежит.

В этом отношении министр обороны находился, конечно, в несравненно лучшем положении, ибо маршальская форма спасала его от подобных недоразумений, поскольку ее издали можно было отличить на любой вешалке.

В день моего визита он был одет в военную форму, и мне показалось, что с ней отношения складывались у владельца очень непросто. Они как-то очень не подходили друг другу. Устинов и внутренне, и внешне был человеком донельзя гражданским, лишь волею судьбы оказавшийся на самом верху военного комплекса. А потому тщетными остались все старания военных портных сделать из него строевого генерала, которыми была украшена послевоенная Россия.

Устинов очень напомнил мне доброго домашнего дедушку, нежно любящего своих внуков и свое прошлое.

Первое впечатление подтвердилось лишь отчасти. Вначале Устинов поинтересовался, где я получил военное образование, и выяснилось, что он хорошо знаком с начальником академии, которую я заканчивал. Совсем недавно они вместе отдыхали на Волге.

— Я ведь на Волге родился, — стал рассказывать министр. — Отец был мастером на заводе, да и я мальчишкой начинал слесарем…

— Тяжелое тогда было время, — решил я подыграть министру.

— Не знаю, как вам сказать… И тогда мастера с руками жили неплохо. У многих были свои дома, причем, каменные, двухэтажные. А если к рукам прикладывалась еще и голова, то и лошадь покупали. По праздникам устраивали выезды за Волгу. Какой красоты можно было увидеть тогда экипажи! Один другого лучше! Сделаны они были мастерами такого класса, что мы, мальчишки, в дверцу, как в зеркало, смотрелись. А ведь лак наносили простой кистью, без всяких хитростей, но поверхность получалась, как у рояля. Ну, а уж если угощенье устраивали, столы накрывали, так только икры было сортов восемь…

Впервые в жизни я слышал от коммуниста и чиновника высокого ранга такую искреннюю и неприкрытую похвалу жизни при царе. Это расположило меня больше всего к собеседнику.

Переход от дореволюционных экипажей к современным ракетам прошел довольно плавно. Министр только что возвратился после посещения какого-то военного училища, где состоялся смотр выпускников, и был под впечатлением от

увиденного.

— Вы понимаете, приходится вести настоящую войну с политуправлением армии! Ведь у нас все принимает форму глобальных кампаний: в данный момент проходит кампания борьбы за мир. И что получается? Сегодня, например, наблюдаю, как взвод идет на учебную стрельбу. Положено петь строевую песню, конечно. И вот, вооруженные до зубов парни громко поют о том, что все они, как один, за мир! Я обращаюсь к представителю политуправления: «Что же вы, мои дорогие, делаете? Обучаете людей стрелять, то есть убивать, скажем прямо, и при этом поете о мире и тихой жизни в полной гармонии! Какой же хаос должен поселить такой абсурд в головах молодых воинов!»

Из дальнейшего рассказа выяснялось, что представитель политуправления вовсе не был смущен такой постановкой вопроса, напротив, он пояснил, что советских солдат, действительно, учат убивать, но исключительно с целью сохранить на земле мир и спокойствие.

Министр был другого мнения. Он считал, что о мире заботятся политики, а он должен готовить армию к войне. Тут же Устинов сделал небольшой экскурс-доклад в недалекое прошлое. Из того, как он был гладко составлен и без запинок произнесен, становилось ясно, что я был не первым его слушателем.

Все последние тридцать лет Советский Союз только тем и был занят, объяснял министр, что догонял Америку. Американцы первыми взорвали атомную бомбу. СССР понадобилось несколько лет, чтобы сделать то же самое. Затем — водородная бомба. Позже — межконтинентальные ракеты на подводной лодке, далее — ракеты с разделяющимися боеголовками… И всякий раз вели американцы, а СССР лишь догонял, причем разрыв иногда был весьма существенным. От советско-американского противостояния было совсем недалеко и до ФРГ.

— Я уже докладывал Генеральному секретарю свое мнение относительно предложения Гельмута Шмидта передислоцировать наши ракеты за Урал с тем, чтобы успокоить мировое общественное мнение. Как мне объяснили, Шмидт исходит из того, что наши ракеты мобильны. Это, с одной стороны, верно. А с другой… — он на секунду задумался. — Поезжайте, посмотрите на эту технику и вы поймете, что передислокация ее — вещь не такая простая.

Далее министра волновал вопрос, зачем канцлеру Шмидту нужно добиваться размещения на немецкой территории американских ракет.

Ему докладывали, что Шмидт где-то описал, как в бытность

свою министром обороны он участвовал в штабных «электронных играх», где разбирались все возможные варианты ядерного столкновения между странами блока НАТО и Варшавского пакта. По его же словам, он пришел в полный ужас от того, насколько высок процент гибели немецкого населения даже в случае самого благоприятного для Запада первого обмена ядерными ударами. Многие штабные офицеры плакали. И есть отчего!

При всех американских «ядерных зонтиках» у Европы с ее плотностью населения и густо сконцентрированной промышленностью нет абсолютно никаких шансов на выживание…

За сменой темы последовала и трансформация в поведении моего собеседника. От «Красной шапочки», хвалившей бабушкины времена и жизнь при царе, не осталось и следа. Передо мной был матерый волк, прекрасно знавший свое дело и последовательно излагавший свои, вполне устоявшиеся, взгляды.

СССР уже многие годы живет, окруженный почти тремястами военными базами США, в то время, как ни одной нашей вблизи Америки нет. Греция, Турция, Пакистан… А теперь вот еще и в Афганистан залезть собираются! Если американцам удастся заполнить собою образовавшийся «афганский вакуум» и разместить там свои ракеты, они «накроют» ими основную часть центральной территории Советского Союза, а значит, СССР потребуются колоссальные усилия, чтобы сбалансировать шаги американцев.

Нечто подобное происходит и в Западной Германии. Если там разместят американские ракеты, то способы восстановить баланс нам придется искать и в этом случае.

Устинов придвинул стакан, низко склонился над ним, и, почти не отрывая стакан от стола, сделал несколько звучных глотков.

— Громыко убеждает меня, — продолжал он, вернув стакан на прежнее место, — что американцы индифферентны к идее Шмидта о размещении в Европе ракет. Должен сказать вам откровенно, у меня иное, нежели у Андрея Андреича, представление об их позиции.

Если у американского ВПК перед глазами замаячил шанс получить заказ на строительство нескольких сотен ракет, уверяю вас, шанс этот упущен не будет.

— Извините, Дмитрий Федорович, — перебил я, — но немцы уверяют, что мы значительно переоцениваем роль военных промышленников в Соединенных Штатах…

— Не буду спорить с немцами, на которых вы ссылаетесь, ибо не знаю, насколько они компетентны. У меня на этот счет свои

соображения. Начнем с того, что с начала войны я сам возглавлял советский ВПК. Наша оборонка, несомненно, отличается от американской. Но, когда начинается дележ «бюджетного пирога», они становятся очень похожи. В большинстве стран испрашиваемые на вооружение суммы рано или поздно выделяются. Сталин, например, даже в самые тяжелые для страны времена не отваживался «урезать» военные ассигнования.

К своему стыду, я лишь в этот момент вспомнил, что в год-начала войны, в 1941-м, Устинов был назначен Сталиным наркомом оборонной промышленности. Именно его организаторский талант помог добиться того, что, несмотря на людские потери и разруху, советская военная промышленность производила к концу войны больше вооружений, чем вся оккупированная Гитлером Европа с ее промышленным потенциалом. В этом смысле личный вклад Устинова в победу был немногим меньше, чем прославленных полевых полководцев Второй мировой. Правда, имя его даже примерно не приблизилось к их уровню славы.

Чем дальше я слушал Устинова, тем больше убеждался, что имею, дело совсем не с антикварной личностью. Он настолько современно и профессионально излагал свои взгляды, что мне не оставалось ничего другого, как задать ему вопрос:

— Что же дальше делать?

Министр немного театрально развел руками.

— Опять догонять! То, что мы отстаем от США и НАТО в целом, Шмидт прекрасно знает. Другое дело, что мы представляемся Западу людьми менее уравновешенными и более авантюрными, чем он сам.

Устинов встал из-за стола, призывая меня сделать то же самое, и пожимая мне руку напутствовал:

— А вот в этом разубеждать западников ни в коем случае не следует. Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они. Это, пожалуй, единственное преимущество, которое у нас осталось.

Полная сарказма мысль о том, что и в большой политике иногда не грех прикинуться не вполне нормальным— показалась мне неординарной.

Расставаясь с министром, я еще надеялся побродить по знакомым мне коридорам, зайти в кабинет к старому знакомому и вспомнить с ним молодость. Однако сопровождавший меня, как тень отца Гамлета, полковник всем видом дал мне понять, что у военных все кабинеты и бумаги, включая туалетную, сугубо засекречены, после чего я, не заходя никуда, прямо проследовал к выходу. Вышел я так же анонимно, как и вошел, не оставив никаких следов своего пребывания.

Андропов искренне веселился по поводу тотальной конспирации, к которой прибегнул Устинов, принимая меня. Услышав же о том, что министр полупрозрачно пригласил меня посетить места дислокации ракет СС-20, он заметно помрачнел.

— Вот этого тебе ни в коем случае не стоит делать! Ракеты эти — сверхсекретные, а ты постоянно ездишь за границу. Утечет, не дай бог, на Запад какая-нибудь информация или фотография — на тебя первого падет подозрение!

После окруженного таинственностью визита в Министерство обороны, к Громыко я шел, как домой. Уставший за день от бесконечно мелькавших перед глазами дипломатов с папками под мышкой, милиционер на дверях бросил мутный взгляд на раскрытое мною навстречу его взору удостоверение сотрудника МИДа и тут же пропустил к лифтам. Ясно было, что если вместо моей фотографии была бы вклеена фотография моего любимого кокер-спаниеля, результат был бы тот же.

Громыко я застал в отличном расположении духа. Отношения с Соединенными Штатами Америки складывались совсем неплохо. Договор ОСВ-2 был окончательно отработан и ждал лишь высоких подписей.

В целом, были все основания считать это победой и советской, и американской дипломатий. А потому министр заслуженно чувствовал себя на высоте положения. По сравнению с предстоящими грандиозными событиями поставленная западногерманским канцлером проблема выглядела малозначительной суетой.

Все это придавало Громыко не только уверенности, но и надменности.

— Ну что, умерились ваши немцы в непристойных домогательствах по поводу наших ракет? — Это была новая фраза, которой он встретил меня взамен прежней. — Не остыли они еще к этим провинциальным играм?

Могу согласиться: в тот период активного политического сближения США и СССР ФРГ выглядела политической провинцией. А потому Громыко не мог удержаться от искушения в очередной раз подчеркнуть различие между его собственным масштабным мышлением и теми, у кого полет внешнеполитической фантазии не мог выйти за пределы Европы.

Андропов понял намек, и в ту пору, когда президент Картер был переизбран, а договор ОСВ-2 завис в воздухе, он поинтересовался как-то, стоило мне вернуться после очередного визита к Громыко:

— Ну, как? Разобрались вы с Андреем Андреичем с американскими ключами, или будем их и впредь искать в

провинциальной Европе?

Я относился к этому взаимному «покусыванию» гигантов через мою голову совершенно спокойно, воспринимая их как слабые отголоски «былых битв».

Несмотря на саркастические приветствия, напутствовал меня Громыко в конце встреч, как правило, весьма добросердечно:

— Передайте Шмидту, что мы не станем использовать против немцев превосходства, которым не обладаем.

После чего произносил традиционно-назидательную фразу, от удовольствия скашивая рот в сторону еще больше обычного:

— И попросите канцлера не подгонять нас! Вот закончим с американскими стратегическими делами, тогда и займемся немецкими тактическими… Делать одновременно два дела — значит не сладить ни одного. Знайте, у охотников есть мудрость: нельзя охотиться и собирать грибы одновременно, вернешься домой ни с чем.

Время шло быстро, а события развивались медленно. Вся страна сползала в какую-то спячку. Начиналось время, позже довольно точно названное «периодом застоя». Эту загадочную летаргию вполне могли пережить русские, но никак не могли объяснить себе наши коллеги в Германии. Они ведь не знали поэтических строк, так просто открывавших тайну загадочной русской души: «Умом России не понять… В Россию можно только верить».

Вот как раз вера, на которой строились последние десять лет наши отношения с западногерманскими партнерами, теперь подвергалась серьезному испытанию.

Помимо политических и экономических причин, приведших страну к застою, была и причина сугубо личностного характера: недомогание Брежнева. Из «семейных источников» я знал, что Генеральный перенес инфаркт, из которого он физически понемногу выкарабкивался, но морально оправиться не мог.

Таким образом, круг замыкался: Генеральный не решал вопросов по состоянию здоровья, а те, кому силы вполне позволяли взять бремя ответственности на себя, с этим совсем не спешили — из боязни быть заподозренными в том, что претендуют на первое место. Наверное, в России еще долго сохранится монархическая традиция хранить как важнейшую государственную тайну состояние здоровья высшего руководства и его главы, пусть даже в ущерб делу.

Чтобы хоть как-то объяснить трудно воспринимавшийся европейцами процесс «застоя», мы на свой страх и риск проинформировали Бара о перенесенном Брежневым инфаркте. Он отреагировал на это, как всякий нормальный человек,

посчитав необходимым, со своей стороны, убедить канцлера телеграммой выразить Брежневу искренние пожелания скорейшего выздоровления. И только наша настоятельная просьба одновременно уведомить и наших близких о нашей безвременной кончине удержала Бара от этого искреннего и благородного шага.

Приблизительно в то же время в немецкой печати появились сообщения о том, что для более стабильной работы сердца канцлера Шмидта ему понадобится кардиостимулятор. В результате этих публикаций популярность канцлера нисколько не упала, даже возросла. К признанию усилий добавилось понятное человеческое сочувствие.

Однажды, будучи приглашен Андроповым, я был допущен к нему не сразу. Секретарь извинился и сообщил, что шеф принимает незапланированного гостя. Видимо, гость был важным, поскольку все телефоны были переключены на дежурного секретаря. Тот ежесекундно и мужественно отбивался от бесконечных телефонных звонков заместителей, объясняя им, что у них «посторонний», что избавляло его от дальнейших расспросов. Хорошо обученный, он умудрялся вежливо не удовлетворять их любопытства, ни разу не произнеся имени гостя, а лаконично определяя его словом «посторонний». Это исключало, к тому же, возможность дальнейших расспросов.

Время шло, и я поймал себя на том, что сгущавшаяся с каждым очередным звонком атмосфера любопытства заразила и меня. Я невольно занялся созданием мысленного портрета этого таинственного «гостя», перебирая все бесчисленные варианты. Бесплодность этих занятий я оценил лишь после того, как дверь открылась, и из нее энергичной походкой вышел заведующий Четвертым, правительственным, управлением министерства здравоохранения СССР академик Евгений Чазов.

Мы были лишь шапочно знакомы, и поэтому я не удивился, когда он прошел мимо, даже не поздоровавшись. Это видный советский кардиолог с мировым именем. Он руководил не только медицинскими учреждениями, заботившимися о здоровье советской элиты, включая Брежнева, а был также инициатором благородного движения «Врачи за мир». Друзья его рассказывали, что Чазов тяготился создавшимся вокруг него ореолом «лейб-медика Генерального секретаря» и мечтал целиком посвятить себя науке, что ему в итоге и удалось.

Мой рассказ о встрече с Баром в Западном Берлине шеф выслушал спокойно, глядя куда-то в сторону и, как казалось, продолжая размышлять о чем-то своем. И лишь когда я упомянул об истории с инфарктом Брежнева, он поднял глаза, испытующе посмотрел на меня и лишь поинтересовался, где и как проходила

беседа, и могла ли какая-либо из заинтересованных сторон записать разговор.

Я объяснил, что разговор проходил в квартире одного из старых друзей Бара в Западном Берлине, под звуки включенного радиоприемника.

Андропов нажал одну из кнопок на столе и поинтересовался у специалиста, могут ли звуки человеческого голоса быть отфильтрованы от звуков, доносящихся из работающего радио.

На том конце провода немного замешкали, а когда подтвердили такую возможность, он уже успел переключить поток своих мыслей в другом направлении.

— У Леонида Ильича это ведь не первый инфаркт. К счастью, он позади. Здесь только что был Чазов, и мы говорили на эту тему. Его волнуют не только инфаркт и ишемическая болезнь, а состояние организма в целом…

Продолжать эту тему он не стал, но порекомендовал зайти к специалистам и проконсультироваться, как я могу защититься, находясь в Германии, от подслушивания. Я внял его советам, однако специалисты не добавили ничего нового к тому, что я уже знал по этому вопросу.

От Брежнева к другой волновавшей его теме он перешел почти без паузы.

Дешевые невесты

Положение в Афганистане складывалось наихудшим для советской стороны образом. Афганские революционеры, люди, по преимуществу молодые, получившие образование в советских вузах, захватив власть, провели реформу, естественно, как было написано в советских учебниках, то есть, по образцу послереволюционных преобразований в СССР: отобрали землю у помещиков, оставив им не больше десяти гектаров, национализировали обрабатывающие предприятия.

Внешне все как будто соответствовало существовавшим представлениям о развитии революционного процесса, не учитывалось лишь сознание людей, которое оставалось на полуфеодальном уровне.

У советского руководства все происходившее в соседней стране не вызывало ни малейшего одобрения. И лишь заученное представление о «классовом подходе» и занимаемая должность вынуждали некоторых обнаруживать в публичных выступлениях энтузиазм по поводу афганской революции.

Как-то мне довелось разговаривать с Андроповым непосредственно после закончившейся его встречи с лидером афганских революционеров Тараки, который приехал в Москву. Судя по всему, это была их не первая встреча, проходившая как обычно в частной обстановке.

Андропов возвратился со смешанным чувством: уважения к революции и людям ее свершавшим, и сомнения по поводу выбранного для этого события времени. В подробности вдаваться он не стал, но, как бы подводя черту под увиденным, заметил:

— Видишь, как полна жизнь парадоксов! Когда-то мы мечтали о «Всемирной революции», теперь же не рады ей даже в соседней стране.

Он оперся обеими руками о стол и добавил:

— Эх, если бы эта революция года на два-три позже началась, как все хорошо сложилось! У нас осталось бы время до конца выровнять отношения с американцами, вместе с немцами стабилизировать ситуацию в Европе, а тогда и все события в Афганистане воспринимались бы как нормальная эволюционная трансформация… С другой стороны, только что в разговоре правильно заметил Тараки: революция — как роды, ее нельзя отложить.

— Это уже до него было сформулировано классиками марксизма.

— Естественно! Тараки — выходец из цивилизованной семьи,

человек образованный, а кроме того, прекрасно знаком с нравами и обычаями своей страны. Он с гордостью поведал мне сейчас, что они только что приняли очень важный закон: снижение выкупа, «калыма», который молодые люди должны выплачивать за своих невест. Молодежи Афганистана это, оказывается, крайне важно!

И Андропов развел руками, словно говоря: стоило ли ради этого затевать революцию?

— Да, — подытожил он, — Тараки, безусловно, умный, смелый и честный человек! Настоящий революционер! — На секунду умолкнув, он добавил, поморщившись: — Пьет, правда, много.

— Мусульманин, и — пьет?

— Ну так и Ататюрк был не православный, а, говорят, очень неравнодушно относился к русской водке.

Еще раз к разговору об Афганистане мы вернулись, когда захвативший власть Амин казнил Тараки. На этот раз беседа наша протекала в традиционном русле американо-советского противостояния. Тема эта была близка и понятна. Стоило политической или экономической неудаче настичь нас, как срочно начинались поиска «злоумышленника-американца», которые, не будем таить греха, часто оказывались успешными.

Итог и прогноз были неутешительным: американцы через Амина постараются втянуть нас в авантюру, которая позволит им взять реванш за Вьетнам. Несмотря на всю драматичность выводов, последнее обстоятельство могло только обрадовать.

Если руководство страны понимало, что противоположная сторона намеревалась втянуть его в какую-то авантюру, оно инстинктивно должно было воспротивиться этому.

То, что произошло позже, можно объяснить лишь политическим гипнозом и ничем иным.

Любви все должности покорны

Москва — не тот город, где можно выбирать место, чтобы провести время с друзьями или с любимой женщиной. В те годы существовало мнение, что самое ближайшее заведение, удовлетворяющее незамысловатым запросам обывателей, находится в Хельсинки. А это, если мерить расстояние от Красной площади, точнее, от Собора Василия Блаженного, более тысячи километров. Не близко. Поэтому мы с Ледневым, вспомнив, что и король за неимением лучшего спит со своей женой, отправились в очередной раз обедать, прихватив кое-кого из приятелей, в Дом журналистов, что от Собора Василия Блаженного менее чем в километре.

Меню соответствовало вкусам участников застолья, выбор тем — их интеллекту… Отсутствие достаточного количества увеселительных мест в Москве имело и свои преимущества. В разгар пиршества меня легко разыскал мой коллега. Подойдя к столику, он склонился над моим ухом и шепотом сообщил, что шеф приказал достать меня из-под земли и срочно доставить к нему. Подземельем оказался журналистский ресторан на Суворовском бульваре.

По моему представлению опасность могла исходить лишь из Германии. Поднявшись в свой кабинет, я связался по телефону с обеими германскими столицами, и только убедившись, что на «Западе без перемен», отправился к шефу.

Открыв дверь приемной, я прочел на хмурых лбах секретарей, что ищут меня давно.

— Проходите! — ледяным голосом скомандовал старший из них.

— Кто там? — сделал я попытку выяснить, в чем дело, хотя бы по составу присутствующих в кабинете шефа.

— Шеф просил немедленно появиться у него, кто бы у него ни был, — раздалось я в ответ. Это было неслыханно!

Медленными шагами я направился к двери, пытаясь в эти считанные секунды просчитать, что же произошло.

Но если бы я дозвонился до президента США или мне удалось связаться с Ватиканом, вряд ли я приблизился бы к тому, что меня ожидало по ту сторону двойной двери.

Из-за стола на меня глянуло озабоченное лицо шефа, частично заслоненное широким затылком одного из его замов, сидевшего напротив.

Завидев меня, Андропов довольно бесцеремонно попросил своего тет-а-тет оставить нас наедине, отчего затылок зама

побагровел. Он встал и, не глянув на меня, вышел. От неловкости я почувствовал, как мое лицо тоже меняет цвет, непонятно на какой.

— Несколько часов назад… — начал он, когда мы остались одни.

Затем последовал короткий рассказ о том, как ему позвонила наша общая знакомая Н. и попросила о помощи, которую никто другой не в силах был ей оказать. Не поясняя, в чем дело, он перешел к объяснению того, насколько он занят и до какой степени не чувствует себя обязанным помогать Н., ибо видел ее лишь несколько раз у общих знакомых, ничего более.

— Я обещал лишь, что ей позвонят, — заключил он свой рассказ и протянул мне лист бумаги, на котором были нацарапаны семь цифр. — Я попрошу тебя связаться с ней, выяснить, в чем дело, и уладить его, по возможности, не откладывая.

Дожидавшийся в приемной изгнанный зам приобрел уже прежний цвет лица, затылка и шеи, когда я проходил мимо, но головы не поднял и в мою сторону не глянул. Сомнений не оставалось: пережитого унижения он никогда не простит. Так оно и случилось.

Трубку взяла сама Н. Услышав мой голос, она начала тихо, а затем все громче и истеричнее смеяться. Выждав, пока стихнет хохот, я попросил ее о встрече. Недолго поколебавшись, она согласилась. Местом встречи мы выбрали детскую площадку в конце Никитского бульвара с видом на памятник Пушкину. Поэт, как известно, благоволил к красивым женщинам. Я представить себе не мог, о чем мне предстоит говорить с Н. Ясно было лишь, что разговор не затронет вопросов текущей советско-западногерманской политики, положения «русских» немцев в СССР и уж наверняка не коснется темы ракет СС-20. И то уже хорошо.

Немногим женщинам годы идут на пользу. Н. и тут была счастливым исключением. Она стала еще прекрасней, чем была много лет назад, когда я увидел ее впервые. Во всяком случае, разыскать ее глазами среди толпы на бульваре не составило никакого труда.

Завидев меня, она сделала усилие, чтобы улыбнуться, но напряженные от волнения мышцы лица не повиновались, и лишь уголки рта слегка обозначили некое подобие улыбки.

Приближаясь, я силился вспомнить, как мы расстались — на «ты» или на «вы». Но тут же прекратил это бесплодное занятие, оставив решение за нею.

— Как только я услышала в трубке «вам позвонят», я

подумала, что этим «позвонят» будете непременно вы. И слава богу!

Она протянула мне руку, и я почувствовал, как дрожат ее пальцы. Самый лучший способ умерить ее волнение, решил я, это дать ей выговориться.

— Скажите, вы можете жить в этой стране? — поинтересовалась Н., когда мы не спеша двинулись в сторону Никитских ворот. Мне показалось, что голос ее от напряжения звучал на октаву выше обычного.

— Живу, стало быть — могу.

— А я — нет! Как можно жить в стране, где все ненавидят друг друга?! Говорят друг о друге, в лицо или за спиной, одни только гадости. Сделать ближнему больно доставляет удовольствие!

В тот момент мы проходили мимо детской песочницы. Совсем маленький мальчик лет двух, недавно научившийся стоять на ногах, набрав в лопатку горсть песку, попытался обсыпать поравнявшуюся с ним в этот момент Н. Лопатка вырвалась из неловких еще рук, и его обсыпало с ног до головы. Тогда, сделав на кривых и неверных ногах два шага, он плюнул ей в вдогонку.

— Вот, пожалуйста! — словно обрадовавшись, взмахнула рукой Н. — Здесь вас ненавидят, едва появившись на свет.

Мы прошли еще немного, и Н. неожиданно взяла меня под руку.

— Знаете, если вас действительно интересуют мои проблемы, давайте поговорим не на ходу.

Мы опустились на пустую скамейку, и на меня пахнуло валерьянкой. Бедняга выпила столько зелья, что ее покачивало.

Выслушанный мною затем рассказ оказался довольно банальным для тех лет.

Сочетание красоты и ума, что и говорить, осложняют жизнь женщины в мире мужчин. Последние с трудом переносят эту гремучую смесь, стремясь всеми средствами утвердить свое преимущество. Н. мстила мужчинам за их примитивность тем, что часто меняла их. Последний ее муж каким-то образом уехал за границу и остался там, не имея на то разрешения советских властей. С Н. он расставаться не хотел, и через знакомого иностранца прислал ей письмо с приглашением приехать. Поручать непрофессиональным письмо-ношам подобные дела, конечно, нельзя. Увидев Н., иностранец о друге забыл и тут же пригласил ее уехать за границу с ним, и не в качестве жены друга, а его собственной.

Предложение иноземца Н. отвергла, но в выезде к мужу-беглецу ей было после года проволочек отказано. Бесполезные и

бесконечные хождения из кабинета в кабинет, от одного чиновника к другому, которые, к тому же, проявляли, по словам Н., куда больший интерес к ней, чем к ее судьбе, вконец измотали бедную. Отчаявшись, она прибегла к «последнему доводу короля» — позвонила Андропову.

Тем временем принятое ею лекарство возымело действие. Н. успокоилась, извинилась за чересчур эмоциональное начало разговора и продолжила свою «илиаду» уже совсем спокойно.

Как женщина она причисляла себя к существам слабым, нуждающимся в сильном покровителе, пусть даже эфемерном.

— Я сама придумала его себе, на пустом месте. То есть, почти на пустом месте. — С этими словами она вынула из сумочки небольшой продолговатый конверт, содержимым которого оказалось всего одна страничка из записной книжки. На тонком листке были написаны три четверостишья, два на одной стороне и последнее — на обороте. К сожалению, стихи в моей голове удерживаются настолько плохо, что даже текст гимна Советского Союза на экзамене в военной академии я зачитывал, то и дело заглядывая в шпаргалку. От стиха на листке из записной книжки остались в памяти лишь две первых строчки: «Не грустите, Н., не грустите. Все забудьте и всем простите…» — Как видите, таким покровителем я выбрала себе автора этих стихов, и не напрасно. Он защищал меня от неприятностей, даже не подозревая об этом.

Я внимательно вгляделся в строчки, и к своему великому изумлению узнал почерк Андропова. Чтобы этот аскет писал стихи, да еще лирические! Это было для меня приятное открытие. Я всегда радовался, обнаруживая в нем глубоко спрятанные и таимые от всех проявления человечности.

— Этот листок помог мне в жизни. Я вынимала его каждый раз, когда мне становилось трудно, и говорила себе вслух: «Если мне будет еще хуже, я решусь просить его о помощи». Вы, конечно, скажете, это мистика, но жизнь считается с сильными личностями: всякий раз, когда я произносила эту фразу, зло отступало. Я раскаиваюсь, что позвонила ему сегодня. Не следовало мне этого делать. В конце концов, он мне ничем не обязан. Виделись мы всего несколько раз, и всегда на людях.

— Как это вам удалось «на людях» вдохновить его на такие стихи?

— Поверьте, моей заслуги здесь нет. В тот вечер мы увиделись с ним в том же доме, где познакомились с вами.

Н. несколько отвлеклась от своих мрачных мыслей и оживилась.

— Он, как всегда, скучал в обществе пьющих людей. Я — тоже. Случайно мы остались вдвоем за кофейным столиком в углу

гостиной. Мне было грустно. Это был период моего полного разочарования в людях. Он, как всегда, куда-то спешил, но, поняв мое настроение, несколько задержался. Поинтересовался, что меня угнетает, и я пожаловалась на свое окружение. Немного помолчав, он неожиданно вынул блокнот и, вглядываясь в меня, как художник в свою модель, записал два первых четверостишья. Затем, подумав, дописал третье, на обороте. Вынув листок из блокнота, он протянул его мне со словами: «Когда вам будет трудно, перечитайте эти стихи. Может быть, они вам помогут». С этими словами он попрощался и тут же уехал. Больше мы не виделись. Ну, а дальше вы все уже знаете.

Теперь, после моего звонка, талисман потерял свою силу, так что верните стихи их автору и непременно скажите, что Н. искренне благодарит. Многие годы они охраняли ее.

— И какие же у вас планы на будущее?

— Планы? — усмехнулась она. — Уехать отсюда как можно дальше. С кем? На чем? Теперь это безразлично. Главное — подальше, на край света.

Она неожиданно резко встала, попрощалась и пошла прочь. Я глядел вслед удалявшемуся, ренуаровски красивому силуэту с подрагивавшими от рыданий плечами, и во мне поднималось негодование против тех, кто повинен в том, что такие женщины, как Н., покидают нас, отчаявшись в жизни. Ведь истинная женская красота, навсегда исчезнувшая из страны, также невосполнима, как вывезенные шедевры Карла Фаберже.

С этими мыслями я вернулся в кабинет шефа.

Со времени нашего разговора по поводу Н. прошло несколько часов, и он, если и не забыл столь драматизированную им самим историю, то, во всяком случае, несколько отвлекся от нее другими проблемами.

Поднимаясь в лифте и протискиваясь между чужих спин по коридорам, я усиленно пытался доискаться той главной и глубоко спрятанной причины, которая днем так вывела шефа из равновесия. Ну, подумаешь, звонок дамы, с которой связаны воспоминания о нескольких непродолжительных встречах в гостях и несколько застольных бесед — вот и весь сюжет. Другого, без сомнений, и не существовало.

Экзальтированные женщины, подобные Н., склонны рассказать скорее то, чего никогда не было, чем скрыть то, что на самом деле имело место.

Находясь еще под впечатлением от эмоциональной беседы с И., я с садистской точностью, слово в слово пересказал ее Андропову, не опустив ни малейшей детали. Он долго не прерывал меня, перекладывал с места на место бумаги, ища

предлога не поднимать головы и скрыть, таким образом, свои чувства. Перевалив за половину рассказа, я сделал паузу. Он тут же поднял голову и довольно зло отчеканил:

— Так вот, прошу, передай ей: несколько случайных встреч в доме у друзей— не повод обращаться ко мне с личными просьбами. Способствовать каким-то авантюрам с эмиграцией за границу я вовсе не намерен. Так ей и передай! Я уже дал указания секретариату меня с ней больше по телефону не соединять.

Все человеческое, теплое, так приятно удивившее меня при виде стихов, написанных Андроповым, вдруг стало погружаться в какую-то холодную казенную смесь, в которой купались все мы, включая и тех, кто ее готовил. Совершенно непонятной оставалась прелесть власти, при которой сами ее обладатели не могли позволить себе не то что бы адюльтера, но даже и платоническое проявление симпатии к красивой женщине.

— Насколько я понял, она не собирается тревожить вас в будущем и очень сокрушалась, что сделала это сегодня.

— Почему ты так решил?

Я молча вынул конверт и положил его на стол.

— Что это? — Он не сразу взял конверт, а затем, быстро раскрыв, вынул листок, пробежал его глазами. И вдруг лицо его прояснилось от облегчения, словно неожиданно прошла давно мучившая его зубная боль.

Андропов часто повторял, что настоящий политик непременно должен скрывать свои чувства, а потому допустить, что женщина могла понравиться ему настолько, что он посвятил ей стихи, да еще оставил у нее собственноручный стихотворный автограф, была для него непереносимым абсурдом. Это никак не вписывалось в созданный им для себя идеал: образ человека, лишенного всего человеческого.

— Вот за это тебе спасибо. Ты сделал мне хороший подарок. Представь, появились бы эти стихи, написанные моей рукой, в какой-нибудь газетенке за границей.

Он взял листок и разорвал его пополам с выражением такого наслаждения на лице, которого я у него никогда не видел. Заметив мой неодобрительный взгляд, он остановился:

— Что, не одобряешь?

— Я не стал бы уничтожать, потом интересно будет прочесть… Больше вы уже таких стихов не напишете.

— Почему ты так думаешь?

— А потому, что при этом надо что-то чувствовать. А у вас для этого теперь нет времени.

— Это верно. К тому же, такие стихи пишут для двоих. Знаешь, во время войны поэт Константин Симонов написал и

опубликовал стихи, посвященные его возлюбленной, Валентине Серовой, «Жди меня, и я вернусь…» Сталин тогда спросил, в скольких экземплярах изданы эти стихи. Стотысячным тиражом, ответили ему. «Вполне хватило бы двух, — возразил Сталин. — Один — ей, другой — ему».

— Слышал я эту легенду, и уверен, что ее придумали недруги поэта. Ведь это была, несомненно, лучшая лирика военных и послевоенных лет.

— Ладно, — примирительно произнес он, все еще улыбаясь, взял обе половинки листка и положил их в стол.

Н. ошиблась. Талисман не потерял своей силы. Даже в разорванном виде стихи помогли ей. Не знаю, что стало здесь решающим — человеческое благородство или благодарность за возвращение стихов автору, но она вскоре получила разрешение на выезд и след ее надолго исчез из моей жизни. Не так давно мне рассказали, что ее мечта сбылась: она вышла замуж за англичанина и уехала, как хотела, — на край свете, в Новую Зеландию. Дальше уже ехать некуда.

У опасной черты

Конец седьмого десятилетия характеризовался усилением процесса распада. Катастрофически дряхлело все: хозяйство, идеи, люди. Теряя силы, Брежнев становился все более необъективным к оценке событий и людей.

Как раз в этот период Андропов допустил тактический просчет, чуть было не стоивший ему высокого положения.

Располагая, как никто другой из приближенных Генерального, полной картиной процесса деградации и распада, охватившего страну, коррупции и взяточничества, процветавших всюду, халатного и бесхозяйственного отношения к технике, даже к той, что закупалась за границей, он старался остановить этот губительный развал, докладывая все Брежневу, не учитывая одного существенного фактора — тот уже не был способен «переварить» столь концентрированную негативную информацию. Срабатывали защитные силы дряхлеющего организма, и Андропов, делая доклад, все чаще замечал, как глаза Брежнева стекленели, лицо застывало и превращалось в неживую гипсовую маску. Становилось ясно, что он больше не видит и не слышит говорившего.

Прекрасно понимая, что происходит, Андропов тем не менее ухитрился пропустить тот опасный момент, когда количество перешло в качество.

Однажды в один ничем не примечательный день, Андропов, вновь просмотрев все отобранные для доклада Генеральному секретарю бумаги и собрав все соответственные мысли, отправился к Брежневу.

Поначалу тот принял его, как обычно, тепло. Вопрос первый, связанный с устным посланием Шмидта по поводу опостылевших всем ракет, решился довольно быстро и безболезненно. В основе предлагавшегося на рассмотрение Политбюро решения лежало уже известное мнение министра обороны Д.Устинова и А.Громыко. Последнее сводилось к тому, что нельзя уничтожать наши ракеты просто так, «меняя их на воздух», поскольку ничего подобного пока у Запада нет. Окончательное решение должно было принять «коллективное руководство».

Второй вопрос касался, кажется, развала на железнодорожном транспорте. Брежнев слушал, молча, хоть и без удовольствия. Затем поинтересовался, почему мнение главы ведомства госбезопасности столь разительно расходится с мнением других компетентных людей. В частности, не далее, как накануне вечером Генеральный секретарь долго беседовал с

весьма ответственными товарищами, которые по роду работы много ездят по стране и прекрасно осведомлены о реальном положении дел. Так вот, они нарисовали совершенно иную картину. Подтекст вопроса был ясен: может быть он, Андропов, чересчур строго судит о происходящем?

Андропов вернулся со встречи в подавленном настроении, которое затянулось до того момента, пока не прояснилась причина гнева Генерального секретаря.

Вечером того же дня Брежнев, чувствуя себя вконец измотанным, высказал вслух сделанный им вывод:

— После мрачных докладов Андропова о положении в стране я чувствую себя совершенно больным, и потом целую неделю не могу прийти в себя. Он сведет меня, конечно, в могилу своими докладами.

Скоро выяснилось, что «монолог отчаяния» Брежнева дошел до ушей министра внутренних дел СССР Николая Щелокова. Тот вместе с первым заместителем Андропова Семеном Цвигуном возглавлял группу наиболее коррумпированных чиновников в окружении Генерального секретаря.

По представлениям того времени, Щелоков воплощал собою тип «советского мафиози»: напористый, беспринципный, алчный и беспощадный на пути к цели, он манипулировал страстью Брежнева к дорогим машинам и прочим атрибутам комфорта. Всей своей сутью он являл отрицание щепетильного в своих убеждениях Андропова, которого Щелоков и ненавидел, и боялся, не без оснований полагая, что тот прекрасно знает о его «проделках».

Неприязнь была обоюдной. Однако «правила двора» Брежнева вынуждали их улыбаться друг другу при встрече, тем более, что городские квартиры обоих располагались в доме № 26 по Кутузовскому проспекту, даже в одном подъезде, том же, кстати, что и квартира Брежнева, только на разных этажах.

Соседство не примирило министров. Андропов относился к Щелокову пренебрежительно и осуждающе, хотя до поры до времени избегал открытой конфронтации.

И тем не менее, настал день, когда министр внутренних дел вынудил Андропова высказаться по своему адресу несколько резче, чем это позволяла этика сложившихся в брежневском окружении отношений.

Однажды, приехав к Андропову по делу, Щелоков в конце разговора попросил взять на работу в КГБ своего сына. Андропов возмутился настолько, что не сдержался, и, поскольку разговор происходил с глазу на глаз, сказал, что не намерен превращать вверенное ему учреждение в пристанище для отпрысков

высокопоставленных родителей.

Эта звонкая пощечина расставила точки над «i» в их отношения, и теперь, услышав жалобу Брежнева, министр понял: сейчас или никогда. Час пробил, нужно действовать, притом, действовать решительно, учитывая могущество соперника.

Теперь он знал точно, насколько губительны отрицательные эмоции для психического и физического состояния здоровья Генерального секретаря, а положительные, напротив, живительны. И в соответствии с этим строил свои с ним беседы: в стране благополучно, люди с одинаковым наслаждением трудятся, отдыхают, плодят детей и любят Генерального секретаря, ибо именно он создал им такую чудесную жизнь. Да Генсек и сам не раз убеждался в этом, наезжая с визитами в разные регионы, особенно кавказские и азиатские: счастливые дети первыми рвались к нему при встречах в аэропортах, а ведь дети не лгут. Они и не лгали: куда же лучше, если отменяют занятия в школах, везут в аэропорт в шикарных, а не грязных и переполненных автобусах, да еще и раздают подарки!

Не кривили душой и жители городов, начиная со столичной Москвы: куда приятнее махать флажком у положенного и пронумерованного столба на шоссе по дороге из аэропорта, чем без толку сидеть, ища себе занятия, за письменным столом в конторе!

Итак становилось очевидно, что идя на встречу с Генеральным секретарем министр внутренних дел прихватывал с собой эликсир жизни, а руководитель госбезопасности — яд. Выбирать было легко, и Андропов оказался на какое-то время потеснен, а его встречи с Брежневым стали более редкими. Это означало приближение к опасной границе.

Кульминацией подобного сложного для Андропова периода был его разговор с Брежневым, который явился своего рода проверкой на лояльность. Содержание разговора может быть восстановлено лишь по отдельным, брошенным им фразам.

— Слушай, Юра, ты ведь знаешь, как я доверяю тебе, поэтому мне так важно твое мнение. С разных сторон до меня доходят слухи, что я стар, плох и мне пора уходить. Да ты и сам видишь, как мне тяжело. То же говорят и мои домашние. Ну, сколько можно, в самом деле, работать?

О том, какой ответ дал Андропов, можно догадываться, зная его талейрановское мастерство обходить расставленные ловушки.

Разрядить опасно нагнетавшуюся обстановку помог опять случай. Кто-то, посвященный в семейные дела, рассказал Андропову, как болезненно реагирует Брежнев на все его лишенные прикрас доклады, а также о бурной активности

Щелокова во время участившихся визитов на дачу Генерального.

Теперь становилось ясно, откуда дует ветер и какой аромат он несет. Исходный материал оказался теперь у Андропова в руках, а учить его, как им распорядиться, было излишне.

Однажды первого заместителя Андропова, генерала армии Семена Цвигуна вызвали в ЦК партии и поставили в известность о том, что на уголовном процессе по делу о коррупции в особо крупных масштабах, предполагавшем высшую меру наказания в случае вынесения обвинительного приговора, подсудимые дали против него, Цвигуна, показания.

По их словам, он, первый заместитель министра госбезопасности, используя свое служебное положение, брал крупные взятки.

Прежде, чем ответить, Цвигун спросил, знает ли о его вызове в ЦК Брежнев. Получив утвердительный ответ, он попросил сутки на обдумывание. Однако, вернувшись домой, раздумывать не стал, и в тот же день застрелился.

Прошло некоторое время, прежде чем на стол Брежнева легли документы, подтверждающие использование своего служебного положения в преступных целях министром внутренних дел Николаем Щелоковым. Ознакомившись с ними, Генеральный секретарь решился лишь на одну меру пресечения: он перестал принимать министра у себя дома и свел до минимума деловое общение с ним. После чего углубился в более детальное изучение представленных бумаг. Закончить эту работу ему не хватило времени.

Придя к власти после смерти Брежнева, Андропов снял министра Н.Щелокова со своего поста. Его ждало судебное разбирательство. Не желая испытывать унижения и позора, первой застрелилась жена Щелокова. Когда ясно стало, что арест неизбежен, покончил с собой и сам министр.

Время наступает

Словно очнувшись от спячки, в середине 1979 года все вдруг заспешили. Американцам срочно понадобилось привести договор ОСВ-2 о сокращении стратегических вооружений к подписанию, ибо в США близились выборы.

Канцлеру Шмидту надо было срочно завершить начатое дело: либо заставить русских уничтожить свои ракеты СС-20, либо разместить американские «Першинги» в Германии.

Русским, помимо первых двух нужно было как можно скорее решить проблему с Афганистаном, куда, как тогда считалось, всеми силами рвались американцы с целью превратить страну в свою военную и разведывательную базу против СССР.

Первым удалось подписать договор ОСВ-2. Местом для церемонии была избрана исконная столица «разоруженцев» — Вена. В соответствии с положениями договора, уничтожению подлежали дорогостоящие межконтинентальные ракеты. После того, как Брежнев и Картер поставили свои подписи под текстом договора, в зале раздались аплодисменты.

К группе советских журналистов, присутствовавших на церемонии, подошел их американский коллега и сказал, что громче, чем здесь, в зале, сейчас хлопают на американских фирмах, которым отданы заказы на производство новых ракет, взамен уничтоженных, правда, под другим названием.

Я часто возвращаюсь к сказанному американским журналистом. И тогда азартная игра в строительство и разрушение дорогих ракет, а также длительные переговоры на эту тему представляются мне не более интеллектуальным занятием, чем излюбленный спорт моряков перетягивание каната.

Прошло еще немного времени, и стало очевидно, что поспешность с подписанием договора ОСВ-2 была излишней. Шансы на его ратификацию американским конгрессом были ничтожны. То, что виделось, как самое большое достижение советской дипломатии, способное резко поднять личный престиж Громыко, превращалось в громкую и дорогую хлопушку. Вместо уничтожения межконтинентальных ракет на горизонте все отчетливее возникали американские «першинги», которые будучи размещены в Европе, «накрывали» большую часть Европейской территории Союза, включая Москву.

На исходе 1979 года все стороны неожиданно почувствовали острый недостаток во времени, а поэтому приложили максимум усилий, чтобы все события втиснуть в рамки уходящего года, полагая, что следующий, 1980, следует начинать «a tabula rasa»,

«с чистого листа».

Декабрь оказался тем месяцем, когда нужно было решить все оставшиеся проблемы, ни в коем случае не отодвигая их за тридцать первое число.

В связи с перспективой размещения американских ракет в Западной Германии, по всей Европе прокатился вал протестов. Мнения в ФРГ по этому вопросу разделились не только в правящей коалиции, но и внутри партии социал-демократов. Арбитром должен был стать партийный съезд, намеченный на середину декабря.

В Москве решили поддержать несогласных. 6 октября 1979 года Брежнев приехал в Берлин и объявил об одностороннем выводе из ГДР некоторых частей советской армии. В той же речи он предложил начать переговоры по спорным вопросам о ракетах.

Полтора месяца спустя Громыко прибыл с официальным визитом в Бонн, и 25 ноября зачитал выработанную им и одобренную Политбюро формулировку: «Нынешняя позиция стран НАТО… разрушает основу для переговоров».

Эта позиция СССР призвана была определенным образом повлиять на германскую и мировую общественность, побуждая активнее выступить против планов НАТО.

Вряд ли Андропов высказывался открыто против формулировки «или-или», предложенной Громыко. Зато дал волю сарказму по ее поводу, сидя у себя в кабинете.

— Это что за дипломатия? Как можно дирижировать оркестром, загнав себя в телефонную будку?! Завтра НАТО примет решение о довооружении, и что тогда? Мы должны будем расплеваться со всей Европой, и Америкой?

Переход от поздней осени к ранней зиме— пора неприятная. Мокрый снег, смешавшись с уличной пылью, превращается в грязное месиво. Люди то и дело болеют, кашляют, заражая друг друга гриппозными вирусами и дурным настроением.

В первых числах декабря 1979 года мне позвонили из секретариата Громыко и просили зайти к министру.

Шефа МИДа я нашел в отвратительном настроении. Сославшись на свирепствовавшую тогда эпидемию гриппа, он не встал, как обычно, навстречу и не протянул руки. Некоторое время я стоял, соображая, от кого из нас двоих предположительно должна была исходить угроза заражения.

Он выглядел действительно усталым, но совершенно здоровым, как, впрочем, и я. Наконец, мы сели.

— Завтра я вылетаю в Берлин на заседание кабинета министров иностранных дел стран Варшавского договора, — вяло начал он, не оставляя надежды, что дотянет фразу до конца. —

Естественно, главным вопросом будет предстоящее решение НАТО…

Министр изложил в который раз свою концепцию, направленную против, как он выразился, «бесплодной затеи» канцлера Шмидта. Мне показалось, что он при этом внимательно прислушивался к своему голосу, проверяя на слух аргументацию, которую ему предстояло излагать на следующий день в Берлине своим коллегам по Варшавскому пакту.

Затем он попросил меня срочно вылететь в Германию, встретиться с Баром и прояснить окончательную позицию канцлера Шмидта в этом вопросе.

Мне для этого никуда лететь было не нужно, но возражать министру я не стал.

Процедура прощания прошла вполне традиционно, без учета свирепствовавшей гриппозной эпидемии— министр встал, пожал мне руку и сказал:

— Объясните вы немцам, пожалуйста, что дипломатия — это не сезонная, в данном случае осенняя, распродажа, а нечто более серьезное.

Я глянул в окно. С неба сыпался, или, скорее, лился, мокрый снег, нагоняемый холодным ветром. От осени на стеклах остались лишь неопрятные следы замерзшей воды, смешанной с пылью.

Как и следовало ожидать. Бар ничего нового сказать не мог, а подтвердил лишь то, что уже неоднократно передавалось «по каналу» Брежневу: Шмидт не собирался расставаться с репутацией «твердого орешка», и стоял на своем — либо уничтожение советских ракет, либо размещение американских.

В Восточный Берлин я возвращался с ощущением впустую потраченного времени.

Виллу Громыко в Панкове удалось разыскать быстро. Та же казенно меблированная гостиная, длинный стол, уставленный чайной посудой, и люди те же. Немного другой Громыко.

Допив чашку чая, министр медленно встал и предложил мне прогуляться.

День был теплый, но мрачный. Когда мы вышли на улицу, стал легко накрапывать дождь. Мы двигались по пустынным улицам, вдоль особняков со спущенными жалюзи на окнах, а несколько позади, на расстоянии, не позволявшем расслышать слов, но дававшем возможность держать в поле зрения оберегаемый объект, за нами следовал охранник.

Видимо, прогулка в непогоду по пустынным улицам в сопровождении охраны самому министру показалась занятием экстравагантным, и он поспешил объяснить:

— Там, знаете, микрофонов в каждом стуле напихано

столько, что сидеть жестко.

Я молча кивнул, не забыв про себя восхититься, насколько простым способом, в отличие от специалистов, пользовался министр для обнаружения подслушивающей техники.

Переданные министру слова Бара о том, что отведенное для решения ракетной проблемы время уже упущено, он воспринял с некоторым отчаянием.

— Неужели нельзя рассчитывать, что немецкая общественность воспротивится этому безумию? Кажется, и в рядах правящей коалиции тоже есть солидное количество противников? Может быть, партийные противоречия повлияют на события?

Мне стало жаль министра. Он пытался ухватиться за хрупкую соломинку, чтобы спасти свою внешнюю политику и свой престиж. Я процитировал ему в утешение слова, сказанные мне когда-то Лате: «Когда Германии грозит опасность, немцы становятся однопартийными. Они превращаются просто в немцев». Я предложил подождать, пока пройдет съезд социал-демократов, где будет принято окончательное решение, которое все точки над «i» и расставит.

Некоторое время мы шли молча.

Вдруг министр остановился и несколько мгновений рассматривал меня в упор. Капля дождя упала ему на лицо и покатилась по щеке, словно слезинка. Затем он поднял палец правой руки и четко с артикулировал.

— Если они все же примут решение, то мы будем вынуждены на каждую их ракету разместить две своих. И мы это сделаем. — Он не добавил «скажите им», но было очевидно, что произнесенное предназначалось для передачи Шмидту и прозвучало это у самых ворот особняка, словно кто-то идеально срежиссировал нашу беседу не по минутам, а по шагам.

Вскоре после отъезда Громыко, с 3 по 7 декабря, в Берлине состоялся съезд социал-демократической партии Германии. Проходил он в новом здании Центра международных конгрессов. Бар пригласил нас с Ледневым поприсутствовать в качестве гостей, снабдив соответствующими пропусками.

В зале заседаний все люди похожи друг на друга и ведут себя одинаково. Один говорит, а остальные слушают, чаще всего делают вид, что слушают. Некоторые ухитряются немного соснуть.

Другое дело — фойе. Тут кипит жизнь, все говорят почти одновременно, и хорошо, если хоть один слушает. В этом хоре выделяются лишь наиболее убежденные.

Основная масса в перерыве между заседаниями собиралась у

пивной стойки. Это — место, где легко охлаждаются страсти. Там министр обороны Апель мирно беседовал со своим оппонентом, который всего несколько минут назад с трибуны чем только ни мазал его, помимо темных красок. Можно было лишь восхищаться как сторонники и противники размещения атомных ракет весело пили пиво и закусывали, кто длинными, кто толстыми сосисками. Люди, решавшие судьбу многих десятков боеголовок, совершенно не представляли себе последствия взрыва даже одной из них, ибо тот, кто хоть однажды побывал на атомном полигоне, надолго терял аппетит и природную жизнерадостность.

Итак, решение о довооружении было на съезде одобрено, пусть и без особых аплодисментов, но достаточным большинством. В Москве это событие не вызвало шока, чреватого принятием необдуманных политических решений. Думается, это был один из последних положительных результатов, которые приносила в течение многих лет деятельность нашего «канала».

Благодаря ему, советское руководство заранее подготовило себя к вероятному повороту событий, и располагало временем, чтобы трезво, без эмоций оценить обстановку, не поддаваясь на призывы прибегнуть к ответным мерам, что привело бы к серьезной деформации сложившихся советско-западногерманских отношений и отбросило бы их на много лет назад.

Дед Мороз в черном

Мой рассказ о съезде западногерманских социал-демократов, где я и Леднев присутствовали в качестве гостей, без права голоса, шеф выслушал рассеянно. Против обыкновения, он не проявил интереса к деталям и удивил еще больше, не заставив меня прокомментировать одобренное съездом решение о довооружении, к чему я тщательно подготовился.

— Хорошо, что мы вовремя сориентировали и Генерального, и Политбюро в этом вопросе! А то некоторые могли бы наломать дров!.. Кого из «дровосеков» он имел в виду, сказать трудно.

И Андропов вновь погрузился в свои размышления, которые, судя по глубоким складкам на лбу, были далеко не веселыми. Затем он поднял глаза и, нечаянно обнаружив меня перед собою, вдруг спросил:

— Как ты думаешь, что предпринимают сейчас западные лидеры в плане наших отношений с Афганистаном?

— Думаю, для начала пытаются разыскать его на карте.

Шутка была настолько неуместной, что Андропов сделал вид, будто не слышал ее. Не рассчитывая дождаться чего-либо более умного, он спросил, когда мы планируем вновь поехать в Германию.

Пришлось объяснить, что в связи с приближением рождественских и новогодних каникул вся политическая жизнь, собственно, как и всюду в Европе, недели на две-три замрет. Недовольная гримаса на его лице красноречиво говорила о том, что у него нет ни малейшего желания разделить праздничный настрой беззаботных европейцев.

— Остается ли канцлер в стране, или уезжает? Можно ли сейчас связаться по телефону с Баром?

Андропову необходимо было что-то срочно передать канцлеру Шмидту. С другой стороны, по тону ясно: уверенности в том, как следует поступить, у него не было. Как не хватало и времени на размышления. Решение, судя по всему, нужно было принимать немедленно, в моем присутствии.

Речь, совершенно очевидно, шла не об очередном рутинном послании Брежнева канцлеру. Это не могло вызвать у него столь очевидного напряжения. Значит, что-то другое. Пока я рылся в догадках, он несколько раз сменил позу в кресле. Видимо, сегодня ему там было менее уютно, чем обычно. Затем он резко встал, дошел до угла стола, остановился. Поднялся со своего места и я.

— В общем, принято решение: мы вводим войска в

Афганистан. Иного выхода из создавшегося положения у нас нет.

Все это было произнесено на одном выдохе. Он, быстро вернувшись на место и будто с облегчением, добавил:

— Вот и все!

Более расплывчатого указания я никогда не получал а потому, в полном недоумении продолжал стоять.

— А когда это произойдет? — попробовал я выиграть время на обдумывание.

— Это решают военные. Во всяком случае, до Нового года. Так что, времени остается совсем немного.

Чтобы не стоять молча, я впал в размышления: прежде чем ввести войска, надо их сосредоточить на границе и это не может быть не замечено с американских спутников, а поэтому янки наверняка уже проинформировали своих союзников по НАТО о наших намерениях.

Слушая, он только хмурил лоб и, наконец, не выдержал и заговорил о том, что его не интересует, о чем и кого проинформируют американцы. Пока они могут вести речь лишь о концентрации наших сил и не больше. У нас есть с немцами свои отношения и обязанности. Если Шмидт узнает о вводе советских войск из газет, у него появятся все основания не доверять нам в дальнейшем. Андропов ясно представляет, какая свистопляска поднимется в мире. Но все равно жизнь на этом не заканчивается. Нам важно выйти из создающейся неблагоприятной ситуации, не разрушив отношения с западными немцами, в которые с обеих сторон было так много вложено.

— Как говорит Громыко, — вмешался я, — «мы — не последние жители на этой планете»…

— Очень хорошо, что вы с Андрей Андреевичем это осознаете, — парировал он, — но сейчас важно нечто другое.

— Представь себе на секунду, что на другой день после вашего разговора с Баром появятся сообщения в газетах о предстоящей нашей акции в Афганистане? — рассуждал он. — Чем это может обернуться для всех нас и в первую очередь для тебя? Есть у тебя уверенность, что на сей раз все пройдет гладко, и на чем она основывается?

Я настолько хорошо это представлял, что ни размышлять, ни говорить на эту тему не хотелось.

— Уверенность основывается на многолетнем опыте. Немцы умеют соблюдать дискретность. Так что все пройдет гладко.

Человеку суеверному никогда не следует давать подобных заверений.

Два часа десять минут, необходимые для перелета из Москвы в Берлин, растянулись чуть ли не на сутки. После того, как

пассажиры заняли свои места в самолете, в багажном отсеке были обнаружены подозрительные чемоданы. Неясно было, кому они принадлежат, и на переоформление вещей и людей ушло ровно четыре часа.

За это время погода в Берлине резко ухудшилась, и самолет посадили в Праге. Там уже скопилось несметное количество народу, прилетевшего из Восточной Европы. Берлин все еще укутывал густой туман, и потому лишь около полуночи удалось втиснуться в маленькую машину восточногерманской авиакомпании «Интерфлюг» и добраться до Дрездена.

В дрезденском аэропорту народу было меньше, чем в пражском, но шансов добраться по воздуху до Берлина, пожалуй, не больше.

К тому же, анонимный звонок сообщил администрации аэропорта, что именно в нашем самолете заложена бомба замедленного действия. Мы решили не ждать, пока взорвется бомба или рассеется туман над Берлином, а переехали на железнодорожный вокзал и отправились в столицу ГДР первым же ночным поездом.

В сидячем купе нашими с Ледневым соседями оказались четверо офицеров Народной армии ГДР. Трое из них прилежно храпели до самой столицы, без труда перекрывая стук колес.

Таксист, везший нас по Берлину на виллу, безостановочно ругал на чем свет стоит туман и то и дело переключал ближний и дальний свет, отчего видимость нисколько не улучшалась.

Хозяйка на вилле уже занималась утренним туалетом, когда мы позвонили у входа. После проведенных в пути суток мы с наслаждением последовали ее примеру и, наскоро позавтракав, тут же отправились в Западный Берлин, а оказавшись там, первым долгом позвонили в Бонн.

Количество неудач еще, видимо, не достигло критического предела, ибо Бара на месте не оказалось. Помощник обещал его появление не ранее, чем после обеда, и у нас появилось, наконец, время, чтобы перевести дух и собраться с мыслями. А главное, обсудить, где и как нам следует встретиться с Баром, чтобы передать ему информацию и не допустить ее утечки.

Как уже говорилось, после того, как особняк на Пюклерштрассе, 14 перестал быть нашим убежищем, добиться этого в Западном Берлине стало совсем не просто. Перебрав все мыслимые варианты, мы остановились на прогулке по городу.

После обеда Бар оказался на месте.

В китайском языке насчитывают с десяток интонаций, существенно меняющих значение слова. В немецком их меньше. Вместе с тем, за долгое время общения мы научились понимать

друг друга по телефону не только с полуслова, но и по легким изменениям в интонации голоса. На сей раз музыкальный слух не подвел Бара. Он попросил срочно прилететь в Бонн в этот же день, так как на следующий была запланирована поездка на Бодензее, где в это время находился канцлер Шмидт.

Накануне праздников все люди в Германии, словно простейшие организмы под микроскопом, начинают хаотично и суетливо передвигаться во всех направлениях. Билеты на любой вид транспорта в предрождественские дни заказаны задолго. Впервые за эти сутки нам повезло: нашелся один билет на самолет, вылетающий в Бонн.

В оставшееся время мы еще раз обговорили «прогулочный» вариант передачи информации, придумав короткую преамбулу, необходимую, как нам казалось, для того, чтобы смягчить преподносимый Бару и Шмидту «рождественский подарок».

Казалось, все возвращалось в нормальное русло наших обычных деловых вояжей, но, когда Валерий протянул свой паспорт пограничнику перед самой посадкой, тот незамедлительно вернул его обратно, вежливо заметив:

— К сожалению, срок вашей визы вчера истек.

Первым побуждением моим было пасть перед юным пограничником на колени, просить о снисхождении, ссылаясь на разницу в часовых поясах, суровость русской зимы, усталость… К счастью, от этого поползновения я себя сумел удержать и прибег к помощи самой чудовищной политической демагогии.

В полном противоречии с официальной позицией советского министерства иностранных дел, мы с Валерием стали убеждать офицера в том, что Западный Берлин, по сути, часть Западной Германии, ведь не случайно западногерманский бундестаг часто проводит здесь свои заседания. Мы же, соответственно, как постоянные обитатели Западного Берлина, имеем полное право без препятствий и без виз передвигаться из одной федеральной земли в другую.

С первым доводом пограничник легко соглашался, второй категорически отвергал. Мы на себе ощутили все недоработки соглашения по Западному Берлину, к заключению которого также приложили усилия и теперь должны были пожинать плоды собственного несовершенства.

Пришлось вновь апеллировать к одному из авторов этого соглашения.

Для начала Бар сообщил, что визы на въезд в Западную Германию для нас лежат в посольстве ФРГ в Москве уже месяц, что на следующий день в Берлин прилетит его помощник, уладит все дела с визами, но лететь теперь надо будет не в Бонн, а во

Фленсбург.

Завтра! Время быстро утекало из резервуара, емкость которого была неясна.

Завтра советские войска могут пересечь границу, и вся наша миссия потеряет смысл. Доказывать задним числом наличие благородных намерений бессмысленно — «Pakta sun servanda» — договоренности должны выполняться.

Кроме того, мы догадывались, что Андропов всю ответственность за предварительное информирование канцлера Шмидта взял на себя и поэтому наверняка проявлял нервозность в ожидании, как было обещано, телефонного доклада о том, что «все прошло гладко».

Объяснять ему все перипетии с визами — значило лишь усилить напряжение. Мы возвращались на виллу в подавленном настроении. Хозяйка порадовала известием, что звонков из Москвы не было. Утром следующего дня Леднев выехал на поезде во Фленсбург.

На сей раз, судя по его рассказу, он действовал в соответствии с договоренностью. Погода была отвратительная. С моря дул холодный сырой ветер.

Тем не менее, два человека решились покинуть тепло и уют дома, чтобы отправиться на прогулку вдоль берега моря в сторону датской границы.

Улучив момент между порывом ветра и залпом дождя, Леднев без всякой подготовки выложил Бару новогоднюю новость, ради которой был проделан весь многотрудный путь.

Что было главной причиной — погода или сообщенная новость, но, по словам Валерия, Бар заметно побледнел.

— Вы все сошли с ума! — произнес он твердым голосом, стараясь перекрыть звук ветра. — Афганистан — это не Варшавский пакт, то, что вы делаете — это чистой воды агрессия против слабого государства! Подумали вы, как будете выглядеть перед всем миром?!. В общем, надо как можно быстрее поставить в известность канцлера.

— За этим я сюда и приехал, — успокоил его Валерий.

Бар на секунду усомнился в целесообразности совместного с Валерием визита к канцлеру в свете предстоящих событий.

Однако поездка все же состоялась. Канцлер воспринял новость так же, как и Бар. После информации Леднева о том, что в ближайшие дни в Афганистан будут введены советские войска, разговор на другие темы потерял смысл. И оба гостя, оставив канцлера наедине с его невеселыми мыслями, отправились в обратный путь. Бар доставил Валерия в аэропорт, чтобы он мог перелететь в Берлин, где я его с нетерпением ожидал. На каком-

то участке пути прямо перед машиной, на дорогу выскочила косуля. Скрип тормозов, удар. Машину немного развернуло, а косуля оказалась в кювете. Быстро очнувшись от шока и вспомнив правила перехода автодорог в необозначенных местах, животное, виновато прихрамывая, поспешно удалилось в лес.

На Валерия это событие произвело значительно более сильное впечатление, чем на виновницу происшествия. Он воспринял его как недоброе предзнаменование грядущих событий. Вышел из самолета он в мрачном настроении и оставался пребывать в нем всю дорогу, пока мы ехали до центра Берлина. Только за ужином у знакомого итальянца удалось развеять его грустные мысли случайно брошенной фразой по поводу того, что «может быть, и всей нашей стране в предстоящей военной акции удастся отделаться легкими ушибами». Он немного повеселел, хотя пережитые сутки не сходили у нас с уст. Нам обоим казалось, что наслоившиеся одно на другое крупные и мелкие препятствия, совершенно неожиданно вставшие на пути и вынудившие сделать отрепетированное признание только на немецко-датской границе, были знаком судьбы. Она, видимо, заботилась более всего о том, чтобы максимально соблюсти все законы конспирации и сохранить «новость» в тайне до того момента, когда будет передано сообщение о начале «операции».

В ресторане было тепло и уютно. Пахло разогретым оливковым маслом и итальянскими «брускетти» — горячим и поджаренными с чесноком белым хлебом. Посетители были сплошь завсегдатаи, и каждый вновь вошедший вместо приветствия поздравлял всех с наступающим Рождеством.

Глядя на этих размеренно живущих и жующих, в мире и покое пребывающих людей, мы не могли избавиться от ощущения, что готовим им какую-то подлость, о которой они и не подозревают и не догадываются, какое горе может разразиться уже сегодня или завтра утром.

Начинают войны всегда с уверенностью, что их удастся быстро закончить, но в этом и заключается самое большое заблуждение.

Мы тогда это почему-то почти физически ощущали. По-русски говорят: «На воре шапка горит».

Но мы были без головных уборов, и никто не обратил на нас внимания.

От мрачных мыслей нас отвлек телевизор, подвешенный почему-то под самый потолок. В новостях преобладали благостно-предпраздничные интонации, ни о каких серьезных событиях в мире и речи не было.

Валерий попросил официанта принести два виски. Он любил

не только ордена, но и юбилеи, и относился к ним в высшей степени серьезно.

— Не будем сейчас думать о плохом! Может, все еще образуется… А лучше отпразднуем небольшой юбилей: ровно десять лет назад, вот так же накануне Рождества, я впервые вошел в кабинет Бара…

— И водрузил на столе перед ним пластиковую елочку! Да, за это нужно выпить.

Мы отпраздновали десятилетний юбилей существования нашего «канала» и пожелали ему долгой жизни.

А несколько дней спустя, 28 декабря 1979 года, на рассвете, советский танковый полк пересек границу Афганистана.

В Вашингтоне в тот час перевалило за полдень. Те из американцев, которые надеялись, что вследствие применения «доктрины устрашения», активности служб дезинформации и несовершенства человеческого интеллекта Советский Союз удастся-таки втянуть в афганскую авантюру, получили все основания выпить перед ланчем самого лучшего шампанского.

«Советский Вьетнам» состоялся. История расставляет акценты не спеша. У нее на это есть время. Человеческий век короток, и потому необходимо торопиться с выводами, иначе трагедии непременно повторяются, и обязательно в их худшем варианте.

Закат

С годами человек мирится с тем, что любое начало влечет за собою конец. Однако с приближением или наступлением конца смирение покидает его.

Восьмидесятый и восемьдесят первый годы прошли в пустых и бесполезных хлопотах по перетягиванию ракетного каната средней дальности. Причем каждая из сторон была настолько увлечена дискуссией, что, убеждая противника, сама начинала верить в собственные аргументы.

Последовательны в своих действиях были только военные промышленники по обе стороны Атлантического океана. В США прилежно и успешно производили «Першинги-2», в СССР не менее успешно СС-20. В конце концов, политики и дипломаты настолько свыклись со сложившимся положением, что «ракетная тема» стала обязательным аперитивом перед вкусным обедом.

На фоне «ракетного» военного противостояния обмены визитами между канцлером ФРГ и Генеральным секретарем оставались единственной отдушиной, оставлявшей робкую надежду на то, что наведенный с таким трудом мост между нашими странами выдержит повышенную нагрузку и не рухнет в одночасье.

Брежнев понимал важность стабильных отношений между СССР и Западной Германией, и, несмотря на перенесенные инфаркты и общее недомогание, всякий раз проявлял готовность к встречам, стоило речи зайти о необходимости принять канцлера или самому отправиться в ФРГ.

После визита канцлера Гельмута Шмидта в Москву летом 1980-го года, Брежнев сам заговорил о своей поездке в ФРГ.

Андропов активно поддержал эту идею. Однако, поскольку он сам с недоверием относился к воздухоплаванию, предпочитал железную дорогу и, исходя из состояния здоровья Генерального секретаря, хотел и ему предложить то же самое, но впоследствии от дачи подобной рекомендации по каким-то причинам отказался.

К тому времени стала все чаще давать себя знать болезнь, исподволь подтачивавшая здоровье самого Андропова. После очередной поездки на юг, где он сильно простудился, у него появились в лобных пазухах над бровями непонятные гнойные образования, которых он страшно стеснялся.

Однажды, преодолевая смущение, он обратился ко мне с просьбой приобрести на Западе для него очки с самой массивной оправой, чтобы скрыть, как он сказал, «образовавшееся

безобразие».

Я безрезультатно обошел множество магазинов оптики, пока не нашел на фирме «Роденшток» то, что было нужно. Хозяин с большим удовольствием отдал мне залежавшуюся у него модель, весившую, как он уточнил, без малого триста грамм, то есть вполовину больше, чем любая современная оправа.

Когда я пришел вновь, чтобы забрать очки с уже вставленными стеклами, он не удержался и спросил: кому понадобился такой уникальный экземпляр, от которого может деформироваться переносица. Не очень рассчитывая на устойчивость нервной системы немца, я от честного признания уклонился.

Андропов очкам явно обрадовался, и тут же удалился к себе в смежную с кабинетом комнату, где было зеркало.

Вскоре он вернулся крайне довольный, сказав, что чувствует себя в этих очках, как водолаз в скафандре, тут же потребовав счет за покупку с тем, чтобы возместить мне затраты.

Затем, отложив очки в сторону, он долго разглядывал меня сквозь стекла прежних, видимо, обдумывая что-то, а затем решительно заговорил. Тоном, которым обычно доверяют большую тайну, он сообщил, что недавно его для разговора вызвал Брежнев и без обиняков заявил, что ему, Андропову, пора возвращаться в аппарат ЦК партии, прежде, естественно, завершив все дела и назначив преемника. Не спешить, но и не затягивать, — вот к чему сводилось указание Генерального. Скоро уже пятнадцать лет, как я в госбезопасности, ответил ему Андропов, а ведь при назначении речь шла самое большее о трех-четырех годах. Брежнев посетовал лишь, что так быстро течет время.

Видно было, как волнуется Андропов, даже пересказывая разговор с Генеральным. Кончился почти пятнадцатилетний, очень важный этап в его карьере, который он успешно преодолел и выходил теперь на финальную прямую, ведшую к самой вершине власти.

Предложение Брежнева имело совершенно определенный смысл. Это было, прежде всего, признание несомненного лидерства Андропова среди высшего руководства страны. Более того, это означало, что выбор наследника Брежневым сделан. В истории советского государства не было случая, чтобы уходящий лидер в своем политическом завещании однозначно указывал имя своего преемника.

Как стало известно после смерти Сталина, Ленин, превыше человеческой жизни, включая собственную, ценивший свое творение социалистическое государство, в своем политическом

завещании отметил лишь некоторые отрицательные качества личности Сталина. Но вместе с тем не указал того, кого считал достойным взять дело из его рук.

Не сделал прижизненного выбора и Сталин. Брежнев был первым, кто, не называя имени, своими назначениями сконцентрировал вокруг Андропова столько внимания, что воля его ни для кого не оставалось загадкой.

Андропов поступил почти так же. В силу склада характера и из-за краткости пребывания у власти, он не позволил себе указать перстом на Михаила Горбачева, но сделал все практически необходимые шаги для того, чтобы после его смерти тот был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Возвращаясь к той памятной беседе с Андроповым, сообщившим мне о своем перемещении, должен сказать, что этим она не закончилась.

Он вдруг поинтересовался, как я представляю себе мою дальнейшую жизнь, добавив, что с его уходом оставаться мне, пусть формально, в рамках ведомства государственной безопасности нет никакого резона. И объяснил, почему: мой образ жизни и условия работы — день дома, два дня в Германии — породили внутри ведомства большое количество завистливых недоброжелателей, а уж они с уходом Андропова проявят себя вполне однозначно. А потому, заключил Андропов, лучше всего мне было бы сменить место работы.

Ни понимания, ни особого энтузиазма у меня этот монолог шефа не вызвал, чем и было спровоцировано его заметное недовольство и раздражение.

Мы скоро расстались.

Мастером эндшпиля Андропов, безусловно, не был, и не переносил неприятных для него объяснений с людьми.

Это я понял еще тогда, когда он поручил мне объясниться с Н. Тогда я подумал, что случись такая необходимость, неприятный разговор со мной он тоже поручит кому-то третьему.

В сравнении с Н., мне досталась судьба еще более печальная: отношения со мной Андропов обязал уладить своих заместителей, которые, естественно, были в отвратительных отношениях между собой.

Каждый из них выполнял поручение по своему разумению: один объяснял, что непрерывное, в течение более чем десяти лет, общение с чуждым, враждебным иностранным окружением не могло не исчерпать защитных сил нашего «политического иммунитета», а потому необходим продолжительный перерыв, в течение которого «канал» будет «передан в эксплуатацию» другим, идейно еще убежденным людям.

Другой считал, что длительное пребывание за границей резко увеличивает наши шансы быть похищенными одной из вражеских разведок, а тогда уж, под допросом…

Кроме того становилось весьма вероятным, что купить по соседству под Москвой дачи, размером большим, чем это допускало чье-то воображение, Леднев и я могли только предварительно продав Родину.

Третий, мудрейший и старейший из заместителей, высказался в том смысле, что мы как люди пишущие, в любое время можем разразиться публикациями, в которых раскроем тайны, доверенные нам шефом.

Ознакомившись с мнением всех троих, я решил, что необходимо выслушать и четвертого — самого Андропова.

Ясно было, что для этого придется воспользоваться всеми уроками, которые он мне преподал. Осторожный в каждом своем шаге, он часто повторял фразу, слышанную им от волжского боцмана в дни юности и ставшей его жизненным кредо: «Жизнь, Юра, — это мокрая палуба. И чтобы на ней не поскользнуться, передвигайся не спеша. И обязательно каждый раз выбирай место, куда поставить ногу!»

Нужно было без суеты рассчитать, когда и куда поставить ступню, хотя времени для этого несложного маневра оставалось крайне мало.

Теперь шеф принимал меня значительно реже и строго ограничивая наши встречи во времени. А вскоре мы с Валерием вновь поняли, что за нами тщательно «приглядывают», теперь уже в Восточном Берлине.

Валерий давно поддерживал теплые отношения с западногерманским тележурналистом Фрицем Пляйтгеном, долго работавшим в Москве. Ко времени моего повествования тот уже перебрался в Восточный Берлин и сообщал оттуда соотечественникам, что происходит в ГДР. Валерий любил навещать, когда представлялся случай, эту радушную и гостеприимную семью.

Подъезжая к дому, где жил Пляйтген, на Ляйпцигерштрассе, чтобы забрать Леднева, я с каждым разом все более изумлялся тому, как быстро густеет толпа «соглядатаев» именно у этого дома. К тому же все чаще на всем пути от Ляйпцигерштрассе до пригорода Карлсхорст, где мы жили, нас сопровождала автомашина. Смысл такого «эскортирования» остается и до сих пор загадкой.

Поначалу мы хотели было повторить оправдавший себя прием: зафиксировать номера машин и людей, неотступно нас преследовавших. Однако скоро поняли, что на сей раз вручить

бумагу будет некому. Кем бы ни оказались эти люди, реакция Андропова в этом случае могла быть однозначной: раздражение и подозрение по поводу проявляемой нами нервозности. А потому оставалось одно: делать вид, что мы ничего не замечаем.

Продумывая неизбежное объяснение с Андроповым, я решил следовать его же формуле: выигрывают терпеливые.

Кроме того нужно было время, чтобы подготовить Леднева к предстоящему повороту событий.

Упрощая себе задачу, я передал ему все услышанное мною от заместителей Андропова. Что касается немецких дел, то Валерий был запрограммирован на ордена, похвалу, в крайнем случае на молчаливое признание заслуг с обеих сторон, но уж никак не на подозрение в неверности, тем более государству, которому он так верно служил. Все происшедшее он воспринял как личную обиду, как результат низкопробных интриг бездарных аппаратчиков, в чем был недалек от истины.

Я выждал, пока он успокоится, и дал ему честное слово, что при любых обстоятельствах найду возможность объясниться с Андроповым.

Укрепило меня в этом решении и еще одно событие. Как-то, сидя в рабочем кабинете, я снял трубку зазвонившего телефона и услышал голос с сильным иностранным акцентом:

— Мне нужно срочно переговорить с тобой! Сегодня вечером, между семью и восемью часами, я буду проветривать свою голову на набережной Москва-реки, у гостиницы «Украина». Думаю, и твоим мозгам такая прогулка не помешает..

Звонок этот обрадовал меня. По отношению к Хайнцу Лате я испытывал определенное чувство вины: мы долго не виделись, и знали друг о друге лишь благодаря Ледневу, которого с звонившим связывала давняя и теплая дружба.

В тот вечер я действительно обнаружил Хайнца в условленном месте на набережной. Оперевшись на парапет, он тупо глядел вниз, на мутные, сплошь в жирных мазутных кляксах, воды Москва-реки.

Едва поздоровавшись, он, как обычно, тут же перешел к делу.

— У нас с тобой отношения, конечно, не такие, как с Валерием. По-моему, ты мне не очень доверяешь…

Я хотел возразить, но он поднял руку, жестом упреждая все мои доводы:

— Сейчас это неважно. Валерий рассказал мне все, что с вами произошло, и с той минуты я не нахожу себе места, не сплю и не ем!.. Десять лет назад мне удалось, пусть совсем немного, содействовать нашему общему делу. Десять лет я радовался, видя, что дело идет.

Он замолчал, разглядывая мрачные стены фабрики «Трехгорная мануфактура» на противоположном берегу.

— Послушай, нельзя отдавать доброе дело на съедение глупцам и карьеристам.

Он отошел к машине, взял с сиденья конверт и протянул его мне.

— Вот, прочти, переведи на русский и передай адресату. Я знаю, у тебя есть такая возможность. Может быть, это самое лучшее, что я написал за все свои долгие журналистские годы.

Вверху страницы аккуратным почерком было выведено:

«Господину Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду БРЕЖНЕВУ»…

Я немного помедлил, и Хайнц улыбнулся:

— Не беспокойся, ты первый, кто читает это. У меня есть книга в толстом переплете, в нем я хранил это послание.

До сих пор не могу простить себе двух вещей, когда оглядываюсь в прошлое: того, что не запомнил стихов Андропова, написанных для Н., и что не взял письма Лате. Я многим бы сейчас пожертвовал ради того, чтобы перечитать вновь последний крик души этого удивительного человека. Надеюсь, что Эрика — вдова Хайнца хранит в своем архиве этот потрясающий искренностью документ. Если память не изменяет, начиналось трехстраничное письмо так.

«Уважаемый господин Генеральный секретарь!

К Вам обращается бывший немецкий военнопленный. Как солдат Вермахта, я сражался против русского народа, был им пленен и отправлен в лагерь для военнопленных. Но именно там, где условия жизни приближались к критическим, я полюбил Ваш народ. Русские люди не опустились до примитивной мести, хотя имели для того основания. Напротив, они поднялись на большую моральную высоту, сохранив нам жизнь и не подвергнув унижению. Смею Вас заверить, г-н Генеральный секретарь, что так думаю не только я, но девять из десяти бывших военнопленных»…

Далее Хайнц коротко излагал историю начавшегося десять лет назад сближения между СССР и ФРГ. В этой связи упоминались и мы с Ледневым. Заканчивалось послание просьбой:

«Вы прошли фронт и знаете, что такое жизнь и смерть. Не допустите гибели того, что было добыто таким трудом и столь необходимо Вашему и моему народу — примирение».

Хайнц не был в курсе наших дворцовых интриг и конечно не мог себе представить, что если бы я, даже используя свои возможности, вручил его письмо непосредственно в руки

Л.Брежнева, все равно в конечном счете оно бы очень скоро перекочевало к Андропову и, несомненно, только осложнило наше положение.

Мне стоило больших трудов уговорить Хайнца взять письмо обратно, вернуть его в тайник и повременить немного, пока я сам разберусь в ситуации.

Он согласился, взяв с меня слово, что при первой же возможности я все же передам письмо адресату.

Мы немного еще постояли у парапета, а потом, вместо прощания, вдруг неожиданно обнялись. Этот импульсивный жест чужд мне настолько же, насколько несвойственен он был и сдержанному Хайнцу. На фоне этого всплеска подлинной искренности, события, развернувшиеся вокруг нас, показались мне возней пауков в банке, пожирающих друг друга, несмотря на отсутствие как голода, так и аппетита.

Вернувшись к себе, я позвонил в секретариат Андропова и получил ожидаемый ответ: он слишком занят.

Узнав, что одного из заместителей шефа нет на месте, я миновал приемную, вежливо поздоровался с секретарем и, войдя в кабинет, снял трубку прямой связи с шефом.

Выросший за моей спиной и растерянный от неожиданности секретарь, поняв, с кем я разговариваю, поспешно ретировался, прикрыв дверь. Услышав голос Андропова, я сказал, что хотел бы срочно переговорить с ним. После секундного колебания он предложил зайти к нему немедленно.

Увидев меня входящим в приемную, секретарь только покачал головой.

Далее события развивались быстро. Не теряя времени, я изложил Андропову содержание всех бесед, которые провели со мной его заместители. Он поморщился от неудовольствия:

— И этого как следует сделать не смогли! — не пощадил он своих замов. — Что ж, тогда послушай меня внимательно. Я тебе уже говорил, что ухожу в ЦК. Брать с собой, как у нас это принято, всю команду, включая шоферов и поваров, не собираюсь.

Далее он изложил концепцию, которую всячески старались утаить от меня его ближайшие подчиненные. Сводилась она к следующему:

Становление наших отношений с ФРГ при использовании прямого канала между лидерами обеих стран проходило на глазах у наших немецких друзей, что не вызвало у них ничего, кроме недоверия и раздражения, в том числе и в отношении нас с Ледневым. Мои беседы с Мильке положение не поправили. Мы стали «бельмом на глазу» в наших отношениях с немецкими

друзьями, что не может иметь место в дальнейшем.

Я набрал в легкие воздух, чтобы выложить аргументы против этих доводов, но он жестом руки упредил меня и продолжил:

— Ты не глупый человек и должен понять, что при всех ваших заслугах, никто из-за вас с руководством ГДР ссориться не будет.

— Вы имеете в виду с Хонеккером?

— В том числе.

Становилось очевидно, что поступавшая систематически, прежде всего из Восточного Берлина, информация, с которой Андропов время от времени знакомил меня, о том, что у Леднева и Кеворкова в результате длительного общения с западными немцами произошло смещение политических симпатий с Востока на Запад, все же возымела свое воздействие.

— Ну вот теперь все встает на место, — заметил я, отчего напряжение на лице Андропова исчезло и мне показалось, что он даже повеселел и тут же предложил мне указать любое место, где мне хотелось бы работать, а уж об остальном обещал позаботиться сам.

Я предпочел Телеграфное Агентство Советского Союза, но тут же заметил, что прежде мне необходимо в последний раз встретиться с Эгоном Баром, объяснить ему происшедшее, и уж, во всяком случае, поблагодарить за долгие совместные усилия и попрощаться.

Андропов не возражал.

— Ты принял правильное решение, — протянул он руку на прощание. — Пишешь ты давно, а теперь сможешь и публиковаться под своим именем.

— «Неизбежное прими достойно».

Он задержал мою руку, как бы требуя уточнения. Объяснение же по поводу того, что это изречение принадлежит не мне, а древнему философу, не застало его врасплох.

— Я так и думал, но все равно прекрасно. Надо будет запомнить. — И он еще раз с удовольствием повторил его.

Это была наша последняя встреча.

За несколько дней до отлета мы с Валерием узнали, что у нас будет «сопровождающий». Я видел его впервые и, как предполагалось, он должен был стать преемником «канала». Однако этот человек так неотступно опекал нас в пути, в особенности, когда мы пересекли границу, что нам очень захотелось хоть у кого-то попросить политического убежища.

Это была фантазия, а реально мы были убеждены, что достаточно хорошо воспитаны, чтобы позволить себе «привести» на последнее свидание с Эгоном Баром кого-либо, не уведомив его заранее.

Ужиная в ресторане неподалеку от западноберлинского «Ойропа-центра», Валерий вышел в туалет и по дороге наткнулся на телефон-автомат. Не раздумывая, он тут же набрал номер Бара и кратко изложил ему цель нашего приезда.

Наверное поэтому Бар не выразил особого удивления, когда в его номере в отеле «Швайцерхоф» мы появились втроем, но сухо заявил с порога, что в присутствии постороннего никаких деловых разговоров вести не станет. Все опросы, касающиеся использования «канала» между Брежневым и канцлером Шмидтом, он полномочен обсуждать, только получив на это санкцию последнего.

Разделавшись с ситуацией, которую мы ему помимо своей воли навязали, Бар пригласил меня прогуляться. Прогулка была долгой, разговор — грустным, но, как всегда, честным. Мы отчетливо понимали, что подходит к концу важный период в жизни каждого из нас, поэтому подводили итог, наперебой вспоминая моменты, ярче всего запечатленные памятью.

Итог был столь же прост, сколь и удивителен: за десять с небольшим лет мы ни разу не обманули друг друга, и это учитывая количество и величину «подводных камней», которые приходилось постоянно обходить.

Мы расстались.

Бар вернулся в Бонн, а я — в Москву, где получил рабочий кабинет в ТАСС, о чем ни разу не пожалел.

По разным делам Эгон Бар по-прежнему иногда наезжал в Москву, и, хотя животрепещущих тем у нас поубавилось, встречались мы всякий раз с искренней радостью, хотя тень неясности происшедшей эволюции не покидала нас и была темой многих встреч.

Острее нас переживал сложившуюся ситуацию Валерий. Он, что ни день, требовал от меня объяснений причин случившегося. Жизнерадостный и беззаботный по природе, он впал в длительную и тяжелую депрессию. Никогда не являясь страстным поборником трезвости, он искал теперь в вине отдушину.

Однажды, сидя на даче за рабочим столом, я по скрипу ступеней понял, что кто-то поднимается по лестнице. Не позвонив и не постучавшись, появился Валерий. Он сел рядом и попросил водки. Я подчинился, но Валерий потребовал, чтобы я налил и себе. Я повиновался. Затем он предложил мне встать. Я встал. И тогда он произнес:

— Сегодня покончил жизнь самоубийством талантливый журналист, искренний друг России, немец Хайнц Лате.

Он выбросился с балкона своей квартиры и разбился насмерть о землю, которую очень любил. Пусть она будет ему

пухом.

Говорят, умереть в день своего рождения, означает полностью завершить свой жизненный цикл. Брежнев немного не дотянул до декабря 1982 года. Он умер легко, в одночасье, никого собой не мучая и не оставив никакого завещания — ни политического, ни кадрового.

И все же он успел довольно четко обозначить фигуру своего преемника. 12 ноября 1982 года внеочередной Пленум ЦК КПСС избрал Юрия Андропова Генеральным секретарем.

Андропов шел к этому заветному часу долго, умея выжидать и искусно умудряясь не поскользнуться на «палубе жизни». Этот «звездный час» состоял из многих «звездных минут».

15 ноября Андропов принял в Кремле бывшего директора ЦРУ, тогдашнего вице-президента США, Джорджа Буша, прибывшего на похороны Л. Брежнева.

Буш прилетел из-за океана, чтобы сказать лишь то, что должны были сказать и все остальные. О чем думал в те минуты траура вице-президент США, сказать трудно, но 15-летний опыт общения с Андроповым позволяет довольно точно воспроизвести ход его мыслей при этой встрече.

«Сегодня мое, ставшее не по моей воле, грешное прошлое превращается в безгрешное настоящее и в целомудренное будущее. Отныне ни в меня, ни в тебя никто не посмеет бросить за него камень. Мы оба вышли за пределы зоны возможного неуважительного к нам отношения, правда, ты в ранге всего лишь вице-президента, а я уже в качестве полноправного главы мощнейшей державы мира».

Меня же в то время всецело поглотила работа в ТАССе. Она не была для меня новой, но оказалась куда увлекательнее, чем я ожидал.

А главное, она требовала много времени; а время быстро уносило в небытие все прошлое, особенно его неприятную часть.

5 июля 1983 г. я допоздна засиделся в кабинете. Считая меня опытным германистом, генеральный директор попросил посмотреть выпускаемую на ленту информацию относительно встречи в Кремле Андропова с прибывшими в Москву канцлером ФРГ Г.Колем и министром иностранных дел Г.Д. Геншером.

Мне положили на стол материал, присланный из ЦК для выпуска в печать. По прочтении его меня охватило уныние.

За те полгода, что Андропов пробыл у власти, ничто, включая лексикон политической риторики, к лучшему не изменилось. До размещения американских ракет в Европе оставались считанные месяцы. В газетах уже замелькали сообщения о том, что они погружены на суда и готовы к отплытию в сторону Европейского

континента.

Андропов же, беседуя с Гельмутом Колем, заученно твердил давно не актуальную и бесперспективную с самого начала громыкинскую фразу: «Если ракеты будут размещены, то…»

Присланный мне документ был завизирован помощником Генерального секретаря Александровым-Агентовым, но сквозь строчки мрачно усмехалось, как всегда, скошенное на сторону лицо Громыко, повторявшего сказанную римским сенатором две тысячи лет до него крылатую фразу: «Et Karthaginem delendam esse!» («А Карфаген должен быть разрушен!»)

Мне припомнилось заклинание Андропова четырехлетней давности, произнесенное по тому же поводу в адрес того же Громыко. Тогда глава ведомства госбезопасности, тыкая пальцем в текст громыкинской речи, доказывал мне, что дипломатия не может строиться на ультиматумах. А теперь, став во главе государства, сам шел этим бесперспективным путем.

Тех, кто еще сомневается в возможности передачи импульсов мозга на расстоянии, то есть в телепатию, берусь разубедить, хотя делаю это неохотно.

Подписав с тяжелым чувством бумагу, я отдал ее для выпуска на ленту. Естественно, в тот момент я был переполнен уверенностью: будь я, как прежде, рядом с Андроповым, я бы смог повлиять на то, чтобы уже однажды совершенная глупость не повторялась. Дав себе слово не принимать близко к сердцу впредь все, что касается Германии, я оделся и направился к выходу.

Уже у двери я услышал, как зазвонил кремлевский телефон. Возвращаться — примета плохая. Но я преодолел суеверие и был вознагражден за это.

Трудно было поверить, но из трубки послышался подхриповатый, очень усталый голос Андропова. Не представившись, едва поздоровавшись, он заговорил так, как будто продолжал минуту назад прерванный по какой-то причине диалог.

— Сегодня я принимал канцлера Коля. Мне он очень понравился: напористый, настоящий «немецкий бык», из народа. Но — умен, знает, что такое власть, и умеет ею распорядиться. А это как раз, то на чем большинство лидеров спотыкается.

Позволить себе разговаривать по телефону, не представившись, мог только очень высокопоставленный руководитель, убежденный, что все остальные должны и без того распознавать тембр его голоса. Ранее Андропов себе этого не позволял.

— Скажи, пожалуйста, — продолжил он, — как ты думаешь, способен Коль отбросить все условности и продолжить с нами

диалог, начатый Брандтом?

— Ради дела… — начал было я, но он не дал мне договорить, что ранее тоже было ему не свойственно.

— Я должен пройти медицинское обследование в течение ближайших недель, а потом немного отдохнуть. Вот когда вернусь, мы продолжим с тобой этот разговор.

Я пожелал ему скорого выздоровления, испытав при этом глубокое у нему сочувствие, поскольку хорошо представил обстановку, в которой ему предстояло провести все это время. Ранее мне довелось несколько раз навещать его в больнице, и всякий раз я удивлялся примитивности и безвкусице окружавшей его обстановки, в которой, как мне казалось, можно было заболеть, но никак не вылечиться.

Две отведенные ему комнаты в отдельно от основных корпусов стоявшем каменном домике Кунцевской больницы являли собою смесь служебного кабинета, больничной палаты и номера «люкс» в привилегированном санатории ЦК. Те же, что и в служебном кабинете, ковровые дорожки и телефоны «слоновой кости» с вкрадчивым, щадящим нервную систему телефонным звонком.

В небольшой передней комнате, служащей гостиной, безвкусная инкрустированная мебель египетского производства. Видимо, какому-то ответственному чиновнику Министерства внешней торговли в шестидесятые годы они пришлась весьма по вкусу, и с тех пор вся страна была заполонена ею в обмен на колоссальное количество сырой нефти, откачанной предварительно из ее недр.

В общем, обиталище было настолько же скромно, насколько и уныло.

Никелированная кровать на колесиках, увядшие деревянные цветы, вклеенные в фанерованную тумбочку — все, что он мог увидеть в последние минуты жизни. «Обследование», о котором он говорил по телефону, затянулось до самой смерти.

Как бы то ни было, но голос Андропова в тот вечер я слышал в последний раз.

Впрочем, не совсем так. Однажды, уже в то время, когда он был тяжело болен, мне пришлось косвенно пообщаться с ним.

Мой давний московский друг много лет поддерживал дружеские отношения с одним из директоров американского концерна «Оксидентал петролеум» Армандом Хаммером. Этот американец российского происхождения обладал безусловным даром «обхаживания» советских лидеров — от Ленина до Горбачева, включая, конечно, Брежнева. Изворотливый Арманд Хаммер на протяжении шестидесяти лет прекрасно знал, что

происходит на самом советском «верху».

Вскоре после прихода Андропова к власти, он пронюхал, что тот находится в безнадежном состоянии из-за неизлечимой болезни почек. Хаммер тут же довел до сведения моего друга, что готов поставить из США необходимый Андропову аппарат, нечто вроде «искусственной почки». Я ухитрился передать это предложение американца в больницу.

Ответ последовал в виде телефонного звонка. Незнакомый мужской голос зачитал мне текст, судя по всему, написанный или надиктованный уже сильно ослабевшим Андроповым. Он благодарил за внимание и уверял, что все необходимое ТЕПЕРЬ имеется в распоряжении лечащих врачей. Из этого «теперь» можно было сделать заключение, что какие-то трудности с приобретением аппаратуры все же были.

9 февраля 1984 года Андропов скончался.

Мне рассказывали, что незадолго до смерти он прямо спросил врача, сколько дней ему отведено. Услышав ответ, распорядился временем, как истинный государственный деятель — мужественно, в полном соответствии с так понравившейся ему философской максимой: «Неизбежное прими достойно».

Андропов был, безусловно, последним государственным деятелем, верившим в жизнеспособность советской системы. Причем, верил он не в ту систему, которую унаследовал, придя к власти, а в ту, которую намеревался создать путем осуществления решительных реформ.

В ноябре 1986 года в Москве, в здании Комитета защиты мира проходили заседания Бергерсдорфского дискуссионного клуба. Для участия в них прибыли бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт и бывший министр в правительстве Вилли Брандта Эгон Бар.

Ноябрьским промозглым утром мне позвонил Леднев и сообщил, что Гельмут Шмидт выразил желание с ним встретиться. Я обрадовался и самому сообщению, и бодрому голосу Валерия, поскольку все последнее время он пребывал в удрученном состоянии. Что и говорить, для нас это была приятная неожиданность.

Я благословил Валерия на эту встречу, и мы договорились, что я буду ждать с нетерпением его возвращения у себя в кабинете.

Валерий отправился на свидание с канцлером в том же костюме, в котором навестил его в первый раз. Искусного цирюльника, так прекрасно настроившего его на философский лад перед первой встречей, в Москве не было, но нашелся все же

добрый человек, который не только привел его голову в соответствующий порядок, но снабдил ее достаточно концентрированный цирюльным запахом.

Ждать возвращения пришлось долго, но прежде, чем появился Валерий, позвонил по телефону Бар. Он сообщил, что встреча их была очень теплой, но Шмидта тем не менее обеспокоило его подавленное душевное и плохое физическое состояние. Оба они считают, что ему нужна срочная поддержка и помощь. Они готовы оказать в любом виде и то и другое.

Вскоре вошел и сам Валерий. Глаза его смешливо и весело, как и прежде, поблескивали за толстыми стеклами очков. Он уселся, довольный, в кресло, и подробно рассказал о только что закончившейся встрече с Гельмутом Шмидтом и Эгоном Бара. Особенно растрогало его то, что вице-канцлер интересовался его личными проблемами. Ясно было, что этот разговор для него, потерявшего веру в себя и в справедливость, стал настоящим бальзамом.

Развалившись в кресле и закинув ногу на ногу, он вновь и вновь пересказывал все детали беседы, боясь упустить хоть малейшую подробность. Его буквально распирало от гордости.

Вдруг он так же неожиданно умолк, а затем, закрыв лицо руками, горько зарыдал.

Я не стал мешать ему. Каждый избавляется от стресса по-своему.

Наконец, Валерий отнял руки и, глядя на меня в упор, спросил:

— Ты можешь объяснить, почему германский канцлер нашел время повидаться со мной и поинтересоваться состоянием моего духа и здоровья и сказать при этом добрые слова? Почему у людей, говорящих на чужом языке, больше понимания и сочувствия, чем у тех, кто говорит с нами по-русски? Куда подевалась знаменитая «русская душа»?!. Поверь, если бы не сын, я давно нашел бы силы уйти из этой жизни…

Это была последняя минорная нотка в тот день.

После встречи с бывшим канцлером Валерия трудно было узнать. Он словно выпрямился душой, в глазах появились искры жизни, вернулось не покидавшее его никогда жизнелюбие.

Оставшееся до смерти время Леднев прожил без тени угнетенного состояния и умер легко, в одночасье.

Несомненно, эти дни жизни подарил ему Г.Шмидт.

4 апреля 1982 г., прямо в редакционном кабинете, Валерия настиг апоплексический удар. Он потерял сознание, но скоро оно вернулось. Лежа на носилках приехавшей «скорой помощи», он успел пошутить, что «от такого удара и умереть можно».

К сожалению, предсказание сбылось. 7 апреля Валерия Леднева не стало.

В некрологе, помещенном в его газете «Советская культура», а также во время панихиды его многочисленными друзьями было многократно повторено то, что ему гораздо важнее было бы услышать живым.

Тридцатого мая в Москву прилетел Эгон Бар. Он попросил меня свезти его на могилу Валерия.

Над свежим, еще не оформленным холмиком высился его громадный фотопортрет. С него Валерий смотрел на нас, остававшихся здесь доживать свой век, без малейшей зависти.

Опустив на могилу гвоздики, Бар сказал:

— Без него Москва стала пустой.

Тут же, не произнося ни слова, он вынул листок бумаги и, вглядываясь в портрет Валерия, быстрым почерком написал письмо его сыну Сергею.

«Дорогой Сергей!

Мы виделись всего раз, но я считаю, что должен сказать тебе, как глубоко затронула меня смерть твоего отца. Он часто говорил о тебе, он очень любил тебя, и если он отдавал свои силы, чтобы сохранить мир без войн, он делал это и, думая о своем сыне. Для меня он в течение многих лет был надежным другом. Московский договор 1970 года и Четырехстороннее соглашение по Берлину— краеугольные камни политики разрядки и сотрудничества, призванные установить дружеские отношения между твоей и моей странами — содержат и его незабываемый вклад. Благодаря ему я научился сердцем понимать твою страну. Твоим отцом ты можешь гордиться. Я остаюсь полон воспоминаний и желания помочь тебе, насколько могу. Передай мои соболезнования твоей маме.

Эгон Бар».

Ушли из жизни два человека — Хайнц Лате и Валерий Леднев. Каждый из них выполнил до конца свой долг перед своей страной, перед своими детьми. Они сделали все, что было в их силах, чтобы говорящие на разных языках люди научились понимать друг друга, а мир стал добрее.

Ни орденов, ни славы, ни даже добрых слов в свой адрес они при жизни не дождались. Может быть, внимание читателей к рассказанному станет наградой за их благородные усилия.

Размышления после написанного

Ранним утром 31 августа 1994 года небо над Берлином было почти безоблачным. Солнце своими нетеплыми, но все еще яркими косыми лучами освещало старательно вымытую, мощеную каменными плитами площадь Жандарменмаркт в самом центре города. Именно таким мечтали видеть это утро организаторы торжества по случаю ухода последнего русского солдата с немецкой земли.

Площадь плотно оцеплена кордоном из полицейских, почетных гостей и журналистов. Над площадью висит торжественная тишина — люди сознают важность момента. Российский и германский военные оркестры перестраиваются маршем. Русские, неукоснительно следуя прусской традиции, держат равнение и тянут ногу на предписанную высоту. Немцы же, напротив, идут небрежно, вразвалку, подчеркивая, что «гусиным шагом» до них уже достаточно отмаршировали их прусские предки, сыскавшие славу не самых больших миротворцев.

Часы на башне пробили девять пополудни, и почти сразу на площади возникли внушительные фигуры русского президента Б. Ельцина и немецкого канцлера Г.Коля.

Стоявший рядом со мной корреспондент одной из газет свежераспавшегося Восточного блока вслух заметил, что Гельмут Коль сегодня выглядит «монументальнее обычного». Мне так не показалось, хотя, что и говорить, у канцлера есть для этого все основания. Сегодня он завершает титанический труд — историческое полотно, над которым работали и его предшественники — от Конрада Аденауэра и Вилли Брандта до Гельмута Шмидта — пусть каждый в меру своего таланта, но непременно с верой в успех.

Однако последний «мазок маэстро», который и придаст монументальному полотну необходимый для вхождения в историю блеск, суждено сделать ему, Гельмуту Колю.

Картина полна событий и их участников. Есть также великолепные пейзажи. Живописная природа Северного Кавказа. Бурная речка, более стремительная, чем вошедший в историю Рубикон, отрезавший путь к отступлению перешедшему его Юлию Цезарю.

На берегу реки у местечка Архыз двое: шестой послевоенный канцлер Германии Г. Коль с первым и последним советским президентом М. Горбачевым. Они уединились здесь, чтобы вдали от городского шума и любопытных глаз окончательно решить

немецкую проблему. Форсировать реку им незачем. Президент перешел Рубикон накануне, в Москве, в особняке Министерства иностранных дел на улице имени Льва Толстого. Там канцлер передал конфиденциально президенту проект «Большого договора» об условиях объединения двух Германий, который был тут же и одобрен.

Конечно, вполне логично было там же поставить историческую точку. Но кто-то вовремя вспомнил: ведь уже один московский договор был подписан двадцать лет назад Брежневым и Брандтом, что и положило начало сближению СССР и ФРГ. Второй Московский договор стал бы ненужным повторением. Новые люди, назначенные ходом исторических событий завершить этот процесс, должны были выбрать и новую обстановку. Советский президент пришел к мысли увековечить то место, где он впервые увидел свет…

Лицо канцлера сосредоточено, президента напряжено.

У всякого, принимающего историческое решение, сомнений не меньше, чем уверенности. Один из секретарей ЦК КПСС, недоумевая по поводу того, что его не пригласили на кавказскую встречу, решился позвонить Горбачеву в Архыз. С явным облегчением в голосе президент сообщил ему, что обсуждать происходящее уже не имеет смысла, ибо «поезд ушел». В каком направлении, он не уточнил.

Однако, если стоявшему на берегу Архыза советскому президенту отступать было некуда, то стоявшему рядом канцлеру отступать было незачем. Он точно знал, что ведомый им поезд движется на запад, в сторону уже воссоединенной Германии. Отныне его имя навсегда станет не только синонимом решения важнейшей для его родины исторической проблемы, но и символом ответа на сложный философский вопрос, кто на кого больше влияет — история на личность или наоборот. Гельмут Коль решил его в пользу личности.

«Шестое»— политическое— чувство подсказало ему, когда нужно сделать решающий шаг: позавчера было рано, послезавтра будет поздно. Поэтому Коль прилетел в Москву 15 июля 1990 года.

Жизнь подтвердила правильность расчета. Ранее Горбачев не был готов подписать подобное соглашение. Позднее ему не позволили бы это сделать сложившиеся обстоятельства.

Итак, канцлеру Колю удалось то, что в германской истории до него сумел сделать лишь канцлер Отто фон Бисмарк, прозванный «железным», а именно, не упустить шанса, в чем, собственно, и состоит искусство политика.

Сразу по окончании франко-прусской войны 1870–1871

годов, Бисмарк поспешил объединить 39 разрозненных германских княжеств во Вторую империю германской нации, или Второй рейх, как принято у нас говорить. За это ему поставлено рекордное количество памятников и монументов по всей стране.

Итак, теперь во второй раз Германия сумела решить основную национальную и государственную проблему — объединить нацию и государство.

В России этот опыт, как, впрочем, и опыт всей Европы, был воспринят «от противного». В то время, когда западноевропейцы осознали, что тяжелые времена проще переживать сообща, в бывшем Советском Союзе выдвинули лозунг— «в одиночку выжить легче». В результате — многонациональная держава в одночасье распалась.

Российская история всегда была очень персонифицирована. Поэтому люди бросились искать одновременно и виновников, и спасителей. Анализируя еще живое прошлое, они невольно вернулись к «вопросу о роли личности в истории». Всплыли в очередной раз в памяти тяжелые сталинские времена, разговоры шепотом о том, что если бы Ленин прожил дольше, а Сталин пришел к власти позже, то жизнь советских людей сложилась бы совсем иначе…

Эту формулировку наложили на день вчерашний, и, поскольку наступила свобода слова, принялись громогласно и печатно размышлять относительно того, что если бы Брежнев умер раньше, а Андропов прожил дольше…

Виноваты в этой, далекой от христианской, постановке вопроса не люди, а история. Она долго вела Андропова к власти, создавая вокруг него ореол лидера, способного преобразовать существовавшую государственную систему и тем самым приостановить ее деградацию.

Но в тот самый момент, когда он оказался во главе государства, история передумала, лишила его жизни, а тех, кто в него поверил, — надежды на то, что Россию можно реформировать, не ввергая ее в хаос.

Невольно встает вопрос: мог ли Андропов действительно что-либо реально изменить, учитывая сложившуюся на момент его прихода к власти ситуацию, обладал ли он необходимыми для этого волевыми и интеллектуальными способностями, или положение в стране уже нельзя было спасти?

Сегодня, пусть редко, но все же раздаются голоса его бывших подчиненных по ведомству государственной безопасности. Они пытаются разрушить сложившийся образ государственного деятеля с высоким коэффициентом интеллекта.

Думается, что здесь чаще всего сказывается подспудно

сидящая в них обида за то, что, переместившись на пост главы ведомства из партийной элиты, Андропов пожелал оставаться среди них лишь физически, «in согроге», оставив душу в большой политике, а потому и не смог по достоинству оценить профессиональные качества своих подчиненных.

Что же касается Андропова как личности, он, несомненно, был способен повлиять на ход исторических событий.

Исходя из образа его мышления и высказываний, можно в какой-то мере представить его реакцию на события в стране.

Как человек, убежденный в жизнеспособности социалистической системы, он приложил бы все возможные и невозможные усилия для того, чтобы не допустить распада Советского Союза. И тут бы он «за ценой не постоял».

Как человек крайне щепетильный во всем, что касалось соблюдения закона, он не смирился бы с разгулом коррупции и преступности. Андропов был убежден, что казнокрадство унаследовано русскими от царского режима и представляет громадную опасность для государства.

В последние годы своего пребывания во главе государственной безопасности он уже принялся разворачивать подчиненного ему монстра против набиравшего силу хаоса.

«Шпионы, работающие против нас, могут передохнуть немного. От них вреда меньше, чем от внутренней коррупции».

Он считал, что либерализацию в стране надо проводить поэтапно, на каждом шагу внося необходимые коррективы. Причем непременно сверху, под жестким контролем государства. Действовать он намеревался достаточно решительно, опираясь на четыре силы: партаппарат, армию, госбезопасность и поддержку интеллигенции. Он считал необходимым любой ценой склонить ее на свою сторону.

Из прочтенного возникает вполне резонный вопрос, почему таким благородным делом, как налаживание отношений между государствами, в 70—80-е годы занялось не совсем респектабельное ведомство советской госбезопасности.

В этом есть своя историческая логика. Уже в первые годы правления Л.Брежнев пришел к выводу, что ему придется иметь дело с не очень стабильной обстановкой в стране, в которой госбезопасность, благодаря своей специфике, остается одним из немногих учреждений, минимально подверженных коррозии.

Исходя из этого, Генеральный секретарь поручал Андропову решение наиболее острых проблем. Скрепя зубы, тот вынужден был заниматься делами, порой его ведомству совершенно чуждыми, начиная от заземленных дел борьбы с коррупцией и кончая делами неземными — выяснением причин аварий на

кораблях в космосе.

При умении в отрицательном можно найти положительное. Уверовав сам в универсальность вверенного ему аппарата, Андропов легко убедил Брежнева в том, что и в области внешней политики он может действовать более эффективно, чем консерватор Громыко. Положительный опыт доверительного общения в 70—80-х годах советского и западногерманского руководства явился лучшим подтверждением правильности выбранного пути.

После встречи 5 июля 1983 года с канцлером ФРГ Колем, Андропов намеревался вновь задействовать отлаженную при Брандте и Шмидте систему прямого контакта с вновь избранным канцлером. Судя по всему, канцлер и сам вовсе не собирался отказываться от опыта предшественников.

С появлением на политической арене М.Горбачева канцлер, не теряя времени, установил с ним доверительные отношения, что позволило в благоприятный момент быстро решить главную проблему, поставленную перед ним временем, — воссоздать мощное германское государство.

Стоит отметить, что уже после первых успехов в налаживании отношений с ФРГ Андропов попытался предпринять некоторые шаги подобного рода и в отношении США, сочтя, что настало время повести с американцами честный диалог, «напрямую и без свидетелей».

К сожалению, расчет его не оправдался.

Кроме нескольких конфиденциальных бесед, проведенных с конгрессменами и сенаторами США, дело дальше не сдвинулось.

Дорогу надежно перекрыли по крайней мере три человека: Генри Киссинджер, не пожелавший подняться над подозрительностью и предубеждениями, господствовавшими в то время в отношениях между двумя странами, Збигнев Бжезинский, которому польская кровь не дала возможности разумом переступить через ненависть к Советскому Союзу даже во имя благородной идеи мира, и советский посол в США Анатолий Добрынин, который решал свои проблемы через свои особые отношения с Киссинджером и Брежневым.

Немного разобравшись в прошлом, стоит в заключение чуть-чуть коснуться будущего, ибо они неразделимы, попытаться, пусть в самом общем виде, представить, что следует ожидать миру от России.

Итак, прошлое России очевидно, будущее же неопределенно.

Что может она ждать от себя и на что может надеяться мир? Будет ли ее затянувшаяся болезнь, вызванная распадом государства, продолжаться, или она уже вдоволь настрадалась,

чтобы выработать иммунитет, достаточный для того, чтобы предстать перед всем миром вновь вполне здоровой.

Первый немецкий канцлер Отто фон Бисмарк писал: «Не в наших интересах, чтобы власть в России была потрясена надолго и всерьез… Не эмоции, а политический расчет диктует, что сильная Россия принесет нам большую пользу».

Слабая, клочковая Россия не нужна была Бисмарку. Не нужна она и объединенной Европе, ни даже современной Америке, хотя последняя до сих пор не хочет того признавать.

Четверть века назад несложно было предсказать, что обе Германии объединятся. Сегодня необязательно быть провидцем, чтобы увидеть Россию в перспективе также единой, и рекомендовать всем исходя из этого строить с ней отношения. Центробежные силы иссякли, люди поняли, что в одиночку жить труднее. Тем, чем Россия была, она уже никогда не будет. Но и тем, во что превратилась, не останется.

Германия воссоединилась в строго очерченных национально-исторических рамках. Контуры и устройство будущей России менее ясны. Несомненно, однако, что это будет достаточно могущественное государство, способное вернуть уважение к себе.

Широко известно, что в истории оставались личности, создавшие государства, и почти бесследно исчезали те, при ком государственные системы рушились.

Имя Юлия Цезаря, собиравшего земли во славу и могущество Рима, известно ученикам начальной школы.

Имена сыновей императора Феодосия Первого, при которых Римская империя окончательно распалась на две части, известны лишь интересующимся историей.

Мы в большой степени воспитаны на идеях немецкой классической философии, в связи с чем восприятие немецкой философской мысли для русских органично. Поэтому будет неудивительно, если в тот момент, когда начнется добровольное воссоединение многонационального российского государства, кто-то, повторит вещие слова великого немца Вилли Брандта, произнесенные им в момент воссоединения Германии: «Вновь срастается то, что всегда было единым».

30 лет спустя

Морской пехотинец, охраняющий американское консульство в немецком городе Франкфурте, с гладко выстриженным затылком и с тремя извилинами, правда, на рано ожиревшей шее, суров по природе и по должности. У него неподвижное лицо и такой же взгляд. Он видит все насквозь. И не только меня, но и папку, которая находится у меня в руках. В данном случае заглядывать внутрь предметов ему помогает прибор, на экране которого он обнаруживает, что в моей папке лежит небольшая бутылка с жидкостью.

Я знаю, что в бутылке вода; у него мнение иное. Чувство мне до боли знакомое — ведь мы жили этим долгие годы. Сержант требует, чтобы я вынул бутылку и отпил из нее. Жажда меня не мучает, но я повинуюсь. Отпиваю несколько глотков — и остаюсь в живых. Сержанта это удивляет и он требует, чтобы я допил до конца. Я допиваю. Турникет вращается и пропускает меня внутрь здания, где другой сержант, менее суровый, но столь же ответственный, указывает мне на одну дверь, а моей супруге — на другую. Разлучник, видимо, никогда не слышал о модной ныне проблеме воссоединения семей, а поэтому действует уверенно.

Я спрашиваю:

— Кто за дверью?

— Офицер безопасности.

Это меня радует. И не напрасно. Человек в штатском, но с военной выправкой, встречает меня с улыбкой и даже предлагает сесть. Я готов выслушать совсем не неожиданный для меня приговор стоя. Он сообщает мне пренеприятную новость — из соображений безопасности мне во въезде в великую Америку отказано. Я говорю, что бывал в Америке, изъездил ее вдоль и поперек, поэтому не испытываю особого рвения познавать ее вновь. У меня было лишь желание вместе с немцами объяснить Высокому Собранию американцев, как происходил процесс разрядки в Европе и в Советском Союзе.

Офицер американской безопасности — это не сержант морской пехоты в проходной, он интеллектуально на много ступеней выше и смекает лучше.

— А вы напишите ваш доклад, дайте жене, и пусть зачитает его Высокому Собранию. У нас это принято. Если докладчик заболел или, не дай Бог, умер… А то, что вы бывали в Америке раньше, ровным счетом ничего не значит. Времена изменились. Тогда вы были великой державой, а сейчас… — Он разводит руками.

Я тоже. Мы поняли друг друга. Он остался великим, а я стал никаким.

— Правда, мы с уважением относимся к вашему президенту Ельцину…

Я очень люблю мою страну, но не испытываю ни малейшего уважения к моему бывшему президенту, поэтому вновь развожу руками и покидаю любезного коллегу.

В вестибюле очень милая женщина возвращает мне с виноватой улыбкой паспорт и почему-то спешно сообщает, что она немка, вышедшая замуж за американца. У меня был выбор: поздравить миловидную даму с успехом в жизни или выразить ей сочувствие. Я выбрал третье — попрощался и отправился домой.

Каких-нибудь десять минут пути, и я полностью распрощался с воспоминаниями о досадных встречах в американском консульстве. Вместо этого предался мечтам о предстоящей поездке в Испанию, о песчаном береге, чистом море и теплом солнце, которое в мае месяце уже начинало усердно подогревать песок, на котором, словно шпроты в консервной банке, разместились отдыхающие. То, что откажут во въезде, было ясно и мне и американцам. Теперь было интересно, что американцы скажут своим главным союзникам немцам.

Дело в том, что организаторами конференции на тему «Восточная политика Германии и американская разрядка 70-х годов» были Германский институт истории и Фонд Вилли Брандта, при участии Госдепартамента Соединенных Штатов. Главной фигурой на конференции являлся министр Эгон Бар. Я был приглашен на конференцию по его инициативе, поскольку в течение двенадцати лет являлся партнером министра при организации, как теперь модно говорить, «прорыва» в отношениях между СССР и Германией. Я позвонил Бару и сообщил о решении американцев и о том, что я складываю вещи и уезжаю в Испанию. К моему удивлению, мое сообщение министра обрадовало.

— Лежать на теплом испанском пляже много приятнее, чем висеть десять часов над океаном, без ясной перспективы приземлиться на суше живым. В таком случае, я уезжаю на Бодензее, где ничем не хуже, чем в Испании.

Мы оба пожелали друг другу хорошего отдыха после бесполезных хлопот. Но все складывалось слишком хорошо, чтобы быть правдой.

После разговора со мной Бар сообщил по телефону в Вашингтон, что в связи с отказом во въезде его содокладчику полностью разрушена концепция, которую он выработал для более полного освещения на конференции вопроса становления отношений между Германией и Советским Союзом в 70-е годы, и

поэтому он считает свое участие в конференции нецелесообразным.

— Участвовать в конференции изъявили желание достаточно солидные американские политики, сотрудники Госдепартамента и других серьезных учреждений, поэтому конференция легко обойдется без нас, — объяснял мне позже министр.

Политик он очень опытный, но на сей раз в расчетах ошибся.

На следующий день, 1 мая, у меня дома раздался звонок, и вежливый женский голос сообщил, что визы в Америку готовы. Бар и я таким поворотом в ходе событий были опечалены, но, как говорят французы, «nobless oblige» — «положение обязывает». И спустя день мы зависли на десять часов над океаном.

Смена временного, климатического и морального поясов, а также сознание того, что под тобой вода, и в случае падения ты будешь лежать не в земле, которая должна стать тебе пухом, а тебя будут терзать акулы, деморализует человеческое сознание, и лишь крепкие напитки, типа водки или виски, могут поддержать ветхую стабильность в мечущейся душе воздушного пассажира.

Некогда роскошная авиакомпания «Люфтганза» принадлежит немцам, которые никогда не отличались щедростью, а в последние годы буквально помешались на экономии. Экономят на пище, напитках, туалетной бумаге. Слава Богу, не на керосине, которым заправляется самолет. И поэтому мы благополучно добрались до аэропорта имени Даллеса.

Он сильно обветшал и, благодаря подтекам на его бетонных стенах, выглядит сегодня неумытым и чем-то напоминает мне здание громадного крематория. Что касается американцев, то я знаю их с конца войны — работал вместе с ними в союзнической комиссии в Берлине. Они всегда были мне в какой-то степени понятны и симпатичны своим образом жизни, а иногда и ходом мышления. Встреча с Америкой и, в первую очередь, с американцами почти полвека спустя приятно поразила меня. Особенно — с молодым поколением американцев. В отличие от стариков, все они представлялись сотрудниками университета либо Государственного департамента.

Я понимал, что это не совсем так, но устанавливать истину не входило в мои планы. Кстати, когда я первый раз зашел в конференц-зал, то был опять же поражен, увидев мою книгу «Тайный канал», изданную в Германии, лежавшую перед некоторыми участниками конференции на столе и на коленях. Несомненно, это был приятный момент. Авторы получают удовольствие, если не сказать наслаждение, не оттого, что пишут, а оттого, что их читают. Я не был исключением. Признаться, их было немного. Как ни странно, но здесь сказывалась

великодержавность и, честно говоря, меня всегда умиляет последовательность, с которой американцы строят свои отношения с другими нациями. Если немцы после войны приложили массу усилий, чтобы заговорить по-английски, то американцы к немецкому языку остались равнодушны. Проводимая линия идеально пряма: хотите иметь с нами дело — учите наш язык и говорите как мы.

В остальном молодые американцы поразили меня высоким интеллектом и прекрасной подготовкой. Поставленные ими вопросы подтверждали это. Старшее, послевоенное поколение, выработавшее свой служебный ресурс, несомненно, уступало в интеллектуальном смысле своим молодым преемникам, но значительно превосходило их в словоохотливости, то есть в общительности.

Согласно составленной программе, мой доклад следовал за докладом министра Бара, который всегда выступает с глубоким анализом периода разрядки, поскольку он был не созерцателем, а активным действующим лицом в этом процессе. Два аналитических выступления подряд были бы слишком обременительны для собравшихся, поэтому я предпочел рассказать о людях с различным менталитетом, находившихся по разную сторону «железного занавеса», но стремившихся к одной цели — сделать мир лучше.

Повествование о трудностях и курьезах, сопутствовавших общению руководителей двух стран, имевших различное представление о человеческих ценностях, оказалось как раз тем, что хотели слышать люди, заполнившие до отказа аудиторию к началу моего выступления. Я был далек от того, чтобы приписать себе проявленный интерес к моему выступлению. Безусловно, срабатывал эффект любопытства к организации, от которой я был заявлен как докладчик. Выступающему в Москве генералу ЦРУ или ФБР был бы обеспечен успех еще до того, как он раскрыл рот. Несомненно, и человеческий фактор играл в этом деле не последнюю роль.

Когда меня спросили, почему провалились попытки выстроить такой же канал между СССР и Америкой, и что нужно было сделать, чтобы он был тоже успешным, я набрался смелости и сказал, что было бы целесообразно в то время заменить противника разрядки — бывшего советника по национальной безопасности Бжезинского на ее сторонника министра Бара. Присутствовавшие одобрили предложение аплодисментами. Многие высказывания Сталина отвергнуты сегодня людьми и временем, но одно остается незыблемым — «Кадры решают все».

Что греха таить — аплодисменты пришлись мне по душе, и,

как мне показалось, согрели души некоторым из присутствовавших. Я почувствовал это довольно скоро.

Следующие дни были для меня самыми интересными. Оказалось, что послушать мое выступление пришли, в том числе и бывшие сотрудники резидентуры ЦРУ в Германии. Прошедшие тридцать лет несколько состарили нас, зато превратили наши встречи в какие-то задушевные воспоминания. Поскольку я все, что можно было рассказать, написал в книге, то и роль моя в данном случае сводилась к изложению более красочному уже опубликованных фактов.

Перед моими бывшими оппонентами, а ныне, как и я, отставными коллегами была в свое время поставлена задача: выяснить, какие неофициальные переговоры велись между Брандтом и Брежневым через посредников. У американской стороны возникло подозрение, что Вилли Брандт ведет с Брежневым какой-то тайный сговор за спиной у американцев. И это несмотря на то, что министр Бар поставил Киссинджера в известность о существовании «канала» между лидерами обоих государств.

Честно говоря, удивляло то, что у американцев появились сомнения в отношении Брандта. Я, например, не знаю другого немецкого политика, у которого бы вопрос чести был так обострен, как у Брандта. И надо было быть каким-то особо изощренным психоаналитиком, чтобы, пообщавшись с ним в любой обстановке, не понять этого.

С другой стороны, я был рад представившемуся мне случаю на фоне недоверия к Брандту американцев хорошо подумать о руководителях моей страны. Сформировавшиеся как политики во времена самых острых конфронтаций внутри и вне страны Брежнев и Андропов сумели подняться над многочисленными интригами и сомнениями, досаждавшими их с разных сторон, поверить Брандту и в течение 12 лет существования канала ни разу не усомниться в политической порядочности канцлера. И это при том, что мне нередко приходилось доводить до обоих руководителей достаточно неприятные суждения Брандта относительно проводимой СССР внешней и внутренней политики. Как ни странно, но именно это и убеждало их в его искренности. Неудивительно, что разоблачение агента Гийома, внедренного в ближайшее окружение Брандта разведкой ГДР, вызвало у Брежнева раздражение. «Они же знают, что я веду переговоры с Брандтом. Зачем же подсовывать туда своего человека? Если их что-то интересует, пусть спросят— я, естественно, отвечу». Мудрый Андропов несколько подкорректировал своего шефа: «Мы не можем запрещать нашим немецким друзьям вести работу там,

где они считают целесообразным. Однако существует этика, а это уже вопрос интеллекта руководителей».

Я рассказал об этом моим бывшим американским коллегам. Они предпочли глубже в этот вопрос не вникать, ограничившись универсальным умозаключением: «Мы выполняли указания…» Думается, я на их месте поступил точно так же… Кто давал подобные указания, сегодня не столь уж и важно. Важно, что в очередной раз подтвердился однажды выдвинутый тезис: «Люди решают все».

На другой день для участников конференции был устроен роскошный обед в мексиканском ресторане Вашингтона. Пища была острая, разговоры, как и водится при таких массовых трапезах, — пресные. Однако мне и тут повезло. Напротив меня за столом оказался весьма общительный пожилой, приятный человек, который, несомненно, поставил своей задачей как-то развлечь почетного гостя, каким я представлялся сам себе после выступления на конференции.

Сделав пару незначительных, но обязательных комплиментов, он каким-то образом быстро перешел к теме о перебежчиках, которая была очень злободневна в Советском Союзе и почти потеряла свою остроту с его распадом, когда толпы псевдоносителей государственных тайн двинулись на Запад, предлагая свои услуги в качестве торговцев секретами. Специальные и иммиграционные службы Запада отчаянно отбивались от желающих поскорее продать тайны, а с ними и Родину, наблюдая, как спрос на то и другое катастрофически падает. Чтобы освободить пространство от пессимизма, мой собеседник рассказал, что долгое время занимался перебежчиками из России и, в частности, знаменитым беглецом из Советского Союза Андреем Шевченко. Шевченко был чиновником высочайшего ранга, заместителем Генерального секретаря ООН, и, что не менее важно, доверенным человеком министра иностранных дел СССР А. А. Громыко.

— И что же, по вашему мнению, заставило такого высокорангированного и высокооплачиваемого чиновника ООН податься в бега? — поинтересовался я.

Мой собеседник оживился.

— Видите ли, в течение многих лет я был не то чтобы другом, а если можно так сказать, душеприказчиком Шевченко.

— Ну и?..

— Андрей был неплохой человек: широкий, жил с размахом, но у него был полный набор из банальной триады человеческих слабостей — вино, деньги, женщины.

— И это его погубило.

— Почему же погубило? — Он задумался, подыскивая более приемлемую формулировку. — Это послужило основанием для того, чтобы он перешел на нашу сторону. В целом же, у Андрея, к сожалению, была склонность к употреблению спиртного. Пил он по поводу и без такового, а главное, в таком количестве, что мы диву давались.

— С чего бы это?

— Думаю, жизненная неудовлетворенность.

— Человек достиг таких дипломатических высот и вдруг — неудовлетворенность?

— Представьте себе, он сам об этом не говорил, но мы знали, что у него развился комплекс неполноценности из-за того, что высокий пост он получил не сам, а благодаря жене, которая подарила супруге вашего министра иностранных дел Громыко дорогое бриллиантовое колье или что-то в этом роде, после чего его и назначили на эту высокую должность. Не знаю как сейчас, но в те времена супруга вашего министра к подобным подношениям относилась благосклонно. Если учесть, что жена Шевченко сама была склонна к коллекционированию дорогих меховых шуб, то можно себе представить, какие дыры образовывались в их бюджете. И это при высоком и даже очень высоком окладе сотрудника ООН. Правда, с переходом к нам у него с экономической точки зрения все изменилось в лучшую сторону. Ему сразу вручили миллион долларов, купили одну квартиру, затем другую, дом на островах, и многое другое…

В голосе почувствовалась трудно скрываемая зависть.

— Откуда такая щедрость? А главное, за что?

— Как за что? Андрей был великолепный информатор, и свои деньги он полностью отрабатывал. Он знал много сам, а главное, его информационные возможности постоянно обновлялись. Как только приезжал ваш министр, а он любил навещать Америку, они уединялись, и министр посвящал Шевченко во все самые интимные дела, имевшие место в правительстве и в Политбюро Коммунистической партии. А на другой день мы были уже в курсе всех событий, происходящих у вас. Таким образом, ваш министр иностранных дел работал на нас, и мы честно оплачивали полученную информацию Андрею Шевченко прямо здесь, в Америке, а Андрею Громыко — через его жену. Платили деньги, как видите, большие, но того дело стоило. Я бы сказал, даже очень большие. И Андрей стал человеком богатым, даже скажем, очень богатым.

И опять в повествовании прозвучала зависть, но теперь уже открыто.

Наступила небольшая пауза, но, словно очнувшись, он

отбросил мучившую его несправедливость— ведь богатым должен был стать он, настоящий американец, а не этот пьянчуга, пришелец из России. Совершенно очевидно, что жизнь распорядилась по-идиотски.

— Ну, и как он использовал свалившееся на него богатство? — решил помочь я собеседнику.

— Самым скверным образом. Дело в том, что Андрей не пропускал ни одной юбки. Он буквально трепетал при виде каждой новой повстречавшейся ему дамы. Желанной добычей для него были работавшие здесь в Нью-Йорке секретарши, а еще более желанной — приезжавшие сюда в командировку из Москвы. «Обожаю свежачок», — любил повторять он. Этих секретарш он брал, как говорят, прямо влет: чуть ли не с аэродрома тащил их сначала в роскошный ресторан, а затем в постель. Приехавшие знали, что он большой шеф и их судьба зависела от него, поэтому не могли отказать в удовлетворении его желаний.

— Мужчина с повышенной потенцией— всегда мечта женщин.

— О чем вы говорите, какая потенция? Подозреваю, что у Андрея были большие проблемы с сексом.

В отличие от разговора о деньгах, теперь в его голосе не было и тени зависти.

— С чего это вы взяли?

— Сумма от сложения наблюдений и точных знаний. — Сказанное показалось автору настолько удачным, что он самодовольно заулыбался. — Андрей был не в состоянии дважды переспать с одной и той же женщиной. Ему требовался свежий возбудитель. Кроме того, как я уже говорил, он безобразно много пил, а алкоголь противопоказан сексу, как вы знаете. Мы постоянно рекомендовали ему упорядочить образ жизни, так как он нарушал все рамки поведения советского дипломата за границей. И это должно было вызвать подозрение у советской контрразведки со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Однако он твердил свое: пока Андрей Громыко у руля, я могу жить так, как мне нравится. И до какого-то момента он оказывался прав. Правда, у нас в этом отношении никто иллюзий не строил. Мы знали, что Андрей был бабником, но не мужчиной.

— Это как? — удивился я.

— Очень просто. Его познакомили здесь, в Нью-Йорке, с совершенно очаровательной дамой. Проституткой, правда. Так он вместо того, чтобы… — Рассказчик безнадежно долго искал подходящее слово, но потом плюнул на эту затею и продолжал, — так он развесил уши и стал строить с ней какой-то любовный

замок. У каждой профессии есть свои рамки, за которые не следует выходить. Позже она написала книгу, в которой зло высмеяла все его «страдания», и, кстати, заработала на нем и на книге солидные деньги. Я видел, что происходит, и скажу вам откровенно, советовал Андрею (ему уже было под семьдесят) возвращаться в Москву, к жене, и спокойно доживать свой век. Но в это время в Москве начались разоблачения, процессы и расстрелы людей, работавших на нас. Андрей перепугался, попросил официально у США политическое убежище, стал еще больше пить. На почве алкоголя у него развилась мания преследования, он постоянно требовал, чтобы его охраняли. Из Москвы пришло известие о страшном самоубийстве его жены, разложившийся труп которой нашли в платяном шкафу под дорогими шубами, которые она так любила при жизни. Андрей еще сильнее запил, метался несколько лет между женщинами, которые полностью разорили его. И вот четыре года назад он умер, как и следовало ожидать, от цирроза печени, в полной нищете, в двухкомнатной, пустой квартире, где стояли только кровать и стол. Нам понятно, то, что произошло с Андреем, нашим, — он горько усмехнулся вырвавшемуся у него понятию «наш» и тут же продолжил, — но мне до сих пор непонятна судьба «вашего» Андрея, я имею в виду Громыко. Советский посол, непосредственный шеф Шевченко, руководитель представительства в ООН, советская колония в Вашингтоне и Нью-Йорке — это колоссальное количество людей, которые знали о всех проделках Андрея. Но никто не захотел вмешиваться в его дела, дабы не навлечь на себя гнев министра. Мы точно знали, что ваши службы безопасности фиксировали поведение Андрея. И в этой связи у нас возник вопрос, который так и остался без ответа. Со слов Шевченко, мы были осведомлены о том, что его министр предпринимал конкретные шаги, чтобы дезавуировать шефа КГБ в глазах Брежнева. И мы не могли понять тогда, а я и сегодня не понимаю, почему Андропов в середине 70-х годов, когда стало известно, что доверенное лицо министра Громыко перебежал к нам, не воспользовался благоприятным случаем, чтобы отомстить за интригу, затеянную против него. Ведь оснований для этого у него было предостаточно. Андрей рассказывал, что у него в московской квартире остались подарки от Громыко и его жены с теплыми надписями, а также фотографии, которые не вызывали сомнений об особой близости семей Громыко и Шевченко. Все эти материалы, несомненно, стали достоянием госбезопасности после перехода Шевченко к нам. Так почему Андропов не использовал такой мощный рычаг для того, чтобы убрать или, по крайней мере, значительно

ослабить своего оппонента?

У меня был исчерпывающий ответ на этот вопрос. Американцы заблуждались при оценке складывавшейся в советском руководстве ситуации, потому что пользовались информацией начала 70-х годов, когда Громыко, действительно, переоценив свое влияние на Генерального секретаря, предпринял попытку потеснить Андропова на политической арене. При этом он не учел, однако, что к этому времени руководитель госбезопасности стал самым близким доверенным человеком Брежнева, который ценил его светлую голову. А как известно, способный по достоинству оценить чей-то интеллект, сам не лишен его.

Андропов был действительно человеком с ясной головой, чем резко выделялся из среды посредственностей, окружавших Брежнева. Догадываясь об этом, одни открыто недолюбливали его, другие тихо завидовали и молча терпели. Поэтому он не мог рассчитывать на их поддержку, в которой остро нуждался. И, тем не менее, в отношениях с коллегами он никогда не руководствовался местью, но всегда разумом. Так было и когда над министром иностранных дел сгустились тучи. Андропов не дал побегу Шевченко перерасти в крупный политический скандал, тем самым он сохранил репутацию Громыко, превратив его из противника в союзника и заручившись его, скажем прямо, солидной поддержкой в Политбюро. Умение превращать неприятное в полезное всегда заслуживает уважение.

Какой-то невидимый режиссер свел воедино окончание рассказа с завершением обеда. Я поблагодарил своего собеседника за совместное участие в трапезе и за интересный рассказ, поле чего мы тепло попрощались. Меня он знал как участника конференции, имя которого и происхождение стояли в программе. Мне же он представился как бывший сотрудник Государственного департамента. Оставлять визитную карточку посчитал излишним.

Из ресторана возвращались пешком, и всю дорогу до гостиницы я размышлял над тем, чего было больше в только что выслушанном рассказе: зависти, осуждения или чего-то другого. И только войдя в холл гостиницы, я неожиданно четко представил себе душевное состояние американца, которое сформулировал его же словами: то была сумма от сложения сочувствия и презрения.

В тот же вечер для участников конференции был устроен ужин, который оставил у меня приятные ощущения и, одновременно, вызвал отвратительные воспоминания.

Общение с иностранцами в Америке имеет особый аромат.

Невольно воспринимаешь иноземцев, как, впрочем, и самого себя, пришельцем из другого мира, что, несомненно, роднит с ними.

— Извините, я хорошо знаком с г-ном Баром еще по временам, когда я работал в германском посольстве в Москве. Он тогда, как вы знаете, часто приезжал по делам в Россию и, естественно, регулярно навещал наше посольство. Там мы с ним и познакомились.

Услышав хорошо понятную немецкую речь, я с радостью закивал головой.

— Мы только что общались с г-ном Баром, и он сказал, что вы здесь. — Я охотно подтвердил факт моего присутствия в Америке. — Мне давно хотелось познакомиться с вами, — и он протянул мне руку. — Завидую! Вы с Баром, что называется, желали историю, а это не всякому дается. Конечно, популярности Горбачева у немцев теперь уже вряд ли кому-либо из русских удастся достигнуть, но и вас немецкая история не забудет.

Я уже слышал однажды нечто подобное. Но тогда и на сей раз я не нашел ничего лучшего, чем промолчать.

— Поверьте, — не унимался он, — я знаю, у вас в России предпочитают отдавать должное сегодняшнему дню. А у нас, немцев, хорошая память, и мы умеем отдавать должное прошлому.

Человек слаб, и я, не желая отделять похвалу от лести, был готов приписать сказанное себе. Но тут же был водворен на место. Оказалось, что все благородные чаяния современных немцев были вновь направлены в адрес М. Горбачева. У меня никогда не было желания оказаться в компании последнего президента развалившейся России, и я завершил с благожелательным немцем, несомненно, приятный для меня диалог, особенно в части, касавшейся моих пусть скромных заслуг перед историей становления российско-германских отношений. Удовлетворенное тщеславие или что-то в этом роде наполнили мою душу благодатным теплом, и я был далек от мысли, что именно в этот день, когда все складывалось для меня вполне удачно, какие-то обстоятельства смогут возродить в памяти крайне неприятный эпизод из моей жизни.

Мне нравится манера американцев начинать диалог с незнакомым человеком как продолжение уже давно начатого. А поскольку в английском языке нет понятий «ты» или «вы», то обращение «look» — «Посмотри» или «Послушай!» я воспринимаю как переход на «ты», что мне, откровенно говоря, тоже импонирует.

— Я уже второй день ищу подходящий момент, чтобы поговорить, — атаковал меня совсем немолодой американец с

очень подвижным лицом и живыми глазами, который сразу же подкупил меня необыкновенным запасом энергии и активности. Как и многие, вместо визитки он сунул мне руку и невнятно произнес свою фамилию, уверенный в том, что тем, кому надо, она должна быть и без того хорошо известна. — Я не силен ни в политике, ни в немецком языке, — начал он, — и вчера молодые помогли мне, так сказать, пролистать книгу «Тайный канал» на немецком. — Он кивнул в сторону нескольких молодых ребят, что-то активно обсуждавших недалеко от нас. — Почему вы не сказали нам тогда, в 70-х годах, о чем вы шептались за нашей спиной с нашими союзниками — западными немцами, хотя бы в том объеме, в каком ты написал об этом в книге? Мы бы оставили вас в покое, сохранив для других дел массу средств и времени.

— Во-первых, вы нас об этом не спрашивали, а во-вторых, вы бы нам все равно не поверили.

Он на секунду задумался, затем взял меня за руку и немного приглушенным голосом сообщил:

— А знаешь, пожалуй, ты прав. Наши бы тогда не поверили. Да и сегодня тоже…

— Ну, вот видишь.

— Хотя должен тебе доверительно сказать, что эту кампанию против тебя и твоего коллеги затеяли не мы, а англичане. Они прислали нам ориентировку о том, что двое русских из госбезопасности активно действуют в Германии и, особенно, в Западном Берлине. Они встречаются с высокопоставленными западногерманскими чиновниками из ближайшего окружения канцлера Брандта, а иногда и с ним лично. Англичане даже планировали провести в Западном Берлине мероприятие по вашей дискредитации, чтобы пресечь вашу активность. Мы от каких-либо резких шагов против вас тогда воздержались, но не из-за вас, конечно, — он небрежно махнул рукой в мою сторону. — Наши политики никак не хотели осложнять отношения с руководителями Германии, то есть с ее канцлером. В конце концов, вы вполне выглядели как его гости, и тогда бы… скандал…

— Вполне разумно.

— В общем, никаких резких шагов мы против вас не делали, но следить продолжали, по крайней мере, до моего отъезда из Германии.

— Это трудно было не заметить.

— Ничего удивительного, — признался он, — мы использовали тогда немецких топтунов из берлинской криминальной полиции. Они прекрасно знали город, чувствовали себя дома и поэтому не заботились о том, насколько симпатично

они выглядят со стороны. — Он засмеялся, довольный своей шуткой. — А, кроме того, у нас появилась информация… — он странно закрыл один глаз, а второй поднял к потолку, — если я не ошибаюсь, то она потом каким-то образом проскочила и в прессе, информация о том, что в России пачками расстреливают сотрудников госбезопасности, заподозренных в сотрудничестве с иностранной разведкой. Люди не смогли доказать своей невиновности и их, значит, того… Согласен, подозрение — это тупая разрушающая сила, а если оно еще и не обосновано, то может стать колоссальной трагедией,

— Но какое это имело отношение к нам?

— Прямое. В какой-то момент мы, к великой нашей радости, обнаружили, что кроме нас и англичан за вами пристально следят ваши же службы, базирующиеся в Восточном Берлине.

— Допустим, но почему это вызывало радость у вас?

— А как же! Если за вами следят «ваши», значит, они вам не доверяют или, что еще хуже, вас подозревают.

— А дальше?

— А дальше дело рук ваших коллег. Мы проанализировали самые последние прецеденты и пришли к достаточно обнадеживающему выводу: нам ничего не надо предпринимать, разве что немного подождать, и с вами расправятся ваши же коллеги. Известно, что, если кто-то, особенно в период «холодной войны», продолжительное время, а значит успешно поддерживал контакт с противоположной стороной, то он рисковал навлечь на себя подозрения со стороны своих же. И это не только у вас, у нас то же самое.

Если в начале разговора человек вызывал у меня симпатии, то по мере общения отношение мое к нему менялось. А когда он сообщил, что они с радостью ждали расправы над нами, пусть и несостоявшейся, симпатии к нему полностью испарились, и он вдруг превратился для меня в неприятного раздражителя. А когда я попробовал проанализировать неприязнь, неожиданно возникшую к этому человеку, то пришел к печальному выводу: она возникла на базе обстоятельств парадоксальных. В его анализе американец оказался весьма близок к неприятной правде, которую я всеми силами изгонял из моей памяти.

Однажды в середине 70-х годов шеф КГБ Андропов ознакомил меня с телеграммой, полученной из нашей точки в Соединенных Штатах Америки. Источник сообщал, что англичане весьма озадачены активными действиями двух представителей советских спецслужб, которые на протяжении многих лет ведут интенсивные конфиденциальные переговоры с высокорангированными правительственными чиновниками

Германии. Опасаясь сговора за их спиной союзников, Англичане предлагали провести совместно с американцами активные мероприятия в отношении двух русских с тем, чтобы пресечь их активность на территории Западной Германии.

— Ну, что ты думаешь по поводу этого, — поинтересовался Андропов, заметив, что я закончил прочтение текста телеграммы.

— Одна и та же история: ни англичане, ни американцы не могут по достоинству оценить благородство Брандта. Они никак не хотят понять, что этот немецкий рыцарь от политики никогда не пойдет ни на какие закулисные сделки с нами… — начал я было пространное размышление, уже набившее оскомину мне самому.

С другой стороны, я знал, что переохлажденные холодной войной мозги лидеров по обе стороны железного занавеса порой являлись причиной принятия самых неадекватных решений, и мог ожидать любых выводов.

Андропов недовольно поморщился и чтобы не тратить впустую время, решил сам сформулировать ответ на поставленный им же вопрос.

— Я думаю, что эту информацию специально подбрасывают, чтобы приструнить нас и заставить свернуть начатое дело. Поэтому нам не надо пугаться, а тебе следует еще раз постараться сделать все, чтобы темы ваших разговоров не стали достоянием наших оппонентов. И помни, что разделенная Германия, и особенно Западный Берлин, являются сегодня местом активности многих разведок, поэтому будь предельно осторожен в твоем поведении и не дай повода для каких-либо провокаций против тебя. Впрочем, чего я тебе рассказываю. Ты сам…

Соглашаться было проще, чем рассуждать. А поскольку бдительность во мне никогда не засыпала, то в поведение моего коллеги и мое собственное особых корректив вносить не пришлось. Воспоминание же о телеграмме и последовавшим затем разговоре лишь подтвердило, что словоохотливый американец ничего не фантазировал, а лишь подтвердил то, что имело место в действительности. Это качнуло меня вновь в его сторону, и мы добро распрощались.

Телеграмма с угрозой в наш адрес постепенно поблекла, а вскоре и просто исчезла. Однако ощущения собственной ущербности, связанные с тем, что американцу удалось почти точно воспроизвести, пусть и в прошлом, до боли неприятное событие, имевшее место в нашем служебном замкнутом пространстве, лишь обострились и не покидали меня еще долгое время.

Мой непосредственный шеф— генерал К. (Не будем называть

его полного имени, оставим из фамилии лишь первую букву. Те, кто его знал, догадаются, те же, кому он был не знаком, пусть останутся в неведении. Его уже несколько лет нет в живых, а к ушедшим надо относится осторожно. Ведь они не могут из мира иного подать голос и защитить себя.) Был он человеком заслуженным, во время войны партизанил и помогал чехам освобождать их землю от оккупантов. Женат он был на подруге военных лет, которая подарила ему дочь, однако, как и запланировано природой, после пятидесяти ему какой-то бес пришелся в какое-то ребро. И не успел он заметить, как женился вновь на женщине молодой, очаровательной и, что немаловажно, бывшей жене знаменитого композитора. И К. потерял голову. Трудно объяснять поступки, лишенные логики. Еще труднее понять К., который однажды явился к вышестоящему начальству и заявил, что согласно наблюдениям и имеющимся у него фактам, я и напарник, выезжающий со мной в Германию, связаны каким-то образом с западной разведкой. Он обещал собрать факты, подтверждающие это подозрение. Надо сказать, что то было время предательств и дерзких побегов представителей советских спецслужб на Запад. И это создавало благоприятную почву для того, чтобы в воспаленных мозгах некоторых руководителей зародились самые нелепые подозрения. В Берлин полетели телеграммы с требованием установить контроль за поведением моим и моего коллеги во время нашего нахождения в Германии или, как минимум, в Западном Берлине. Если учесть, что за нашим поведением в Германии уже наблюдали службы Англии и Америки, то можно себе представить, какая неразбериха образовалась, когда к ним присоединились еще и советские «контролеры». Это и был как раз тот момент, который вызвал у американских служб удивление и зародил надежду на то, что с нами расправятся наши же, и им следует лишь немного подождать.

Признаюсь, что даже по прошествии четверти века я не испытывал и доли того веселья, которое обуяло доброжелательного американца, поведавшего мне эту историю. Однако пока американцы дожидались нашего крушения, события развивались по собственному сценарию, что было связано с наступлением иного времени и, главное, с приходом к руководству КГБ Андропова и целой плеяды людей, не то чтобы нового поколения, но с иными представлениями о человеческой морали. И на возникавшие интриги они реагировали иначе, чем их предшественники.

На следующий день после сделанного К. заявления Андропов пригласил к себе генерала Виталия Боярова, который курировал

мою оперативную деятельность, в том числе и в Германии.

Генерал был известен в Управлении, как сторонник бескомпромиссных решений. «Чем острее возникающая проблема, тем радикальнее средства должны быть использованы для ее решения», считал он.

— Что ты думаешь по поводу заявления, сделанного К.? — Андропов всегда предпочитал экономить время собеседника и свое тоже.

— В высказанные подозрения я лично не верю. Подозревать проще, нежели доверять. С этим мы прожили почти полвека, пора что-то менять. С другой стороны, камень брошен и косвенно задел меня, как руководителя.

— Так что будем делать?

— Предлагаю путь незамысловатый, но прямой…

Андропов слушал внимательно, затем поднялся из кресла, обошел стол и, подойдя к Боярову, пожал ему руку.

— Проводите мероприятие, но учтите, нам нужна ясность, как можно быстрее. Поэтому прошу вас, Виталий Константинович, не затягивайте. — Он постоял секунду молча. — Мы должны успеть сделать массу полезных дел, а, как видите, приходится заниматься… — Он махнул с отчаянием рукой.

В результате было принято решение: организовать очную ставку, на которой К. выскажет все свои подозрения, а мне будет предоставлена возможность опровергнуть их. Присутствующим же на этой встрече будет дана возможность определить степень моей виновности. С другой стороны, К. был предупрежден о том, что если в результате встречи его подозрения в моей адрес не подтвердятся, то будут сделаны выводы не в его пользу. К счастью, мир населен не только людьми интригующими, но и думающими. Один коллега, прибывший в Берлин по своим делам, сообщил мне конфиденциально, с чем связан мой срочный вызов в Москву. Отложив все встречи на неопределенный срок, мы не в самом лучшем расположении духа вылетели в Москву. Произойди такое лет 30–40 назад, нам уже на аэродроме надели бы наручники, а дальше еще хуже. На сей раз даже всегда исправный шофер опоздал.

А еще день спустя, рано утром, ровно в 10 часов, в назначенное время я вошел в кабинет моего нового шефа-куратора. Кабинет был пуст. «Видимо, зрители придут несколько позже, — подумал я, — а пока вопросы будет задавать хозяин кабинета». Откровенно говоря, меня несколько смутило доброжелательное выражение лица Боярова и даже улыбка, с которой он меня встретил, плохо сочетавшиеся с темой предстоящего разговора. Вдобавок ко всему, он предложил мне

чашечку кофе. А после третьего глотка, сделанного мною, заговорил сам.

— Мы вызвали вас не случайно.

— Догадываюсь.

Он почему-то улыбнулся и продолжил:

— Ваш непосредственный начальник генерал К. сделал руководству Управления серьезное заявление, касающееся вас. — Он отпил кофе и добавил: — Очень серьезное. Поэтому Юрий Владимирович дал указание: провести в присутствии руководства Управления и партийных органов между вами и генералом К. очную ставку, по результатам которой мы должны были принять решение в отношении вас. Встреча эта была запланирована на сегодня в 10 часов здесь, у меня в кабинете. — Он вновь отпил из чашки. Я к своей не притронулся, а мучительно обдумывал, почему он говорил в прошедшем времени, и терпеливо ждал, успокаивая себя тем, что если бы была подана еще и закуска, то пауза продлилась намного дольше. — Как видите, встреча не состоялась.

— Надеюсь, не по моей вине? На сей раз я пришел точно. (Признаться, за мной водился грех являться на разного рода совещания и заседания с опозданием.)

— На сей раз — да. Поэтому вы здесь ни при чем. — Он вновь сделал два глотка. — Час тому назад позвонил К. и сказал, что он отказывается участвовать в этом «поединке».

— В очной ставке, — решил я подкорректировать.

— Я воспроизвожу точно текст сказанного.

Мне ничего не оставалось, как пожать плечами.

— Как же это могло произойти? Ведь он неглупый человек.

— Неглупый человек руководствовался устаревшими понятиями, когда подозрение автоматически переходило в наказание, и не учел, что времена изменились. Вот вам и плачевный результат.

— Так что же будем делать?

Опять неторопливый глоток из чашки.

— Вы немедленно вылетаете обратно в Германию и продолжаете выполнять порученное вам задание. А в остальном мы тут сами разберемся.

Через некоторое время К. отправили на периферию, а затем уволили в запас. Некоторое время спустя врачи поставили ему диагноз — сердечная недостаточность, от которой он вскоре и скончался. Вдова с трудом перенесла эту утрату. Говорят, что она полностью отказалась от светской жизни и нашла покой в религии.

Работу конференции, как и полагается, подытожил прием,

который, словно мазок маэстро, должен был придать картине, написанной учениками, завершенный вид. В какой-то момент я ощутил удовлетворение от поездки в США, пребывания в Вашингтоне и общения с интересными людьми. Безусловно, это были не те американцы, с которыми я общался в 1945 году в Германии в конце войны. Правда, и я был уже не тот, что более полувека назад, и не только внешне. Я стал более прагматичным и безрадостным, особенно после распада великой державы— моей страны. У американцев никогда и ничего не распадалось. Лишь кризис иногда взбадривает их и заставляет задумываться о путях его преодоления. Большинство американцев родились не в Америке, и меня восхищает их патриотизм без Родины. Насколько он глубок, понять трудно. И, тем не менее, приводит в восторг преклонение перед флагом, на который американцы готовы молиться, как наши предки-язычники на огонь и воду.

Однажды я встретил в Вашингтоне мальчишку, у которого на штанах зияла заплата со звездами на небесно-синем фоне по количеству штатов США. Но самый большой восторг вызвал у меня громадный мусоросборщик, который ранним утром медленно, подобно черепахе, полз по улице Вашингтона, засасывая в свое чрево нечистоты, оставленные жителями города на улице. И при этом на радиаторе у мусоросборщи-ка гордо развевалось громадное полотнище американского флага. Я искренне завидую американцам. В то время, как мы усердно и с наслаждением вымазываем человеческими отходами наше прошлое, не жалея и настоящее, американцы даже нечистоты с улиц столицы убирают под флагом страны. И это не указание мэра города, а их внутренняя потребность.

Я был доволен прошедшей конференцией и тем, что она закончилась. Воспоминания, навеянные людьми, с которыми я встречался, постепенно отступали назад и занимали свое обычное место в памяти, за исключением одного — страшная судьба всей семьи и самого дипломата-перебежчика Шевченко. Трагическое плохо сочетается с презрением, но в данном случае именно это имело место. И я никак не мог освободиться от этого симбиоза. Однако судьбе было угодно, чтобы я еще раз до убытия из Америки встретил эту фамилию. Признаюсь, мне показалось тогда, что это какое-то наваждение сверху и что двух Шевченко в течение одних суток для меня одного многовато.

Самолет из Вашингтона вылетал далеко за полдень, а езды до аэропорта из американской столицы максимум час. Чтобы не проводить бессмысленно время в гостинице, мы с женой решили после легкого завтрака совершить небольшую ознакомительную прогулку по району, прилегающему к гостинице.

Сделав небольшой круг по скучным улицам с невыразительными виллами и строениями, не обремененные впечатлениями мы почти приблизились к гостинице, как перед нами неожиданно предстал достаточно величественный и эмоциональный памятник. На высоком гранитном пьедестале — фигура стройного человека в разметавшейся от ветра одежде рванулась вперед. Такие эмоции может вызвать только стремление к свободе. Человек на пьедестале явно был не негритянского происхождения, поэтому, еще не подойдя близко, я удивился: кто из белых американцев мог за короткую историю так стремиться к тому, что они имели с лихвой почти с самого начала. Поскольку пьедестал поднимался четырьмя ступеньками вверх, издалека я начал читать надпись: «Мемориал был воздвигнут с одобрения 86-го конгресса США в соответствии с положением такого-то закона и подписан 34-м президентом Соединенных Штатов. Памятник воздвигнут американцами украинского происхождения». Я взглянул на силуэт стремительно шагающего по жизни молодого человека. Он смотрел вперед, а я стоял внизу у его ног, поэтому наши взгляды не встретились, и я, подогреваемый любопытством, вернулся к надписи. «Шевченко»— бросилось мне в глаза. Фамилия дипломата беглеца, мрачную историю семьи которого я накануне выслушал. «Борец за освобождение Украины от ига России». Прошло всего четыре года после его смерти, и уже такой грандиозный памятник. С другой стороны, я совершенно забыл, что он действительно украинец. И все же, то, что он преследовал меня в Америке, показалось мне навязчивым. Я плохо знал историю Андрея Шевченко, никогда его не видел, и все равно этот молодой, красивый, уверенно шагающий по жизни человек, сработанный из гранита, показался мне совершенно не способным на кучу предательств, совершенных, в том числе и по отношению к семье, на его Родине.

Естественно, памятники могут существенно отличаться от оригинала, иногда не в лучшую сторону. Но не до такой же степени! Я подошел ближе, поднялся по четырем ступенькам вверх и углубился в чтение бликующей на солнце надписи. Теперь с самого начала. Первые две строчки сверху и я облегченно вздохнул. «Слава Богу, Шевченко, да не тот». «Этот памятник Тарасу Шевченко, украинскому поэту 19-го века и борцу за независимость Украины от имперской тирании и колониального господства России».

Мы было начали с женой обсуждать историческую ценность надписи на памятнике, как у меня за спиной кто-то поинтересовался:

— Москали?

Мы признались, что мы из Москвы.

— Дивитесь памятнику?

— Памятник великолепный, но вот надпись нас немного смущает.

— Вам не нравится, что Тарас Шевченко всю жизнь боролся за самостийную, то есть независимую от России Украину. А за что же тогда царская Россия его в ссылке гноила?

Я плохой историк, но, к счастью, еще в юности наслаждался стихами Тараса Шевченко и был совершенно равнодушен к его картинам. В общем, мы решили не жалеть оставшегося времени и просветить славянского собрата, очутившегося на чужбине.

Для начала я попробовал оценить потенциального собеседника. Высокорослый мужчина, если не был лысым, то, наверняка, оказался бы блондином. Лицо широкое, глаза маленькие, оба тяготеют друг к другу и к переносице. Отсутствием аппетита не страдает, в доказательство чего носит приличный живот, на котором пуговицы с трудом сдерживают полы рубахи. Возможно, моложе меня, хотя, признаться, с каждым годом я все реже встречаю людей старше и даже одногодок, отчего печалюсь, но не больше.

— Простите, как вас зовут?

— Олег.

Обращаться к такой громадной человеческой глыбе только по имени показалось мне кощунством.

— А отчество?

— Вам будет проще по имени.

— Да мне и с отчеством не трудно.

— Обращайтесь ко мне, как вам угодно, но учтите, я в курсе истории моей страны, трошки.

Последнее добавление по-украински значило, что он действительно в курсе.

— И не пытайтесь переубедить меня в том, что я хорошо знаю.

— Например?

— Например, что Россия всегда была оккупантом для Украины. Русские относились к украинцам как к людям второго сорта. А вот этот человек, Тарас Шевченко, всю жизнь боролся за независимость Украины от России, за что его русские гноили на каторге, и за что мы поставили ему здесь, на чужбине, вот этот памятник. Я подслушал ваш разговор с этой женщиной и ваше недоумение и критические замечания к этой надписи, поэтому, извините, и вмешался.

— Ничего страшного, мы с женой действительно обсуждали

вот этот текст и считаем, что надписи на памятниках должны быть очень тщательно выверены и исторически точно изложены, дабы они не вызывали таких брожений в голове, как у вас.

Он снисходительно улыбнулся и выставил правую ногу вперед, что означало: ну-ну, продолжайте.

— Начнем с оккупации. Вам конечно известно, что ровно в середине XVII века в 50-е годы украинский гетман Богдан Хмельницкий, дабы освободить Украину от посягательств турецких османов и польской шляхты обратился к русскому царю: взять украинские земли в свой состав, то есть под свою защиту. Боярская дума долго чесала затылки и все же согласилась, а в 1654 году на Переяславской Раде Богдан Хмельницкий объявил о воссоединении Украины и России. За этот мудрый шаг ему в центре Москвы поставлен памятник. Теперь о поэте, который возвышается над нами. Тарас Шевченко не выступал за отделение Украины от России, скорее, наоборот. Шевченко, Тарас, являлся членом тайного общества в Киеве «Кирилл и Мефодий», которое возглавлял знаменитый русский историк Костомаров. Они выступали с идеей не за отделение Украины от России, а, скорее, наоборот, за объединение славянских народов. Некоторые из них считали, что Украина самостоятельно просуществовать не может, требует защиты России. Царское самодержавие усмотрело в этом угрозу для себя. Все члены общества были арестованы, судимы и сосланы в разные отдаленные места России, Шевченко в тяжелую ссылку в Екатеринбургскую область. Что касается отношения с русскими, то у Тараса Шевченко были поклонники и защитники, русские люди высшего света. В России тогда было еще крепостное право. Так вот великий русский художник Брюллов договорился с приближенным ко двору поэтом Жуковским о написании его портрета, который был продан на аукционе за 2,5 тысячи рублей. Именно за эти деньги Шевченко был выкуплен у жадного помещика Энгельгардта, и стал свободным гражданином России. Вот вам история. И ее никто изменить не может.

Он опять снисходительно улыбнулся.

— Аллее пропаганда, — произнес он вдруг по-немецки фразу, хорошо мне знакомую из времен Третьего рейха.

— Вы что же, и в Германии жили? — поинтересовался я.

— Мне довелось бывать под русскими, под поляками и под германцами тоже.

Широко распространенное обобщение времен Третьего рейха, вырвавшееся у собеседника и произнесенное по-немецки, навело меня на грустные размышления. Во время войны некоторые представители славян волею судеб или по собственной воле оказались на стороне немцев, чудом оставшись в живых после ее

окончания. Разбросанные по всему миру, они мучительно искали оправдание своему поступку. Во время войны и в послевоенное время мне довелось часто встречать людей этой категории, чаще всего с трагической судьбой. Для них был характерен достаточно ограниченный запас русских, украинских и иностранных слов, которым они пользовались, оказавшись на чужбине. Признаться, я недобро подумал о собеседнике и пока старательно освобождался от этой мысли, потерял интерес к продолжению диалога с ним.

— Что ж, нам пора. Так что передайте вашим друзьям, что москали никогда и ничего плохого им не желали.

— Хорошо, сразу передам.

Проводы участников конференции были еще менее торжественны, чем встреча.

Портье позвонил в номер и сообщил, что заказанная машина «линкольн» с таким-то номером ожидает нас у подъезда. Еще до войны рядом с моим родительским домом находилась какое-то немецкое представительство. Однажды к этому зданию подъехал громадный лимузин черного цвета, на радиаторе которого латинскими буквами было написано «линкольн». Поблескивая громадными фарами и бесконечными хромированными накладками, он произвел на нас, мальчишек, обитателей небольшой улицы в центре Москвы, неизгладимое впечатление. Таким он и остался у меня в памяти. Я решил, что устроители конференции решили прокатить нас на роскошной машине до аэропорта, компенсировав тем самым скромные проводы.

Выйдя на улицу, я долго бродил, разыскивая среди припаркованных у отеля машин мой детский восторг, пока меня довольно бесцеремонно не окликнул молодой парень, выбравшийся из какого-то малопривлекательного автомобиля.

— В аэропорт едете? — произнес он чисто по-славянски фразу, составленную из английских слов. Затем небрежно забросил в багажник нашу скромную поклажу и, чем-то недовольный, занял водительское место.

Я обошел автомобиль спереди. Сомнения отпали. На радиаторе стояло четкое «линкольн», что являлось долгое время не столько средством передвижения, но престижем Америки, как «роллс-ройс» для Великобритании. Усевшись в машину и оглядев сильно потертый временем салон, я невольно пришел к выводу, что фирма заметно обветшала, и очень не хотелось думать, что такая же судьба ожидает и великую страну.

Едва усевшись за руль, парень заявил, что он украинец.

— Фамилия ваша случайно не Шевченко? — неосторожно вырвалось у меня.

— Не, я Горбатенко. А шо?

Я не мог объяснить молодому украинцу, что третьего Шевченко за двое суток я уже вряд ли перенесу. С другой стороны, мне нужно было на аэродром, чтобы вылететь из Америки, и менять такси на полпути из-за совпадения фамилии водителя с другими, тоже смысла не имело, поэтом я промолчал.

Но Горбатенко не расстроился, скорее, даже наоборот. Оказавшись в чужой стране, он остро нуждался не в рассказчиках, но в слушателях, а поведать ему было что. Все эмигранты из бывшего Советского Союза при изложении своей судьбы используют одну и ту же формулу: конечно, дома было бы хуже, однако, когда выезжали сюда, рассчитывали на лучшее.

— Эмигрантское счастье оно ведь существует только в мечтах, а на самом деле в жизни его нет.

— Как же нет? — удивился я. — Сколько людей из России, Украины, да из всех стран распавшегося Союза мечтают выехать за границу и устроиться там поудобнее.

— Вот, вот, верно вы сказали — мечтают. Так с этой мечтой и остаются. Вот возьмем меня, я сюда не на пустое место приехал, как некоторые, а по вызову родственника, у которого фирма небольшая была — на домах крыши ремонтировали и заново покрывали. Родственника, который по линии жены, годы подпирать стали, и он написал мне: приезжай, подсоби, вместе легче деньги заработать. В общем, прислал приглашение, с трудом документы год или даже больше оформляли, наконец, приехали мы с женой. Начали мы с ним крыши крыть. Кому черепицей, кому железом, в общем, как пожелают. Мы ведь с Голиции, работать умеем. В общем, поначалу мне все понравилось, и я на радостях за четыре с половиной года три ребенка свалял. И как раз когда последний на свет появился, мой родственник по неосторожности с крыши на землю рухнул и позвонок повредил, то есть стал инвалидом. А в Америке лучше быть покойником, чем инвалидом. Социальная система очень слабая. Пробовал я фирму на плаву удержать. Работать я умею, а коммерсант из меня никакой. Вот все и рухнуло. А детей кормить надо. Так я оказался в такси. Это то, с чего здесь все приезжие начинают.

Он замолчал. Мимо за окном проплывали уже сочно зазеленевшие поля, небольшие строения, железнодорожные переезды. Было ясно, что пауза долгой не будет. Потребность у Горбатенко излагать редким незнакомым, говорящим по-славянски, свою печальную судьбу, была значительно больше, нежели возможность.

— И то сказать, — продолжил он, — мы вот с братом — близнецы, внешне похожи, а судьбы совершенно разные

получились. Пока я с отцом работал на предприятии, он во Львове юридическое образование получил, а когда страна распалась, и я в Америку подался, он спешить не стал, разобрался спокойно в ситуации: где, что, как, прикинулся евреем, то есть достал документ, что наша бабка по линии матери якобы была еврейкой, а значит, по их законам и он тех же кровей. И вот с этими бумагами он, не как я, дурак, в Америку, а в Германию выехал. Объясняю почему. Германцы перед евреями вину чувствуют за то, что во время войны уничтожили их 6 миллионов. Мало того, он ухитрился доказать, что его на Украине преследуют как еврея. Так его германцы, как жертву, с распростертыми объятиями приняли, бесплатную квартиру тут же предоставили, бесплатный проезд на транспорте, ну и там массу других благ. Так он и на этом не успокоился. Выписал к себе нашего больного батьку, благо мама к этому времени уже умерла. Ему тоже бесплатную квартиру дали, операцию по сердцу сделали, грыжу вырезали, а теперь к нему два раза в неделю сестра приходит, укольчики делает, лекарства приносит, а другая уборку производит. И все бесплатно.

Я год тому назад ездил к ним туда, на Неметчину. Прямо скажу, живут, как у Христа за пазухой. И брат похитрее меня себя повел. С детьми горячку пороть не стал, а взял кредит и небольшой домик построил, собирается адвокатскую контору открывать. А батя не то, чтобы состариться, лет на 15 помолодел, жениться собирается. Ему там всей украинской колонией невесту ищут. Вот так мой братеня устроился, — с плохо скрываемой завистью закончил он.

— Ну, раз вы братья, даже и близнецы, значит, у вас одна и та же кровь, а поэтому одинаковые права. Поезжайте к брату и устраивайтесь, как он.

— Для этого надо быть таким, как мой брат, а потом, вряд ли меня там кто-то уж очень ждет с тремя малыми детьми. У них своих хватает.

Тема исчерпала себя как раз в тот момент, когда машина подъехала к аэропорту. Я расплатился и распрощался с потенциальным украинским иудеем.

Как уже известно, многочасовой полет над Атлантикой радости привычному наземному существованию не добавляет, и чтобы абстрагироваться от семиметровых холодных волн, плещущихся внизу, и пятиметровых голодных акул, глотающих слюни при виде пролетающих над ними самолетов, напичканных свежим человечьим мясом, существует два способа: не делать больших перерывов между приемом бодрящих напитков типа виски, джин, ром, водка и им подобных. Недостатком этого

варианта являются трудности, возникающие у пассажира при выходе из машины после ее приземления. Второй вариант заключается в том, чтобы сразу же после старта погрузиться в сон и постараться не прерывать его до самой посадки. Недостатка у этого варианта нет. Именно поэтому, как только самолет после короткой разбежки оттолкнулся от грешной земли, я тут же погрузился в мир ночных иллюзий и сновидений. На сей раз программа показа состояла сплошь из снов-кошмаров, в которых я почему-то играл роль лица высокопоставленного и потому ущербного. При входе в здание ООН стоит с протянутой рукой советский дипломат: лицо ожиревшее, глаза заплыли. Он просит денег для лечения цирроза печени. Я говорю, что лучшим лечением будет, если он прекратит пить. Рот его вдруг искривляется в уродливой улыбке, которая обнажает красные десны, лишенные зубов. Стоящие рядом мальчик и девочка умоляют меня вернуть их отца к их матери в Москву. Медленно открываются створки громадного стенного шкафа, наполненного дорогими шубами, из-под которых выкарабкивается женщина. Лицо ее обезображено трупными пятнами, кое-где кожа и мышцы словно краска под струями дождя сползли вниз. Зрелище кошмарное.

Я покидаю здание и медленно иду по улицам Вашингтона. Рядом со мной медленно движется колоссальная платформа, на которой установлен гигантский гранитный памятник. Пьедестал, лошадь и наездник, в котором я нахожу некоторое внешнее сходство со мной. Впиваясь глазами в надпись, обнаруживаю свою фамилию. Теперь надо срочно выяснить, в связи с чем такая честь. Читаю дальше и прихожу в ужас. «Неутомимому борцу, последовательно выступавшему против опасного сближения России и Германии». Я задыхаюсь от возмущения, кричу во весь голос: «Это не правда, все как раз наоборот. Мы потратили двенадцать лет, чтобы восстановить с немцами взаимопонимание, разрушенное войной. И, как видите из докладов на конференции, нам удалось добиться этого». Подошел американец, общением с которым закончился вчерашний день. Он по-прежнему в прекрасном расположении духа.

— Дорогой коллега, — он бесцеремонно хлопает меня по плечу, — вчера я слушал тебя, сегодня ты послушай меня, старого волка. — Не вижу причин и не одобряю твоего возмущения. Тебе ставят памятник, заметь, при жизни и бесплатно. Ты должен радоваться, а вместо этого ты возмущаешься.

— Естественно. Во-первых, я не просил ставить мне памятник, во-вторых, я никогда не скакал на лошадях и поэтому не понимаю, для чего меня взгромоздили на эту гранитную

кобылу. В-третьих, я хотел бы знать, кому пришло в голову сделать такую безобразную надпись, которая все ставит с ног на голову. И последнее. Насколько мне известно, памятники ставят покойникам, а я пока еще жив.

— Что ж, дорогой коллега, если не возражаешь, начнем с конца. Сегодня ты действительно еще жив. А завтра? — Он развел руками, — а завтра ты вылетаешь в Европу. А, как известно, человек, только занявший место в кресле самолета, уже наполовину покойник. Американцы правят миром, потому что умеют просчитывать события наперед. Так вот если над океаном с самолетом что-то случается, то ты оказываешься в привилегированном положении по сравнению с остальными. У тебя уже есть памятник, да еще какой! — Он кивнул головой в сторону коня и всадника. — И это все тебе, то есть твоим родственникам обойдется бесплатно. А ты знаешь, сколько стоит в Америке памятник средней сложности. — Он достал из кармана бумажку и приступил к оглашению стоимости памятников, поставленных великим людям Америки. — Вашингтон стоил… Линкольн стоил еще больше… — Он зачитывал лист медленно, с чувством и с удовольствием. — Сумма, выплаченная за все памятники, могла бы составить значительную часть бюджета страны.

Наконец он закончил чтение.

— Так вот, мой дорогой, стоимость памятника — это его визитная карточка. И наши гиды начинают показ и рассказ о любом монументе с того, что называют его стоимость. Я считаю, что эта цифра должна стоять непосредственно после дат рождения и смерти. А, может быть, и впереди них.

— Но я повторяю, что не согласен, в первую очередь, с надписью, которая все искажает.

— И опять ты не прав. Взгляни. Текст подписан двумя весьма уважаемыми людьми — президентом Америки Дуайтом Эйзенхауэром и президентом России Борисом Ельциным.

— А кто сказал, что я отношусь с уважением к Ельцину?

— Твое отношение к вашему президенту — это интимный вопрос. Теперь что касается надписи. Мы, американцы, давно установили в мире порядок: кто платит, тот и диктует текст. Да и не важно, где он будет нацарапан: на бумаге, на воде, на гранитном пьедестале. И запомни, наконец, — он поднял указательный палец вверх, — что деньги — это основа демократии. Они без нас с тобой распределят все, как положено, и заставят всех делать то, что необходимо.

— Заставят! Вот ты и проговорился. А теперь запомни то, что скажу тебе я: насилие денег так же безнравственно, как и насилие

властью.

Гранитный конь повернул голову и громко заржал, затем немного подумал, встал на дыбы и громко зааплодировал передними конечностями.

Под аплодисменты я и проснулся. Пассажиры добросовестно и от души били в ладоши, благодаря опытного летчика, плавно посадившего машину на посадочную полосу. Ко мне эти аплодисменты не имели ни малейшего отношения.

Взглянув на людей, радующихся тому, что их благополучно доставили к месту назначения, а не отправили в мир иной, я пришел к твердому убеждению, что мир реальный, то есть жизнь, значительно интересней любого наваждения, даже самого нелепого.

Послесловие

I

Человек, вступивший в какие-то отношения с Россией, не может избежать ощущения трагичности.

Такова была моя первая мысль, когда я прочитал рукопись до конца. Трагичными были не только последний отрезок пути, пройденный моим другом Валерием Ледневым, которому здесь воздвигнут достойный и заслуженный памятник, и его конец, но также и корреспондента Хайнца Лате. Великие имена обретают черты, делающие их человечными, только в том случае, если в повествование о них включаются и их ошибки, заблуждения, а также вещи, подчас нелицеприятные. Самые могущественные фигуры такого могущественного государства, каким был Советский Союз, так и не смогли освободиться из тисков своей системы. Так разве можно было требовать или ожидать этого от людей, стоявших на более низкой ступени иерархической лестницы?

Трагические судьбы после прочтения вновь возникают в памяти, в том числе и судьбы людей, ни разу не упомянутых в этой книге. И многие из рассказанных здесь забавных эпизодов не могут заслонить собой дьявольски серьезную подоплеку и тот большой риск, на который шли участники событий, во всяком случае на «другой стороне»; на нашей стороне в худшем случае рисковали вынужденной мягкой посадкой.

II

Естественно, что у меня не было и тени подобных мыслей, когда моя секретарша в ведомстве федерального канцлера Элизабет Кирш сообщила мне о желании одного советского журналиста взять у меня интервью, однако я отклонил эту просьбу. После этого мне позвонил Кони Алерс, руководитель ведомства по печати и информации федерального правительства и попросил меня об этом еще раз, сказав, что он уже кому-то пообещал, что этот журналист будет принят мною. Речь идет об одном человеке, который уже побывал здесь с Аджубеем, чтобы подготовить визит в Германию Хрущева, и который, во всяком случае, не настроен враждебно по отношению к Германии. Ну, хорошо. Он будет принят. Он станет последним посетителем,

когда уже ничего не останется на письменном столе, ближе к вечеру в канун Сочельника.

Все это началось вполне безобидно, 24 декабря 1969 года Леднев — у него заметно выпирало брюшко — присел под портретом Гельмута фон Мольтке на краешек кресла, что было признаком нервозности с его стороны, и передал мне в знак благодарности за эту, назначенную под Рождество встречу, искусственную елочку высотой 10–12 см, которая раскрывалась как китайский зонтик. Невзирая на этот доброжелательный и трогательный жест, на его первый, довольно-таки нелепый банальный вопрос был дан точно такой же ответ.

В таком духе беседа продолжалась еще пару минут, и я уже стал подумывать о том, как бы избавиться от этого посетителя с помощью пары гладких дружелюбных фраз о конструктивных намерениях нового правительства, в особенности по отношению к Советскому Союзу, когда одно из брошенных им замечаний заставило меня насторожиться: он сослался на письмо федерального канцлера советскому премьер-министру Косыгину.

Об этом письме у нас знали только четыре человека: я, который его набросал, Брандт, который его отредактировал и подписал, Шеель, который его прочитал, и секретарша, которая его напечатала. Поскольку тогда я еще был убежден в том, что Советский Союз — это государство, где не только царит порядок, но и не происходит ничего важного без контроля и не по плану, было очевидно: этого человека прислал Косыгин. А следовательно, то, что он говорит, гораздо ближе к первоисточнику, а потому и важнее, чем то, что передает посол Царапкин из третьих или четвертых уст. Заблуждение и истина вполне могут приводить к правильному выводу.

Эта позитивная реакция советского премьер-министра доставила двойную радость: вот и возник тот непосредственный контакт между двумя главами правительств, которого мы желали, чтобы вновь сдвинуть с места зашедшие в тупик переговоры на уровне послов в Москве, и этот контакт не был связан ни с какими условиями; к тому же теперь мы могли чувствовать себя намного уютнее и воспринимать как малозначительную помеху полученное за неделю до этого письмо Ульбрихта с определенными условиями, о чем до того мы могли только мечтать.

Наша договоренность о том, что Леднев встретится со мной, когда я буду в Москве, действовала успокаивающе.

О Кеворкове вначале не было речи. Немного позже, в феврале 1970 года, Леднев представил мне его в Москве словами: «Это Слава. Мы работаем вместе». Мне этого было достаточно. Какая

была бы польза от фамилии, даже если бы она была подлинной? Возвратившись в Бонн после первых четырех недель интенсивных переговоров, проведенных с Громыко, я доложил Брандту о том, как работал «канал»: «Там наряду с Ледневым есть еще и второй человек. Слава. У меня впечатление, что он шеф, во всяком случае, у него более высокий ранг. Трудно сказать, где конкретно оба они работают». Конечно, не в аппарате министра иностранных дел, быть может, даже и не в аппарате премьер-министра, хотя именно через них была устроена моя встреча с Косыгиным. Возможно, Слава был сотрудником аппарата Генерального секретаря, и Леднев тоже, под крышей журналиста, который может совершать поездки, не навлекая на себя подозрений. Эта оценка была подкреплена позднее, когда мне сообщили номер телефона Леднева в редакции «Литературной газеты». Я мог, когда это было необходимо, пригласить его в Бонн. Бывали времена, когда он проводил больше времени за пределами страны, чем в своей редакции. Несомненно, что и в Советском Союзе это было скорее исключением из общего правила.

Эта картина должна быть дополнена констатацией, что Слава не стремился приезжать в ФРГ или это ему не рекомендовалось. Зато он имел возможность регулярно наведываться в Западный Берлин, который был открытым городом, т. е. каждый советский человек мог посещать его без визы. Поэтому для нас стало маленьким преимуществом то обстоятельство, что, с советской точки зрения, Берлин не входил в состав Федеративной Республики. Преимущественно я встречался со Славой в Западном Берлине или в Москве, и в этих случаях говорил именно он, а Леднев держался гораздо более сдержанно, чем во время моих многочисленных встреч с ним в Западной Германии. Леднев получал годичную визу, каждый раз по распоряжению Шееля, позднее Геншера, которую выдавало посольство в Москве. Каждый, кто был причастен к этому с немецкой стороны, проявлял тактичную сдержанность. Мне никогда не задавали вопросов, когда я напоминал об очередной визе.

Теперь речь пойдет о западной стороне. Конечно, я проинформировал Генри Киссинджера о существовании такого канала. Он еще был помощником Никсона по национальной безопасности, использовал те же самые методы и мог положиться на то, что его партнер Добрынин знал, когда ему следовало отчитываться своему министру иностранных дел в качестве посла и когда он должен был представлять отчет непосредственно Генеральному секретарю. В этом отношении Бонн показался Генри достаточно перспективным местом, поскольку к тому

времени мы научились уже пользоваться теми же средствами, которые активно использовал он, в том числе и в отношении своих союзников. Он организовал, например, для меня канал через секретную службу военно-морского ведомства, поскольку считал связь через ЦРУ недостаточно надежной. Другое дело, что мы не снискали себе большой любви со стороны наших обоих министров иностранных дел, которые хоть и помалкивали, но, несомненно, были в курсе событий.

Шеель, однако, испытал значительное облегчение, когда после того, как его переговоры с Громыко в августе 1970 года зашли в тупик, я ему доложил, что ради успеха дела задействовал наш канал. Это придало ему уверенности в том, что все образуется, что и произошло на самом деле.

Между Брандтом, как и его преемником Шмидтом, с одной стороны, и Брежневым — с другой, начался интенсивный обмен письмами по этому каналу, и не кто иной как Леднев принимал эти письма и доставлял их. При этом он проявил себя не только в роли письмоносца, но и в качестве незаурядной, образованной личности, исполненной такта, умной и в то же время полной решимости; он стал собеседником обоих федеральных канцлеров. Было не так уж много людей, которые— я сам тому свидетель— могли бы позволить себе заметить в беседе со Шмидтом: «А вот здесь вы заблуждаетесь, г-н федеральный канцлер», не испортив при этом ни личных, ни деловых отношений.

В то же время Слава умел спросить напрямик: «Что вам требуется?» и довольно точно дать оценку тому, что из этого можно сделать в Москве, а что нет. Когда Леднев рассказывал о том, какими замечаниями или вопросами Брежнев сопровождал вручение ему какого-либо письма, к которому ради удобства всегда были приложен перевод на немецкий, то это подтверждало предположение, что его следовало причислить к аппарату Генерального секретаря. Равно как и то, что Славе были хорошо известны пути и способы, как добиваться принятия необходимого решения в Москве.

Брандт и Шмидт знали «Леднева и Славу». К какому аппарату во властной структуре в Москве, которая постепенно становилась для нас все более понятной, их следовало причислить, оказалось не столь уж важным по сравнению с тем влиянием, которое, как неоднократно подтверждалось, они могли оказывать на события. Если бы мне сказали, что к этому, быть может, причастен КГБ, то и это меня бы не особенно шокировало; ведь КГБ был вездесущим, и каждый советский человек, с которым ты встречался или беседовал, мог быть человеком из КГБ. Откуда уж мне было знать, от кого предостерегал меня Леднев, когда мы

встречались в ресторане отеля «Украина» и он советовал не занимать столик в каком-нибудь углу или у какой-нибудь колонны? Даже у таких людей, которые действительно действовали по заданию высших руководителей своего государства, были все основания остерегаться. Что за система!

Однажды Леднев сообщил мне, что Георгий Арбатов хотел бы со мной познакомиться; не мог ли бы я с ним пообедать? Я, конечно, этого хотел, потому что он в качестве директора Института США и Канады Академии наук был известен не в одной Америке как человек, которому было дозволено высказываться в общем-то без стеснений. Это было началом дружеской связи, позднее еще более окрепшей благодаря сотрудничеству в «Комиссии Пальме». Только после того, как Ельцин воцарился в Кремле, то есть по прошествии 20 лет, Арбатов признался мне в том, что его друг Андропов попросил его «прощупать меня». Андропов не хотел полагаться на суждения одного Кеворкова. О том, что фамилия Славы — Кеворков, я узнал только после того, как Шмидт уже ушел с поста канцлера, через Валерия, за несколько лет до его кончины. На мою оценку этого человека отнюдь не повлиял тот факт, что я узнал его фамилию. Слава рассказал мне, когда приступил к написанию этой книги, что он входил в состав личного штаба Андропова, приблизившего его к себе после того, как стал его председателем; он был удостоен звания генерала и предусмотрительно отстранен от канала, когда Андропов «избавился» от КГБ, чтобы стать главой партии и государства. И в дополнение к этому я получил представление о трудной, сложной, даже рискованной работе, которую ему приходилось выполнять, лавируя между властными помыслами Генерального секретаря, министра иностранных дел, министра обороны и своего шефа.

III

Я никогда не расспрашивал обоих «партнеров» об обстоятельствах их личной жизни и об их мотивах. То, что при общении с западными партнерами выглядело бы как невежливое и недружелюбное равнодушие, поступи я иначе, могло показаться неумным и бестактным по отношению к людям советской системы. Они сами расскажут, что именно и когда именно пожелают. Это никак не нарушало растущее доверие и личную близость. Вилли Брандт охотно пользовался формулировкой «твои советские друзья» в своей дружелюбной, порой лукавой манере. В тех случаях, когда это слышали посторонние, это

вполне могло приобрести не вполне приятный оттенок.

Даже не напрягая фантазию, я мог представить себе, как все это должно было обстоять в Москве. Когда Кеворков рассказывал о том, что при неблагоприятно складывавшейся ситуации его упрекали: «Вот опять твои немцы». Будто на нем лежала ответственность за каждую новую неприятность, исходящую от Германии, я могу подтвердить, что нечто похожее происходило и у нас, когда мне делали упреки: «Вот твои советские». Будто не было ничего необычного в том, что благодаря существованию контакта можно было каждую сторону, если не заставить действовать определенным образом, то, по крайней мере, постараться убедить прислушаться к голосу разума, звучавшего как в Бонне, так и в Москве.

С каждым годом у нас совершенствовалось взаимопонимание, и скоро мы убедились в том, что для торжества разума требуются многочисленные окольные пути. Следовало, по возможности, устранять недоразумения, которые порой возникали из-за незнания друг друга. Дурная — в глазах немцев — русская привычка к непунктуальности, что имело место во время встреч между Брандтом и Брежневым в Ореанде, могла бы привести к осложнениям на переговорах. Манера, с какой Брежнев обходился с согласованными заранее сроками встреч, преступая все правила международной вежливости, граничила с (нарочитой?) бесцеремонностью по отношению к немецкому канцлеру. В то время как Брандт предавался чувству усиливающегося раздражения, Слава объяснил мне, что красный царь вовсе не стремился унизить канцлера, а просто демонстрировал свою независимость от всякого рода обстоятельств тем, что не считался с часами и минутами, предусмотренными его «протокольщиками».

Владевший империей должен был быть и хозяином над временем. Я сообщал об этих новых открытиях с тем большей охотой, что мне хотелось, чтобы и Брандт отчасти усвоил такую же манеру. Во всяком случае, нам удавалось, смеясь, приходить к единственно разумной реакции — делать вид, будто и не было двух- или трехчасового запоздания. И в дальнейшем это удавалось легко, в конце концов, для бесед, «начинавшихся неизвестно когда», отводилось неограниченное количество времени. И, тем не менее, все это производило какое-то странное, незнакомое впечатление, поскольку сильно отличалось от того, что обычно принято делать на Западе.

После 1975 года мы пришли к выводу, что демонстрируемое Брежневым «монаршее величие» исходило в основном от его физического состояния. Некоторое время это ускользало от

внимания журналистов; они уже привыкли к ставшему обычным свободному обращению со временем. У немецкой стороны, которая довольно точно была информирована о развитии болезни, не было никаких оснований рассказывать всем и каждому о состоянии здоровья Генерального секретаря. Американцы также довольно долго не разглашали этого.

Нельзя недооценивать значение атмосферы, создаваемой в отношениях между государствами и их ведущими деятелями. Но важнее было существо дела. Один только пример. В связи с переговорами между четырьмя державами по Берлину я вознамерился скорректировать малопонятную уступку правительства Аденауэра, по которой Бонн мирился с тем, что Советский Союз не признавал федеральные паспорта жителей Западного Берлина, вследствие чего было запрещено и их оформление нашим посольством. Фалин не мог или не желал браться за это. Помощник госсекретаря в госдепартаменте США Мартин Хилленбранд в ходе довольно-таки прохладной беседы отказался включить это пожелание хотя бы в пакет к переговорам, потому что это требование, по его мнению, было бесперспективным. После соответствующей подготовки совместно со Славой и Валерием Брандт смог в одном из писем Брежневу достаточно прямо заявить, что ему нужны федеральные паспорта для жителей Западного Берлина, и он получил их. В те времена это было большое дело. В сфере внутренней политики эта ситуация не была использована так, как это следовало бы и как этого, быть может, ожидали в Москве, поскольку мы меньше всего были заинтересованы в том, чтобы вызвать раздражение в госдепартаменте. Когда однажды мои партнеры по каналу сообщили о заболевании Генерального секретаря и тут же принялись убеждать меня не направлять письмо Брежневу с пожеланием скорейшего выздоровления, я подумал: какой отвратительный режим! Но вслух этого не высказал. И правильно сделал. Слава и Валерий были достаточно интеллигентными и деликатными, чтобы правильно воспринимать различия в наших общественных укладах. Их понимание и опыт, приобретенный в общении с нашей системой, были не менее глубокими, чем соответственно мой опыт в познании их системы.

При этом пришло понимание как различных, так и схожих черт человеческого поведения в обоих мирах, хотя это, несомненно, в какой-то мере сковывало доверительность в отношениях. Я допускал, что у «партнеров» могло возникнуть какое-то теплое отношение к нам, хотя им обоим давно было известно, что на Западе не все то золото, что блестит. При этом я не хочу сказать, что хотя бы кто-нибудь из них когда-нибудь хоть

малейшим намеком мог позволить поставить под сомнение свою лояльность к своему государству и любовь к своей Родине. Однако оба они, несомненно, не смотрели на меня как на классового врага. Время от времени от них можно было услышать то или иное замечание о догматизме доктрины классовой борьбы Ульбрихта, которая производила впечатление фразерской, пустой, неумной, покоящейся на палочной дисциплине. Почти цинично к этому можно было бы добавить, что эта доктрина не шла ни в какое сравнение с существовавшей уже тогда реальностью в Советском Союзе.

Когда Валерий рассказал о том, что Ульбрихт «по телефону почти истерично» прореагировал на намерение председателя Совета министров СССР принять одного незначительного статс-секретаря из маленькой Федеративной Республики, я понял, что образ моей страны в Москве больше уже не воспринимается глазами Восточного Берлина. К сожалению, я отказался от участия в поездке в Эрфурт, где состоялась первая встреча между Брандтом и Штофом, с тем, чтобы информировать о происходившем там Москву быстрее и, как выяснилось, с большей достоверностью, чем это сделала ГДР. Иными словами, доверие, которое испытывали к Бонну в Москве, постоянно крепло, в том числе и благодаря этому каналу.

Постепенно в Москве возникло не только нечто аналогичное «немецкой фракции», которая в Вашингтоне объединяла германистов и друзей Федеративной Республики, но и внутри московской «германской группы» появились люди, которые считали, что отношения с Бонном имеют большую перспективу, чем отношения с Восточным Берлином. И словно колокольный звон прозвучали слова Валерия, когда он у себя дома (на удивление скромная двухкомнатная квартира с удивительным обилием книг, с его симпатичной первой женой, мастерицей по выпечке блинчиков, и красивой дочерью) провозгласил тост за «наш» договор и сказал: «Я не знаю, дойдет ли когда-нибудь дело до воссоединения; но если это произойдет, то Вы сейчас сделали первый шаг».

Вначале было бы преувеличением вести речь о какой-то германофильской группе, в самых различных аппаратах и на разных этажах, уже не говоря о выражении «фракция», на которое было наложено табу. К тому же было немало людей, которые считал Францию важнее разделенной Германии, и приходилось следить за тем, чтобы здесь не появилась возможность игры на смешном и мелочном чувстве ревности. Ведь долгие годы мы наблюдали за дискуссией, порой и за борьбой между «сторонниками Америки и Европы». Я был (и остаюсь)

европейцем. Приоритет Америки был неоспорим; стратегическое оружие обладает своим собственным весом. Но европейский выбор мог оказаться крайне важным и для мировой державы — Советский Союз, в том числе и для развития его отношений с США. А поскольку в этой связи повышалась и роль Германии, то оказывать влияние на СССР имело явный смысл. Правда, при этом нужно было учитывать, что постоянным оппонентом, в том числе и для участников канала оставался министр иностранных дел Громыко.

После многих отступлений я наконец-то подхожу к ответу на вопрос: к чему все это? Слава и Валерий были убеждены в том, что хорошие, быть может, даже и дружественные отношения с Федеративной Республикой были бы полезны для их страны. Что они были бы ключом к стабильному миру в Европе. Я разделяю эту точку зрения. Я придерживаюсь ее и сейчас. Германия и Россия по-прежнему не могут обходиться друг без друга. И нередко отдельные люди с определенными функциями оказываются незаменимыми в тех случаях, когда возможности нужно превратить в реальность.

IV

Для более или менее полного дополнения к рассказанному Кеворковым с немецкой стороны потребовалась бы целая книга. Вместо этого ограничусь лишь несколькими замечаниями.

И для историографии, насколько мне известно, представляет собой нечто новое сообщение Кеворкова о том, что в Москве задумывались о принципиальном улучшении отношений с Федеративной Республикой еще до того, как новое федеральное правительство приступило к проведению курса, который позднее был назван восточной политикой. Мы, не подозревая этого, оказались тогда в ситуации все еще туманных соображений, которые были далеки до того, чтобы выкристаллизоваться в какую-то концепцию, а тем более в решения. Можно, конечно, доказать, что мы положили начало процессу, воздействовали на него, придали ему направление и общие очертания и содействовали разработке новой советской политики в отношении Германии. Почва на некоторых участках была рыхлой, можно было пахать.

Оказалось большой удачей, что Андропов в этих условиях был центральной фигурой и оставался ею в течение всего развития событий. Без него дело не сдвинулось бы с места и не закончилось так успешно. Еще и сейчас, как бы задним числом,

дрожь пробегает при мысли о том, что нам пришлось бы иметь дело с Брежневым, Громыко, Косыгиным или Устиновым, ограничиваясь в известной степени сухими служебными связями и бюрократическими механизмами. Без Андропова не было бы канала. Если бы Андропов был лишен качеств государственного деятеля, то в истории, вероятно, не была бы открыта новая страница.

Я встретился с ним только один раз. Он в качестве Генерального секретаря принимал делегацию СДПГ, возглавляемую Хансом-Йохеном Фогелем. Мне было любопытно взглянуть на человека, который так долго возглавлял зловещий и могущественный КГБ. Беседа с ним доставила нам истинное удовольствие, особенно если сравнить ее с обменом пространными монологами во времена Брежнева. Андропов был способен на диалог и вел его без бумажки, разговор с ним напоминал игру в «пинг-понг», поскольку состоял из обмена короткими фразами. Уже сам стиль внушал надежду. Никаких ходульных формулировок, почти полное отсутствие партийно-китайского жаргона.

Когда Фогель представил меня, он улыбнулся: «Эгон Бар не нуждается ни в каком представлении». Когда я сказал, что я действительно рад наконец-то с ним познакомиться, он задержал мою руку в своей дольше, чем было необходимо, и посмотрел мне прямо в глаза. Переводчик перевел ответ: «Я тоже искренне рад. Я знаю вас уже давно». Я был удивлен. Сегодня я думаю, что ему, как, вероятно, когда-то и мне, было невдомек, что Кеворков в беседах со мной придерживался большей скрытности относительно своего шефа, чем тот, быть может, сам полагал.

С немецкой точки зрения, дело с Солженицыным представляется несколько в ином свете. Во время наших встреч в Берлине я постоянно указывал, что мы очень скрупулезно следим за тем, как обстоят у писателя дела; его судьба не оставляла нас равнодушными. Однажды я передал просьбу Брандта дать возможность писателю работать без помех. Тревожные сообщения, появлявшиеся в печати, давали достаточно поводов неоднократно возвращаться к этому вопросу. У меня сложилось впечатление, что я тем самым немного действовал на нервы своим собеседникам. Но это было необходимо. Проявляемое нами внимание должно было послужить Солженицыну хоть какой-то защитой.

Однажды вечером, когда мы проработали все вопросы и сидели за ужином, я снова поднял эту тему. Слава прервал меня словами: «А вы приняли бы его?» Я не очень твердо ответил на вопрос вопросом: «А вы отпустили бы его?» — «Возможно». —

«Однако прежде, чем дать окончательный ответ, я хотел бы проконсультироваться с федеральным канцлером». Слава добавил, что в России необходимость выезда из страны рассматривается как суровое наказание. Я подумал: «Если Солженицыну будет разрешено избавиться от нависающей над ним угрозы, он непременно захочет выехать». Брандт тут же принял решение: Солженицын для нас желанный гость. Во время очередной встречи в Берлине я узнал: да, Москва готова разрешить ему выезд, но без паспорта. Для нас это не должно стать помехой. На мой вопрос о том, захватит ли он с собой жену, Валерий задал промежуточный вопрос: «Какую?» Слава решил: он приедет с женой.

В Бонне мы поставили перед собой честолюбивую цель доказать, что мы в состоянии забирать людей без паспорта прямо с самолета, а затем перевозить их «на свободу» мимо всех пограничных и таможенных постов. Статс-секретарь Франк из министерства иностранных дел подготовил эту операцию без сучка и задоринки и провел ее весьма элегантно. Я позвонил по телефону Генриху Беллю, который охотно согласился предоставить в распоряжение Солженицына свой домик в горах Эйфель до тех пор, пока тот окончательно не решит, где ему обосноваться. Мы были уверены в том, что любая страна без возражений примет его, если он не пожелает у нас остаться. В дипломатической почте посольства мы вывезли бумаги и документы, которые были нужны Солженицыну для продолжения работы. Многие в то время спрашивали, как нам удалось вывезти из СССР такого врага режима, не обременив при этом наших отношений. Когда Солженицын выступил с заявлением в Федеративной Республике Германии, то в наш адрес не было высказано каких-либо упреков. Было бы удивительно, если бы это было не так.

Еще одно дополнение с немецкой стороны к советским воспоминаниям: предварительное предупреждение относительно Афганистана. Когда Слава позвонил, сообщив, что есть важное и неотложное дело для канцлера, то я разыскал Гельмута Шмидта на озере Брамзее. Он прореагировал на это так, как и следовало ожидать накануне Рождества, то есть, понятное дело, был недоволен: «Это действительно необходимо?» Ну, хорошо, приезжайте к 10 часам утра, возможно, нам подадут по чашке кофе. Вечером я встретил Валерия во Фленс-бурге на вокзале. Поскольку он был непривычно немногословным, я рассказал ему, как едва не сбил лань, когда ехал к нему. В машине Валерий захотел послушать известия по радио. Перед спортивной информацией и сводкой погоды нашлось место для сообщения о

том, что, по данным из американских источников, в небе над Афганистаном были отмечены более частые, чем обычно, полеты самолетов. После того как мы прибыли в мой тогдашний дом в Нойкирхене, он захотел во что бы то ни стало узнать самые последние новости по телевидению. Сейчас я уже не помню, не было ли там повторено радиосообщение об Афганистане. Валерий, во всяком случае, покачал головой и выпалил: он больше ничего не понимает. «Мы ввели войска в Афганистан. (Это было неверно, потому что ввод войск состоялся лишь через несколько дней.) Одно подразделение приземлилось на аэродроме и взяло штурмом дворец. Все уже кончено. Прежний правитель (он назвал его имя) уже погиб; на его место поставлен новый. (Он назвал его имя.) Американцам это должно быть уже давно известно. Почему они ничего не сообщают?»

Руководство его страны, как он заявил, намерено предварительно проинформировать федерального канцлера; он уже беспокоился, что прибыл слишком поздно. Я прореагировал так же, как и канцлер на следующий день: после начала войны пройдет много времени, прежде чем уляжется пыль, и можно будет продолжить диалог. Возможно, это станет концом разрядки. Во всяком случае, Шмидт поблагодарил за это сообщение. Когда я оказался с ним наедине, он заметил, что мы пока ничего не получили об этих событиях от наших друзей из Вашингтона. «Посмотрим, когда они зашевелятся». Несомненно хотелось, чтобы доказательством того значения, которое придавало советское руководство своему отношению к канцлеру и к существующему каналу, явилось не сообщение о начале войны против другого государства, а какой-либо другой, более благоприятный повод.

Пару недель спустя я уже был в Вашингтоне и сначала посетил Маршалла Шульмана, настолько же симпатичного, насколько осведомленного и умного эксперта госдепартамента по Советскому Союзу. Когда я указал ему на разрыв во времени между переворотом и вводом войск, он показал мне, воспользовавшись при этом и таблицами и географическими картами, насколько точно американцы были проинформированы о ходе событий. Они нанесли практически каждый самолет на свою карту, им были известны подразделения, занявшие аэродром и штурмовавшие дворец. Только после получения сообщения о завершении этой операции сосредоточившиеся у границы советские части спокойно и не встречая сопротивления двинулись вперед. Их вызвал новый правитель. Спустя час после этого я спросил госсекретаря Сайруса Вэнса, почему американцы в течение нескольких дней держали в секрете свою информацию о

совершившемся государственном перевороте в Афганистане. Глаза Вэнса сузились, и взгляд его стал колючим: «Откуда вам это известно?» К счастью, я смог сослаться на Шульмана. До сегодняшнего дня у меня нет объяснений этому странному тогдашнему поведению союзников.

После этого к нам стали поступать постоянно меняющиеся и противоречивые интерпретации по событиям в Афганистане. Отчасти там забыли о содержании первого сообщения. Это звучало неубедительно. От того, что уже не Брежнев влиял на события, а на него оказывался нажим, мало что менялось к лучшему.

V

Оглядываясь назад, можно было бы ожидать, что этот канал должен был действовать еще эффективнее с момента, когда Андропов стал хозяином Кремля. Результат оказался прямо противоположным. Канал был разрушен. Брандт смеялся над моей формулировкой: «ЧМТ— часто меняющиеся товарищи». Доверие, приобретенное в течение долгих и трудных лет, невозможно передать. Было много тех, кто действовал, руководствуясь завистью. Порой мы не могли определить, кого присылали из Москвы. Но и «москвитяне» не были в состоянии понять, с кем мы будем говорить с большей серьезностью, чем с простым письмоносцем.

Все старания восстановить канал оставались безрезультатными. Слава примирился с этим, он был ближе к сильным мира сего, благоразумнее, быть может, и жестче, чем Валерий, который страдал от того, что все попытки реанимировать ситуацию оказывались неудачными. Однажды мы договорились увидеться по окончании дискуссий, проходившись в рамках бергедорфских встреч в Москве. Валерий опять-таки явился с опозданием. Мы обсудили, что следует предпринять дальше. «Это моя последняя попытка», — сказал он. Затем пришел Шмидт. Тоже с опозданием. Я перешел в зал заседаний, а Шмидт, примерно через полчаса подсев ко мне, прошептал: «Послушай, выйди-ка на секунду, по-моему, с твоим другом происходит что-то неладное». Однако мы уже все обговорили, и оставалось только попрощаться. Валерий почувствовал себя заметно лучше после беседы со Шмидтом. Я долго смотрел, как Валерий в темном пальто направился к двери и, ни разу не оглянувшись, немного ссутулившись, исчез на неприветливой и серой московской улице с ее снегом, слякотью и дождем.

Эгон Бар